DISSERTATIONES
PHILOLOGIAE
SLAVICAE
UNIVERSITATIS
TARTUENSIS
49

ЕКАТЕРИНА ЯЩУК

Творчество М. Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии

DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS
49

DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS
49

ЕКАТЕРИНА ЯЩУК

Творчество М. Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии

UNIVERSITY OF TARTU
Press
1632

Отделение славистики колледжа иностранных языков и культур
Тартуского университета

Диссертация допущена к защите на соискание ученой степени доктора философии по русской литературе 18 ноября 2022 г. решением совета колледжа иностранных языков и культур Тартуского университета.

Научный руководитель:	Любовь Киселева, PhD, профессор-эмеритус по русской литературе
Оппоненты:	Василий Щукин, доктор филологических наук, профессор Института восточнославянской филологии Ягеллонского университета (Краков, Польша). Павел Лавринец, доктор гуманитарных наук, доцент кафедры русской филологии Института языков и культур Балтийского региона Филологического факультета Вильнюсского университета (Вильнюс, Литва).

Защита состоится 19 декабря 2022 г. в 14:15 в зале Сената в главном здании Тартуского университета (ул. Юликооли 18-204)

ISSN 1406-0809 (print)
ISBN 978-9916-27-100-1 (print)
ISSN 2806-2493 (pdf)
ISBN 978-9916-27-101-8 (pdf)

© Ekaterina Iashchuk, 2022

University of Tartu Press
www.tyk.ee

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение **7**
0.1. Развитие русской национальной идеологии в 1810–1840-е гг. .. 11
0.2. М. Н. Загоскин как писатель «русского направления» 15
0.3. Загоскин и проблемы изучения национализма в Российской империи 19

Глава 1. Исторические романы Загоскина рубежа 1820–1830-х гг.: жанр и идеология **23**
1.1. Вальтер-скоттовский исторический роман и его рецепция в России 1820-х гг. 24
1.2. Народ и герой в исторической прозе Загоскина 33
1.2.1. Пробуждение духа народа *35*
1.2.2. Образ простого народа *37*
1.2.3. Народная масса и государственный порядок *40*
1.3. Отечество и патриотизм 46

Глава 2 . Романы Загоскина и идеологические концепты рубежа 1820–1830-х гг. **53**
2.1. Документальное и мифологическое в романе «Рославлев, или Русские в 1812 году» (идея народа и народной войны) 53
2.2. Образ врага: поляки в прозе Загоскина и роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» 62
2.2.1. Польская проблема в современном Загоскину политическом контексте и его воздействие на романы *63*
2.2.2. Специфика трактовки польской темы в «Юрии Милославском» *67*
2.3. Образ врага: французы в романе «Рославлев» 75
2.4. «Русские полуфранцузы» как внутренние враги: галломания в романе «Рославлев» 79

Глава 3. Творчество Загоскина второй половины 1830-х — начала 1840-х гг.: поиск общественного идеала и моральных ориентиров **83**
3.1. Загоскин-комедиограф. Зачем была написана комедия «Недовольные»? 84
3.2. «Искуситель» как общественно-политический роман 97
3.2.1. Идиллический мир дворянской усадьбы в романе «Искуситель» *100*
3.2.2. «Искуситель» как «русский Фауст» *106*
3.2.3. Концепт любви к отечеству в романе «Искуситель» *112*
3.3. «Тоска по родине»: концепция патриотизма 115

Глава 4. Русская консервативная утопия в творчестве Загоскина 1840-х гг. **127**
4.1. Главенство веры над философией 128
4.2. Идеал межсословных отношений 130
4.3. Монарх-помазанник как основа и гарантия существования святой Руси 133
4.4. Проблема чистоты православия (изображение раскола в романе «Брынский лес») 137
4.5. Иноземное влияние как «второе татарское иго» 139
4.6. Проблема чистоты языка 143
4.7. Современная литература, ее достижения и причины уклонения от «правильного» пути 144
Заключение **155**

Список использованной литературы 162
Kokkuvõte 175
Abstract 180
Curriculum vitae 185
Elulookirjeldus 186
Публикации по теме диссертации 187

ВВЕДЕНИЕ

Михаил Николаевич Загоскин (1789–1852), один из самых популярных русских беллетристов XIX века, начал свой творческий путь как комедиограф в 1815 г., т. е. по меркам эпохи сравнительно поздно, двадцати шести лет, а подлинного литературного успеха добился к сорока годам как романист. Его первый роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) положил начало развитию русского исторического романа. В хвалебной рецензии Пушкин писал о том, что Загоскин обогнал европейских последователей основоположника жанра, Вальтера Скотта, сумев представить «историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании»: «Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни! сколько истины и добродушной веселости в изображении характеров» [Пушкин 1962: 6, 41]. Счастливый автор откликнулся письмом: «…читая ваши похвалы моему роману, я несколько минут был причастен тяжкому греху — гордости» [Пушкин 1928: 365]. Пушкин не был одинок в своей высокой оценке романа, встреченного почти единодушным восторгом как читателей, так и критиков[1]. Это был звездный час писателя, и такому успеху уже не суждено было повториться. Начиная со следующего романа «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831), критических отзывов становилось все больше и больше, а к концу 1840-х гг. писатель окончательно перешел в ранг «второстепенных», что, однако, не убавило ему читательской популярности. Его любили за интересные сюжеты, занимательную интригу, сочный язык, но также и за «русское направление». Именно это последнее и будет в центре внимания в настоящей диссертации.

В истории литературы Загоскину не очень повезло, хотя его творчество неоднократно становилось предметом изучения историков литературы. Без упоминания о нем не обходится ни одно исследование русского исторического романа (см., напр.: [Скабичевский 1890; Петров 1962; Долинин 1988; Альтшуллер 1996]). Однако внимание большинства исследователей сосредоточено на изучении Загоскина как автора произведений какого-либо жанра (комедий, романов, повестей). Его творческий путь часто описывается как последовательное обращение от одних актуальных на тот момент жанровых моделей к следующим: т. е. как движение от комедий, созданных в русле творчества «архаистов», через первый русский исторический роман «Юрий Милославский» и цикл фантастических повестей «Вечер на Хопре» — к бытописательным очеркам «Москва и москвичи» [Круглый 1889; Быков 1901; Песков 1988]. Такой подход не дает представления о творческой системе как целом, и дать такое описание будет также одной из задач настоящей диссертации.

---

[1] В. А. Жуковский, по его признанию, не спал ночь, зачитавшись «Юрием Милославским» [Жуковский 1830: 302]). Подробнее о невероятном успехе романа см. [Круглый 1889: 65-73].

Биография Загоскина изучалась достаточно подробно еще в XIX в. [Аксаков 1966; Круглый 1889; Быков 1901], в этих работах дается портрет «стихийного» писателя, человека доброго и простодушного, хотя и талантливого, немного эксцентричного чудака, от которого трудно ожидать глубоких мыслей и тем более идеологических концепций. Этот портрет закрепился и в последующих исследованиях (в первую очередь, мы имеем в виду серьезные и концептуальные работы А. М. Пескова [Песков 1988, Песков 1992]). В этой связи выбранный нами аспект рассмотрения Загоскина в контексте национальной идеологии может показаться проблематичным, постараемся обосновать его правомерность.

Как мы полагаем, пока еще не найден ракурс, который может дать более точное понимание места и роли Загоскина в историко-культурном процессе. За три десятилетия его литературной деятельности сама литература изменилась кардинально. Если первые романы Загоскина вышли в свет еще до появления «Повестей Белкина» — первого законченного прозаического произведения Пушкина — и «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя, то многие последующие романы выходили после публикации пушкинской прозы, сочинений Лермонтова и Гоголя, а очерки — на фоне прозы Тургенева, Гончарова, Достоевского. Загоскин второй половины 1830–1840-х гг. не мог соревноваться с произведениями и авторами, составившими золотой фонд русской классической литературы. Изменился и русский читатель. Начавшийся с середины 1820-х гг. процесс стремительной демократизации читательской аудитории привел к ее расслоению на элитарное, литературно образованное читательское меньшинство, часто принадлежащее к писательским или окололитературным кругам, и читательское большинство — «среднего» читателя, с живым интересом относившегося к литературным новинкам, которые, однако, не всегда оказывались ему по плечу. Этот процесс достаточно хорошо исследован (см., например: [Рейтблат 2016: 108–122]), и мы не будем углубляться в социологию русской литературы 1820–1840-х гг., скажем только, что Загоскин нашел свою нишу именно в лице «среднего» читателя, и его роль в процессе образования и воспитания этой части читательской аудитории была велика. Нельзя упускать из виду и того обстоятельства, что исторические романы Загоскина с середины 1830-х гг. прочно утвердились в детском чтении, так что, пожалуй, не было в России юного читателя, к какому бы культурному слою он ни принадлежал, который бы прошел мимо этих текстов. Все это заставляет особенно внимательно приглядываться к тому комплексу идей, которые эти тексты транслировали.

Сочинения Загоскина, как мы попытаемся далее показать, ставили на своем уровне те же вопросы, которые волновали «высокую» литературу: исторические судьбы России, концепция отечества, проблемы национализма и национального характера, патриотизма, монархии, отношения к европейской культуре и философии и др., но решали их на доступном «среднему» читателю уровне. Именно это позволяет нам говорить о творчестве писателя в контексте развития русской национальной идеологии.

Творчество Загоскина развивалось на фоне интенсивного идеологического строительства в России — складывания национальной идеологии. Начавшись

еще в конце XVIII в., получив сильный толчок в 1800–1810-е гг. в период полемики «карамзинистов» и «шишковистов» или «архаистов», как назвал их Ю. Н. Тынянов, этот процесс постепенно привел к провозглашению так называемой доктрины официальной народности и выраженной в 1833 г. в триаде С. С. Уварова «православие — самодержавие — народность»; в 1840-е гг. национальная идеология разрабатывалась в рамках теории славянофилов, однако тем или иным образом в процессе участвовали представители всех литературных направлений. Загоскин вступил в литературу в период противостояния «архаистов»[2] и «карамзинистов» (подробнее об этом будет сказано ниже, в параграфе 0.1). Наш автор сделал свой выбор в пользу «архаистов» и, как мы постараемся показать, остался ему верен до конца жизни[3]. В 1810-е гг. национальная идеология была скорее оппозиционной и сочувствия у императора Александра I не встречала. Конечно, эпоха 1812 года наложила серьезный отпечаток и на правительственную идеологию, особенно в период официального мистицизма. Однако А. С. Шишков хотя и получал высокие должности (государственного секретаря в 1812 г., министра просвещения в 1824 г.), не совпадал с монархом в своих убеждениях — можно сказать, что он был консервативнее императора. Антиевропейский пафос Шишкова царя коробил; лично ему были гораздо ближе «европейцы»-карамзинисты.

Молодой М. Н. Загоскин, вступивший в литературу как комедиограф, ученик и последователь А. А. Шаховского, воспринял из доктрины «архаистов» их патриотический пафос, неприязнь к либеральным идеям, ведущим к разрушению существующего миропорядка, который казался ему единственно возможным, критику личного поведения дворян, ориентированных на моду и приверженных европейским идеям и образу жизни. Далее он старался уточнить и детализировать «архаистическую» систему, создавая в своих художественных текстах консервативную патриотическую утопию, призванную изменить сознание читателей (см. об этом в четвертой главе нашего исследования). Как нам представляется, его установка заключалась в том, чтобы с помощью художественных образов разоблачить «неправильные» убеждения русского образованного общества и одновременно дать ему «правильные» образцы.

Уже неоднократно отмечалось, что художественная литература сыграла важную роль в формировании как национальной, так и имперской идеологии, и Загоскин активно участвовал в этом процессе, однако исследователи этот вопрос подробно не изучали. В свете пристального внимания ученых к становлению имперской идеологии в России пропуск такого важного с этой точки зрения автора, как Загоскин, нуждается в заполнении. Активное творчество Загоскина продолжалось около трех десятилетий, и трудно предположить,

---

[2] С. Т. Аксаков не случайно определил школу Шишкова как «русское направление» [Аксаков 1966: 156-157].

[3] Мы согласны с мнением Ап. Григорьева, высказанным в статье «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия» (1861), назвавшего позднего Загоскина «добродушнейшим и талантливейшим из шишковистов» [Григорьев 1980: 309].

будто писатель мог все эти годы механически воспроизводить одну и ту же идеологическую и нарративную схему. В этой связи одной из основных наших задач станет анализ развития (детализации, конкретизации) той творческой системы Загоскина, которое отразилось прежде всего в его исторических романах, создававшихся на фоне исторических и политических событий не только рубежа 1820–1830-х гг., но и в последующие годы.

Загоскин не был ни теоретиком, ни идеологом. Он не оставил после себя развернутых статей и деклараций (письмо к издателю «Маяка» 1840 г., привлекшее внимание Ап. Григорьева, явилось достаточно неожиданным исключением). Вместе с тем обращение к сочинениям писателя оставляет впечатление последовательной и законченной идеологической системы. Его идеологию приходится реконструировать, извлекая ее положения из художественной ткани загоскинской прозы. Это — исследовательская процедура, которая осуществляется нами со специальной целью — соотнести творческую систему Загоскина с ведущими националистическими доктринами эпохи — «архаизмом» и идеологией официальной народности. Такая операция «невыгодна» для писателя, ибо обнажает неоригинальность его положений и упрощенную трактовку сложных проблем, тогда как погружение их в интересный сюжет, занимательные приключения героев, «жизнь» в тексте помогает отодвинуть эти особенности на второй план. Загоскин не изобретает концепты, а подхватывает, развивает их в художественном нарративе — строит фикциональное пространство, которое воздействует на читателей не отдельными тезисами, а именно как целостная система.

Как мы полагаем, реконструкция основных концептов сочинений Загоскина необходима, если мы хотим понять, какими путями и в каком виде националистическая идеология доходила до сознания читательского большинства.

Материалом исследования станут романы Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831), «Искуситель» (1838), «Тоска по родине» (1839), «Кузьма Петрович Мирошев, русская быль времен Екатерины II» (1842), «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого» (1846), «Русские в начале XVIII столетия, рассказ из времен единодержавия Петра Первого» (1848), а также книга очерков «Москва и москвичи» (1848). С ними мы сопоставим комедии Загоскина, прежде всего «Недовольных» (1835). Мы не стремились исчерпать всех текстов плодовитого автора, выделив основные, с нашей точки зрения, произведения 1830–1840-х гг. Разумеется, они рассматриваются не изолированно, а в тесной связи с историческим и литературным контекстом — мы будем учитывать романы Вальтера Скотта, модели которых Загоскин следует, политические сочинения А. С. Шишкова, Ф. В. Ростопчина, С. С. Уварова и других идеологов Российской империи периода активного творчества писателя, исторические и публицистические сочинения Карамзина, Полевого и других авторов, литературно-критические статьи современников Загоскина (причем посвященные не только его произведениям, но и проблемам исторической

прозы в целом). Таким образом, проза Загоскина будет прочитана в контексте эволюции представлений о нации и ее значении для Российской империи, характерных для деятелей государства и литературы 1820–1840-х гг.

0.1. Развитие русской национальной идеологии в 1810–1840-е гг.

Предромантические идеи национализма[4] в Европе нашли свое продолжение и в Российской империи, где формирование национальной идеологии было связано с трансфером идей Гердера и их переработкой в идею национальной самобытности русской культуры в 1790–1810-е гг. Особую роль сыграли здесь полемика «шишковистов» и «карамзинистов» и национальный подъем 1812–1814 гг. Эти события, как уже было сказано, явились определяющими в литературной карьере Загоскина, начавшего свою писательскую деятельность в эпоху, последовавшую за Отечественной войной 1812 года, участником которой, как и европейского похода, он был.

Согласно концепции «архаистов», Россия и ее «исконная» национальная культура подвергались последовательной «порче» извне: сначала под воздействием ордынского ига, потом под культурным влиянием Европы. При этом фигура Петра I не подвергалась критике, и «архаисты» (в отличие от будущих славянофилов) «осуждали не европеизацию политического строя, Петербург и немецкую бюрократию, — а моды, щеголей и Кузнецкий мост» [Лотман 1981: 84]. Главным злом «архаисты» объявляли галломанию. Ю. М. Лотман приводит показательный пример из памфлета Ф. В. Ростопчина «Мысли вслух на Красном крыльце» (1807). Обличая пагубное влияние французского языка, французских мод и воспитания, Ростопчин обращается к образу «дубины Петра I», способной «выбить дурь из дураков и дур» [Лотман 1981: 84][5]. Ростопчин обличал галломанию русского общества, видя в ней реальную угрозу нации в целом: «Как же им <русским дворянам> любить свою землю, когда они и русский язык плохо знают? Как им стоять за Веру, за Царя и за Отечество, когда они закону Божьему не учены и когда русских считают за медведей?» [Ростопчин 1889: 6]. Резкий тон этого и особенно последующих памфлетов автора являлся ответом Ростопчина на франкофильство русской аристократии в обстановке наполеоновских войн.

Глава «архаистов» А. С. Шишков считал языковую политику и словесность орудиями укрепления в обществе патриотического чувства. «Шишковисты»

---

[4] Здесь и далее мы будем использовать слова «национализм» и «националистический» не в пейоративном, а в нейтральном, строго научном их значении.

[5] А. О. Мещерякова отмечает, что метафора впервые была использована Ростопчиным еще в 1803 г.: «„Дубина Петра Великого" выступала у него метафорой власти, способной навести во всех сферах жизни Российской империи должный порядок» [Мещерякова 2007: 75].

старались избегать галлицизмов (хотя им, кроме Крылова, это не всегда удавалось) и вообще заимствований и выступали за использование в литературе высокого слога с его церковнославянизмами. Это не мешало им требовать «народности» речи (здесь непревзойденным мастером был опять же Крылов, остальные имели представление о народной речи на уровне комедий XVIII в.), а народную поэзию понимать как базу развития национальной художественной литературы. Так, стараясь соединить высокий и низкий стили языка, «архаисты» резко противопоставили себя «карамзинистам», стремившимся к гладкости слога и разрабатывавшим средний стиль. Отождествление церковнославянского и русского языков позволяло «архаистам», в частности, интенсивно обращаться к древнерусской литературе и тем самым настаивать на непрерывности национальных традиций[6].

Дело не в том, что Шишкову лично нравилась или не нравилась западная культура, а в том, что ее плоды он считал в принципе не пригодными для русской культуры и подражание Западу — пагубным. Шишков положительно оценивал то, что Запад не подражает России. В этом он видел залог самостоятельности европейской культуры, и именно этому, по его мнению, Россия может и должна учиться у Запада [Шишков 2010: 89]. Западным модам и философии, которую «архаисты» связывали с идеями Французской революции, они противопоставляли обычай, якобы сохранивший национальные традиции, а также систему ценностей, отраженную в древнерусской литературе (как они ее понимали). Эта по сути своей романтическая концепция повлияла на мировоззрение Загоскина, и ее отголоски прослеживаются во всем его творчестве. Однако следует отметить, что ко времени своей активной творческой деятельности Загоскин не видел связи идей архаизма с немецким романтизмом. Загоскин не владел немецким языком и с идеями йенских, как и гейдельбергских романтиков мог быть знаком только по журнальным статьям в русской периодике. Кроме того, Загоскин не любил философию вообще: он учился по художественным произведениям, а не по философским трактатам. Непосредственный образец романов Вальтера Скотта был для него гораздо более важен, а о вероятном знакомстве Скотта с философией Гегеля Г. Лукач пишет так: «Вальтер Скотт, наверное, совсем не знал философии Гегеля, а если он имел случай читать его работы, то, конечно, не понял бы в них ни слова» [Лукач 1937: 7, 58]. То же суждение можно с уверенностью применить и к Загоскину.

Идеи «архаистов» с их обращением к проблеме народности, как уже упоминалось, долгое время были оппозиционными по отношению к государственной политике и так и остались чуждыми лично Александру I. Согласно Р. Уортману, «национальная нота в александровском сценарии» впервые появляется в 1809 г. в брошюре «Журнал посещения Москвы…» [Уортман

---

[6] В своем понимании концепции «архаизма» мы опираемся на работы [Тынянов 1969; Мордовченко 1959; Лотман, Успенский 1975; Киселева 1997; Зорин 2001].

2002: 289]. В преддверии вторжения Наполеона в Россию Александр был вынужден назначить главу «архаистов» А. С. Шишкова на должность государственного секретаря взамен удаленного М. М. Сперанского. Это был отклик на национальный подъем в обществе. Именно 1812 г. дал культурным элитам толчок к «изобретению» русской нации (в терминологии Э. Хобсбаума), — сначала в публицистике, затем в художественной литературе[7]. Появление и распространение национального воображения не может, конечно, происходить исключительно в рамках литературного ряда: свою роль в этих процессах сыграли и сочинения правительственных идеологов, и многочисленные визуальные искусства [Вишленкова 2011], и развитие образования. В то же время в условиях Российской империи национальный миф формировался и выражался прежде всего на языке литературы. Писатель, согласно Л. Н. Киселевой, является одновременно и носителем консолидирующего национального мифа, и его создателем [Киселева 2009].

Полемика «шишковистов» и «карамзинистов», начавшаяся в 1803 г. после выхода книги А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», вылилась в дискуссию о народности (национальной самобытности) культуры, которая продолжалась и в 1810-е, и в 1820-е гг. (см. об этом также в статье «Пушкин и народность» [Томашевский 1961]). Особую роль в этом процессе сыграло появление «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

Декабрьские события 1825 г. явились переломными и в политике, и в идеологии, и в культуре в целом (этому вопросу посвящена большая литература, мы называем лишь два исследования разных эпох: [Мордовченко 1959; Парсамов 2016]). Новый император какое-то время пытался найти новые ориентиры для легитимации своей власти. Однако колебания Николая I, стремившегося усвоить уроки своих «друзей 14 декабря» (как он называл декабристов), учреждение секретных комитетов для обсуждения крестьянской и других реформ под влиянием революционных событий в Европе 1830 г. и польского восстания 1830–1831 гг. быстро сменились отказом от реформаторского курса. Император искал идеи, которые могли бы обеспечить развитие существующего порядка в России без серьезных потрясений. Непременным условием должно было стать утверждение незыблемости самодержавного принципа, который, с точки зрения Николая, единственно мог спасти Россию от рево-

---

[7] Это «изобретение» началось еще в екатерининскую эпоху, когда Екатерина II, немка на русском престоле, всячески стремилась подчеркнуть, что она – «русская» царица, русская писательница и журналист, запрещала говорить при дворе по-французски и ввела «русский» придворный костюм, способствовала публикации исторических источников и писала собственные «исторические» сочинения [Уортман 2002: 153-154; Проскурина 2017]. В 1790-е гг. в русской литературе и журналистике начинается разработка идеи национальной самобытности [Киселева 1982]. Мы не будем останавливаться на этом подробнее, т. к. это уведет нас в сторону от основной темы, поскольку Загоскин вступает в литературу в середине 1810-х гг.

люционных бурь, губящих Европу. Такую концепцию смог сформулировать С. С. Уваров, и со временем она получила наименование теории «официальной народности».

Впервые этот термин встречается в работах А. Н. Пыпина по истории русской литературы и общественной мысли (1872–1873). Основные принципы были изложены Уваровым при вступлении в должность управляющего министерством народного просвещения в его докладе императору «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения» (19 ноября 1833 года). Важно заметить, что Уваров, член «Арзамаса» и европейски образованный человек, формулировал концепцию национальной исключительности с помощью «западного» понятийного аппарата (как во многом и Шишков). Министр не мог не помнить о патриотических триадах Ф. Шлегеля (раса, обычаи, язык) и Шишкова (вера, воспитание, язык). Важное различие состояло в том, что Шлегель и Шишков создавали свои триады в период мобилизации нации для борьбы с Наполеоном, а Уваров — в мирное время, поэтому «конкретные, эмоционально ощутимые патриотические символы, за которые солдат должен идти в бой, сменяются здесь историческими институтами национальной жизни и абстрактными принципами», а «мобилизационные лозунги превращаются в программу рутинной бюрократической и педагогической работы» [Зорин 2001]. В. М. Живов возражает Зорину, говоря, что Уваров в большей степени преемник не Шлегеля, а Карамзина и через него — Руссо. В этом проявляется общая прагматика французского и русского национального строительств: «У русских и французов империя уже была, и надо было лишь придать ей новые принципы легитимации, переосмыслив существующую институцию как национальное государство» [Живов 2008]. Это, однако, не исключает ориентации Уварова на Шлегеля, с которым он был лично знаком.

При всем том, что уваровская концепция вскоре стала официальной, она отвечала ожиданиям не только правительства, но и ряда общественных групп того времени, в том числе, представителей литературного сообщества. Некоторые важные для конструирования национального мифа художественные тексты были написаны до опубликованного в 1834 г. циркуляра Уварова, содержавшего триаду «православие — самодержавие — народность», но вполне соответствовали ему («Россия и Баторий» Е. Ф. Розена, «Рука Всевышнего Отечество спасла» Н. В. Кукольника, первые романы Загоскина). Уваров «лишь удачно сформулировал то, что уже зрело в общественном сознании и что ответило ожиданиям императора Николая»; для него самого это была политическая прагматика, манипуляция популярными идеями, имевшими европейское происхождение, но уже закрепившимися на русской почве [Киселева 2009].

Проблема формирования русского национального мифа в творчестве Загоскина — ключевая для нашей работы. До сих пор ни этот миф в целом, ни этапы его становления, ни соотношение с так называемым «государственным» мифом детально не описаны, хотя подходы к теме намечались неоднократно, и отдельные сюжеты описывались. Так, сусанинский миф, актуальный

и для Загоскина, анализируется в работах А. Л. Зорина и Л. Н. Киселевой [Киселева 1997; Киселева 2004; Зорин 2001], где авторы уделяют внимание роли этого мифа о спасителе отечества в формировании уваровской триады.

Петровский миф[8], созданный исторической беллетристикой николаевского времени, кратко охарактеризован А. Л. Осповатом и А. Б. Рогинским [Осповат, Рогинский 1989]. Петр I, принявший в 1721 г. титулы «Великий» и «отец Отечества», — ключевая фигура правящей династии, он не мог подвергаться публичной критике [Петр Великий. Pro et contra 2001]. Именно поэтому «Медный всадник» и незавершенная «История Петра I» Пушкина занимают столь особое место в литературе 1830-х гг.; напомним, что Николай I сделал ряд цензорских и редакторских замечаний к «Медному всаднику» [Зенгер 1934] и после смерти Пушкина запретил публиковать незаконченный текст «Истории Петра».

Пушкин пытался напечатать в «Современнике» записку Карамзина «О древней и новой России» (1811), которая в сжатом виде содержала идеологическую программу «Истории государства Российского» (не дошедшей, однако, до царствования Петра). В записке Карамзин привлекает внимание к отрицательной стороне петровских реформ: «Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств» [Карамзин 1991: 32], «мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр» [Карамзин 1991: 35]. Развернутой критике подвергли Петра славянофилы, однако для нашего писателя этот аспект оказался не актуальным.

Загоскин коснулся упомянутых ключевых мифов, и мы еще будем говорить об этом по ходу работы.

0.2. М. Н. Загоскин как писатель «русского направления»

Современники относили Загоскина к числу создателей «русского направления» в литературе и считали характерным представителем этого направления в жизни (см., в частности: [Аксаков 1966; Вигель 1891–1893]). Примечательно, что, говоря о личности Загоскина, и Аксаков, и Вигель используют те же выражения, что и для описания его «русских» героев, т. е. наделяют и самого автора чертами созданного им типичного «русского характера». Вигель называет Загоскина «Крыловым в прозе и романах» [Вигель 1893: 4, 162]. Мемуаристы выделяют такие черты «подлинно русского» характера писателя

---

[8] В. М. Живов противопоставляет сусанинский миф петровскому на основании различия предметов мифологизации: национального исторического символа (как, например, Иван Сусанин или Козьма Минин) и исторического героя (как Петр I) [Живов 1999]. Исторический герой, обладающий биографическим нарративом, согласно Живову, оказывается более независимой фигурой в процессе формирования идеологических парадигм при помощи механизмов коллективной памяти и коллективного забвения.

и его творчества, как нетерпимость к иностранным заимствованиям в языке и быте, горячность при отсутствии злопамятности, любовь к подтруниваниям, чувство справедливости, искреннюю религиозную веру, пылкую любовь ко всему русскому, доходящую до предпочтения крымских вин французским и восхищения русскими «лукутинскими» табакерками [Аксаков 1966; Панаев 1988, Вигель 1891–1893]. Переводя подобные наблюдения над патриотизмом и «русскостью» на язык современной науки, мы можем причислить Загоскина к создателям «русского национального мифа» и мифа о «русском характере».

Уже в «Комедии против комедии, или Уроке волокитам» (1815), написанной Загоскиным в поддержку комедии А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», он показал себя как драматург, примкнувший к кругу «шишковистов». Комедии Загоскина написаны в духе «архаистов» и носят следы влияния «Липецких вод» Шаховского и «Горя от ума» Грибоедова (об этом мы будем специально говорить в параграфе 3.1 нашей работы, посвященном драматургии Загоскина).

Первые романы Загоскина — «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и «Рославлев, или Русские в 1812 году» — подхватили и развили патриотические и национальные идеи, можно сказать, витавшие в воздухе, и оказались, как мы попытаемся показать, в ряду текстов, которые подготовили общественное мнение к восприятию уваровской концепции официальной народности (см. также [Копылов 2011]). Уже в первых романах Загоскина находится несколько принципиальных ключевых элементов идеологии, к которым (ко всем или к нескольким) обращаются авторы и публицистических, и художественных текстов, конструирующие национальный миф. Эти положения остаются у него практически неизменными на протяжении всего творчества. Мы подробно рассмотрим их в дальнейшем, здесь обозначим их кратко:

— ***концепция патриотизма, «любви к отечеству».*** Для начала XIX в. актуально столкновение двух подходов: «пристрастной» и «беспристрастной», по определению А. С. Шишкова, любви к отечеству [Киселева 1985]. Шишков настаивал на необходимости «пристрастной» любви, закрывающей глаза на существующие недостатки:

> Отечество (сказала мне одна из почтенных наших женщин) требует от нас любви даже пристрастной, такой, какую природа вложила в один пол к другому. Отними у нас слепоту видеть в любимом человеке совершенство, дай нам глаза посреди самого сильнейшего пламени нашего усматривать в нем некоторые недостатки, некоторые пороки; возбуди в нас желание сличать их с преимуществами других людей; ум начнет рассуждать, сердце – холодеть, и вскоре человек сей, ни с кем прежде не сравненный, сделается для нас не один на свете, но равен со всеми, а потом и хуже других. Так точно Отечество. Когда мы начнем находить в нем многие пред другими землями недостатки; когда станут увеселять нас чужие обычаи, чужие обряды, чужой язык, чужие игры, обворожая

> и прельщая воображение наше правдивою русскою пословицею: там хорошо, где нас нет, и то хорошо, что не носит на себе отечественного имени; тогда при всех наших правилах, при всех добрых расположениях и намерениях будет в душу и в образ мыслей наших нечувствительно вкрадываться предпочтение к другим и, следовательно, уничижение к самим себе; а с сим вместе неприметным же образом станет уменьшаться первейшее основание любви к Отечеству [Шишков 1812: 25-26].

Именно такой «не рассуждающий» патриотизм характерен для многих героев романов Загоскина, хотя, как будет показано в работе, не все его герои придерживаются подобной позиции. Напротив, «авторские» герои, как правило, разделяют карамзинскую идею «беспристрастного» патриотизма;

— ***примордиалистская трактовка русского национального характера,*** неизменного на протяжении всей истории и восходящего к мифологическим временам (заметим, что такой же подход к проблеме национального характера присущ и Вальтеру Скотту). У Загоскина такая трактовка отражена уже в названиях его исторических сочинений: «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», «Рославлев, или Русские в 1812 году», «Русские в начале осьмнадцатого столетия. Рассказ из времен единодержавия Петра I» и др. (о диалектике постоянства и перемен при изображении национального характера в русском историческом романе см. [Ungurianu 2007: 60–72]). Загоскин подчеркивает в своих героях устойчивые «русские» чувства: любовь к отечеству, благочестие, преданность престолу, широту натуры, храбрость. При этом обладателем национального характера может оказаться в равной мере любой русский человек, независимо от сословия и воспитания (на вопросе о соотношении «простых» и «благородных» героев у Загоскина мы остановимся ниже — в главе 1 «Исторические романы Загоскина рубежа 1820–1830-х гг.: жанр и идеология»);

— ***идея лояльности — престолу и (или) отечеству — и связанная с ней репрезентация монархической власти.*** Самодержавный монарх воспринимается как необходимая составляющая российского государства и нации, и Загоскин отождествлял любовь к монарху, отцу отечества, и любовь к отечеству. Часто в этой же связке упоминается и православная вера;

— ***образ идеального национального героя.*** Неоднократно отмечалась безжизненность положительных главных героев Загоскина [Скабичевский 1890; Долинин 1988]. Кроме следования вальтер-скоттовской традиции, это, по всей видимости, связано с принципиальной установкой писателя на то, чтобы сконцентрировать все лучшие качества, присущие русской нации, самодержавному государству и православной религии в одном

образе, который в произведениях Загоскина становится центральным элементом композиции и соответственно наиболее значимым актором исторического процесса (такая концентрация «добродетелей», однако, поневоле ослабляет убедительность образа). При этом идеальный национальный герой Загоскина (что не означает полного отсутствия у него негативных черт) не обязательно принадлежит дворянскому сословию. Так, казак Кирша в романе «Юрий Милославский», сочетая в себе черты волшебного помощника волшебной сказки и трикстера бытовой сказки, оказывается сюжетно более динамичным персонажем, чем главный герой и, помимо указанных черт национального русского характера, обладает смекалкой;

— ***репрезентация простонародья и изображение массовых народных сцен***. В прозе Загоскина народ не просто играет важную роль — он наделяется способностью к самоорганизации и активным действиям. Простонародье оказывается коллективным персонажем, парным по отношению к идеальному национальному герою и позволяющим дополнить изобретаемую писателем модель национального сообщества, включая в нее как можно более широкие круги;

— ***преимущественное внимание к переломным моментам истории как вехам национальной памяти*** (вполне вальтер-скоттовский прием). Загоскин обращается ко времени Крещения Руси («Аскольдова могила»), к мифологическому моменту возрождения русской государственности — Смутному времени («Юрий Милославский»), к становлению империи в петровскую эпоху («Брынский лес», «Русские в начале XVIII столетия»), к торжеству этой государственности — войне 1812 г. («Рославлев»). Здесь проявляется типичная для имперского национализма нарративная логика, в которой триумфы государства отождествляются с проявлениями примордиального национального духа, вечно существующего и актуализирующегося прежде всего в кризисные, переломные моменты;

— ***обобщенный образ «врага».*** Исторические оппоненты российского государства, в том числе, современной Российской империи (варяги, печенеги, поляки, шведы, французы), описываются как значимые «чужие», на фоне которых возможно национальное самоопределение. Это позволяет Загоскину снять оппозицию «русского» и «российского», и эти начала в логике нарратива начинают отождествляться. В то же время Загоскин не склонен демонизировать оппонентов: они идентифицируются не как носители зла (с моральной точки зрения) или греха (с точки зрения религиозной), а прежде всего как оппоненты «своих» народа и государства. Именно такой установкой объясняется и трактовка Загоскиным современной ему Европы и иностранных влияний на Россию. Характерно, что, по Загоскину, русские

дворяне, отдавшиеся иностранному влиянию, являются более опасными врагами отечества, чем внешние противники.

0.3. Загоскин и проблемы изучения национализма в Российской империи

Изучение национализма в контексте истории империй принадлежит, как уже упоминалось, к числу актуальных проблем современной науки: наряду с классическими трудами Бенедикта Андерсона, Эрика Хобсбаума, Эрнеста Геллнера и Мирослава Хроха [Андресон 2001; Хобсбаум 2002; Геллнер 1991; Hroch 1985] продолжают выходить все новые исследования, включая журнал *Ab Imperio*, в котором ежегодно печатаются многочисленные работы на эту тему. Разумеется, в этом русле изучается и история русской литературы — достаточно вспомнить труды Сьюзен Лейтон [Layton 1994], Ольги Майоровой [Maiorova 2010; Майорова 2017], Веры Проскуриной [Проскурина 2017] и Эдиты Бояновской [Bojanowska 2018].

В то же время подавляющее большинство исследователей сосредоточивается на фигурах государственных деятелей — С. С. Уварова или Ф. В. Ростопчина, блестящих интеллектуалов, наподобие П. А. Вяземского, или крупных писателей, таких как А. С. Пушкин или Н. В. Гоголь (например, [Вайскопф 2002] и др.). В этой работе мы концентрируемся на другом феномене — на том, как национализм сказался в творчестве литератора, не менее популярного и значимого для современников, но впоследствии выпавшего из литературного канона (хотя отдельные тексты, например, роман «Юрий Милославский» в него до сих пор попадают).

Вероятно, если бы Белинский не испытывал к автору «Рославлева, или Русских в 1812 году» идейной неприязни, он бы мог определить его сочинения как «беллетристику» — «средний» этаж литературы, находящийся между элитарным творчеством Пушкина или Гоголя и низовой литературой, вроде А. А. Орлова или Н. И. Зряхова.

Учитывая принципиально «демократический» характер националистической идеологии, претендующей на то, чтобы охватить самых разных представителей «воображаемого сообщества», важно понять, каким образом соответствующие концепции преподносились именно среднему читателю. В этом отношении проза Загоскина представляет особый интерес. Она принадлежит к своеобразному типу литературы, который непосредственно способствовал популяризации националистических идей, нарративов и образов[9], но с этой точки зрения до сих пор не исследовалась. Как мы покажем далее, национальные концепции Загоскина действительно не сводятся к воспроизведению и копированию позиции его более известных теперь современников: Загоскин не

[9] Подобный феномен рассмотрен в работах Л. Н. Киселевой о Е. Ф. Розене.

упрощал и не вульгаризировал достижения выдающихся писателей, хотя и учитывал их, а шел своим путем и старался ориентироваться на своего читателя. Чтобы понять своеобразие этого пути, нам необходимо было обратиться к историческому контексту.

Методологически мы отталкиваемся от конструктивистской теории позднего национализма, восходящей прежде всего к названным выше работам Бенедикта Андерсона и Эрика Хобсбаума, а также от все более многочисленных исследований национального вопроса в Российской империи (см. труды Миллера [Миллер 2006; Миллер 2010; Миллер 2016] и уже упоминавшиеся работы Зорина, Вишленковой и мн. др.). Работы о связях национализма и русской литературы пока заметно отстают от исследований национализма в области социально-политической истории и государственной идеологии. Несмотря на это, в последние десятилетия эта лакуна постепенно заполняется благодаря новым публикациям — прежде всего американским (см. указанные выше работы С. Лейтон, О. Майоровой, В. Проскуриной и др. авторов). Впрочем, постепенно появляются все новые и новые исследования, выполненные в Эстонии и России (таковы, например, диссертации Е. Фоминой [Фомина 2014], посвященная национальной проблематике у Тургенева, и К. Новашевской [Новашевская 2020] о Шаховском как идеологе русского национального театра). Особое значение для нас имеют работы Л. Н. Киселевой и Д. Иванова [Иванов 2009], подробно проанализировавших роль национальных категорий в практике таких авторов, как Е. Ф. Розен и А. А. Шаховской, — писателей, как и Загоскин, не вошедших в канон, однако сыгравших значительную роль в формировании вкусов и идеологических пристрастий современников.

Стремясь проанализировать связь творчества Загоскина с важнейшими идеологическими проблемами и концептами его эпохи, а также учитывая, что он писал в разных жанрах, мы организовали материал нашей работы следующим образом.

В первой главе **«Исторические романы Загоскина рубежа 1820–1830 гг.: жанр и идеология»** мы раскроем положения, общие для всего творчества Загоскина, о которых мы упоминали выше и на основании которых можно реконструировать идеологическую позицию писателя. В этом разделе мы покажем, что обращение Загоскина к историческому роману не было случайным: именно в рамках этого жанра писатель мог в наиболее последовательной форме выразить свои политические убеждения, тесно связанные с тем комплексом идей, который лег в основу официальной доктрины николаевского царствования, хотя сама уваровская триада была сформулирована уже после выхода в свет романов Загоскина.

Во второй главе **«Романы Загоскина и идеологические концепты рубежа 1820–1830-х гг.»** мы рассмотрим, как на основные романы Загоскина повлиял социально-исторический контекст, в котором они создавались; какими источниками пользовался автор, откуда он черпал идеи и какие его интерпретации исторических событий были востребованы последователями (на самих концептах мы уже остановились выше).

Третья глава **«Творчество Загоскина второй половины 1830-х гг. Продолжение „русской темы“»** посвящена произведениям не вполне характерных для Загоскина жанров: комедии «Недовольные» и нравоучительным романам «Искуситель» и «Тоска по родине». Тут мы подробно остановимся на чрезвычайно актуальной и для «архаизма», и для эпохи в целом проблеме галломании и подражания иностранцам. Мы рассмотрим также проблему исторического пути России в понимании Загоскина и связанную с ней критику им европейского просвещения. Отдельный параграф посвящен единственной общественной комедии Загоскина «Недовольные», которая оказалась связана со скандалом вокруг П. Я. Чаадаева после публикации первого «Философического письма», но, как мы постарались показать, была направлена совсем не против Чаадаева.

Четвертая глава **«Русская консервативная утопия в творчестве Загоскина 1840-х гг.»** рассматривает последний этап творчества Загоскина. В 1840-е гг. параллельно с романом «Кузьма Петрович Мирошев», историческими романами «Брынский лес» и «Русские в начале осьмнадцатого столетия» писатель выпускал книги очерков о Москве «Москва и москвичи». Если в первых романах Загоскин обращался к знаковым для национального строительства историческим эпохам и описывал их в героическом духе, то в более поздних, начиная с «Искусителя», фокус изображения несколько сдвигается на религиозно-нравственные проблемы русского общества разных эпох. В поле внимания Загоскина оказываются, например, влияние европейской просветительской философии на русское общество или же проблема церковного раскола. В своих этнографических и даже «краеведческих» очерках он, оставаясь верным идеям «архаизма», раскрывает тему русского национального характера с бытовой стороны.

В **Заключении** мы подведем итоги работы и наметим возможные последующие пути изучения наследия Загоскина.

Многие положения диссертации обсуждались на конференциях в Тарту и Москве, а также в семинаре Л. Н. Киселевой. Я благодарю коллег, преподавателей, докторантов и студентов кафедры русской литературы Тартуского университета за неизменный интерес к моей работе, за плодотворные дискуссии, за разностороннюю помощь на всех этапах работы.

Я безмерно благодарна моему научному руководителю Л. Н. Киселевой за ее регулярные консультации, неравнодушие, умение воодушевить и направить. Без нее, конечно, эта работа не состоялась бы.

Я признательна Тартускому университету за возможность учиться и жить в Тарту, городе, с которым тесно связана русская культура и наука.

Я благодарю кафедральных рецензентов диссертации Р. Г. Лейбова и Т. Н. Степанищеву, а также оппонентов В. Г. Щукина и П. М. Лавринца. Их ценные замечания позволили исправить недочеты, уточнить некоторые формулировки и улучшить работу. Отдельную благодарность я хотела бы выразить А. С. Немзеру, который прочел мою работу и сделал ряд существенных замечаний, которые позволили скорректировать некоторые тезисы.

Я благодарю коллегу по семинару А. Куц за помощь с источниками и научной литературой на польском языке.

Первым читателем и критиком отдельных глав диссертации был мой муж К. Ю. Зубков. Его живая заинтересованность, терпение и забота позволили этой работе состояться.

ГЛАВА 1

ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ ЗАГОСКИНА РУБЕЖА 1820–1830-Х ГГ.: ЖАНР И ИДЕОЛОГИЯ

Заглавия двух первых исторических романов Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) и «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) указывают на то, что они должны были восприниматься как своего рода «дилогия» и представлять русский народ во время двух ключевых событий его истории (см. [Альтшуллер 1996: 85])[10]. Далее мы постараемся показать, что обращение к жанру исторического романа позволило автору последовательно воплотить в художественном повествовании свои политические убеждения, которые оказались связаны с комплексом идей, положенных в основу уваровской триады, хотя сама триада была сформулирована уже после выхода в свет романов Загоскина.

Неожиданный перелом в его литературной карьере, связанный с обращением к жанру романа, может объясняться по-разному. Несомненно, свою роль сыграли и литературная мода, и возможность добиться славы и коммерческого успеха: запрос на историческую литературу был исключительно высок. В кружках немногочисленных еще любителей романтической философии была прежде всего востребована историческая драма, образец которой дал в «Борисе Годунове» (1825, опубликована в 1831) А. С. Пушкин (см.: [Мазур 2001; Сурат, Бочаров 2007: 196]). Однако для более широкого читателя, не знавшего не публиковавшейся по цензурным причинам пьесы Пушкина, намного более интересен был исторический роман, особенно роман Вальтера Скотта. Неслучайно именно в 1829 г., когда был опубликован «Юрий Милославский», вышло больше всего русских переводов романов Скотта (см. [Долинин 1988: 166]). Напомним также, что Николай I, ознакомившись с пьесой Пушкина в 1826 г., «советовал» переделать ее в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта. Шотландским писателем интересовались и близкие Загоскину «архаисты» П. А. Катенин и А. А. Шаховской, которые, впрочем, стремились перевести его достижения в драматическую форму: они совместно создали в 1821 г. переделку «Айвенго», содержащую явные аллюзии на засилье французов в современной им России [Киселева 2003: 43–55];

---

[10] Загоскин получил репутацию первого писателя, которому удалось перенести исторический роман вальтер-скоттовского типа на русскую почву (см. многочисленные работы о Загоскине и Вальтере Скотте [Замотин 1913; Левин 1975; Долинин 1988; Альтшуллер 1996] и др.; см. также отдельную диссертацию: [Шохина 2010]. Однако многие исследователи утверждают, что проза Загоскина в действительности далека от вальтер-скоттовских творческих принципов. Мы позволим себе не согласиться с этой точкой зрения (подробнее связь поэтики Загоскина с вальтер-скоттовской будет показана ниже).

см. о других переделках, в том числе авторства Шаховского: [Альтшуллер 1996: 27].

Другие писатели вступили в соревнование за возможность стать первым историческим романистом в России. О своеобразной конкуренции Загоскина и Ф. В. Булгарина, автора романа «Димитрий Самозванец» (возможно, отчасти опиравшегося на известный Булгарину благодаря связям в III Отделении текст «Бориса Годунова»), М. П. Погодин писал С. П. Шевыреву 23 декабря 1829 г.:

> «Милославский» Загоскина и «Самозванец» Булгарина бежали друг перед другом взапуски: кто прежде выйдет. Москвич перегнал. Пушкина «Бориса» <…> удерживают в канцелярии, пока не вышел «Самозванец»; а между тем в напечатанном отрывке Булгарина видно похищение из него [Погодин 1882: 124].

Однако даже если Загоскин руководствовался финансовыми или репутационными соображениями, едва ли ими можно полностью объяснить значение принесшего ему успех жанра для его творчества. Сам по себе вальтер-скоттовский исторический роман не был нейтральной конструкцией и явно соответствовал исторической концепции писателя.

1.1. Вальтер-скоттовский исторический роман и его рецепция в России 1820-х гг.

Как показали многочисленные исследователи, проза шотландского писателя оказалась исключительно значима для европейской культуры в силу специфической формы исторического сознания, складыванию которого способствовали и его романы. В дальнейшей характеристике мы будем отталкиваться от классических положений Георга Лукача, считавшего одним из важнейших факторов развития исторического романа «широкое распространение национального мышления в народных массах» [Лукач 1937: 7, 52], последовавшее вслед за Французской революцией и наполеоновскими войнами (см. о национальном воображении и биографии Скотта современную популярную работу: [Kelly 2010]).

С одной стороны, Вальтер Скотт стремился к достоверности своего повествования: и бытовые детали, и определяющие сюжет конфликты были основаны на тщательном изучении источников — как исторических документов, так и сохранившихся народных преданий (см. [Долинин 1988: 200—207]). Примечательно, что подход романиста к прошлому оказал сильное влияние даже на профессиональных историков: по критериям своего времени Скотт отличался не только эрудицией, но и критическим отношением к различного рода материалам (см.: [Реизов 1956: 54-55, 84–86; Долинин 1988: 194–200]). С другой стороны, историзм Скотта не ограничивается этой внешней, эмпирической стороной. Пожалуй, более, чем фактологическая верность его романов, была важна установка на воспроизведение исторического процесса

в целом: в романах Скотта история представала единым, внутренне связным процессом, в котором разные эпохи соотнесены друг с другом. По формулировке М. Г. Альтшуллера, «историей для Скотта становится все: от седой старины до почти современности. Все живое попадает в непрерывный поток времени и становится интересным и важным для цепкого взгляда историка-романиста» [Альтшуллер 1996: 15]. Наиболее ясной формой связи прошлого и настоящего оказывались у Скотта национальные традиции: неслучайно многие известные его романы сосредоточены на шотландской истории. Такой историзм, с одной стороны, позволял применять единые критерии осмысления к самым разным историческим процессам, а с другой стороны, мог интерпретироваться в рамках своеобразного романтического национализма, согласно которому неизменные национальные и общечеловеческие черты не противоречат историческим процессам — напротив, они могут манифестироваться только в историческом бытии того или иного народа (см. о глубинной неизменности концепции человека в романах Скотта: [Долинин 1988: 190-191]).

Историческая концепция романов Вальтера Скотта воплотилась в своеобразном использовании фикциональности, в композиции и структуре персонажей его прозы. Вымышленное и достоверное у Скотта переплетаются сложным образом (см. о проблеме вымысла и историческом романе: [Ungurianu 2007: 3–12]). Реальные известные исторические лица у Скотта по преимуществу располагаются на периферии повествования:

> Они никогда не оказываются в центре сюжета, и если иногда затмевают яркостью и живостью изображения несколько худосочного идеального протагониста, все же никогда не становятся главной пружиной занимательного романного повествования [Альтшуллер 1996: 20].

Произошедшие с ними события воспроизводятся романистом в целом в соответствии с историческими источниками, что дает его прозе мощный «эффект реальности». В то же время Скотт никогда не пытается посвятить весь роман такого рода персонажам. Шотландский романист строит свои повествования вокруг фигуры центрального героя — человека среднего, однако так или иначе причастного к историческим событиям [Долинин 1988: 192]. Если исторические лица в его повествовании по преимуществу совершают общественно-, политически- и исторически значимые поступки, то центральные герои показаны иначе: огромное внимание уделяется их частной жизни, эмоциональному миру, образу мыслей. Лукач писал:

> В построении романа вокруг индивидуальной судьбы «среднего», только корректного и никогда не героичного «героя» ярче всего сказалось огромное, эпическое дарование Вальтер Скотта, составившее эпоху в истории литературы [Лукач 1937: 7, 61].

Все это позволяет читателю легче отождествлять себя с такими героями и видеть в людях прошлого не только примеры того или иного поведения, но

и носителей индивидуальной психологии (о характерной для Скотта узнаваемости персонажа см.: [Долинин 1988: 210]). Таким образом, люди далекого прошлого становились для читателей понятны и, что еще более важно, интересны. Частная жизнь любого человека — будь то средневековый рыцарь или современный читатель — за счет работы такого нарративного механизма воспринималась как подключенная к единому историческому процессу, который становился воплощением универсально значимых категорий, включая дух нации (см. о романтическом историзме: [Виницкий 2006]; о связи его с популярностью исторического романа: [Ungurianu 2007: 13-14]). Нарратив вальтерскоттовского романа превращал историю из предмета любопытства антикваров или набора поучительных примеров в связующее звено между частными людьми — современным читателем и жившим в прошлом героем.

Разумеется, русская критика не могла пройти мимо этих особенностей романов Скотта. А. С. Пушкин назвал соединение частного и исторического в его прозе наиболее значимой ее чертой:

> Главная прелесть романов Walter Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с enflure французских трагедий, — не с чопорностию чувствительных романов — не с dignité истории, но современно, но домашним образом [Пушкин: 6, 303].

О том же, пусть в менее изящных выражениях, писал С. П. Шевырев, рецензировавший первый русский перевод «Уэверли»:

> *Роман* объемлет весь поток жизни человеческой, начиная от его истока до впадения.
> История народов и царств, история каждого частного человека, история каждой вещи, чем-либо замечательной, — принадлежат ему [Шевырев 1827: 413][11].

Русские критики были настолько увлечены Скоттом, что считали его произведения первым образцом романного жанра, в котором видели будущее литературы (см.: [Долинин 1988: 173–183]).

Эффекта непосредственной связи между прошлым и современностью стремился, конечно, добиться и Загоскин, во многом копировавший вальтерскоттовскую технику. Скотт, в частности, пользовался поясняющими и в то же время экзотизирующими его действие примечаниями, которые создавали эффект своеобразной игры с читателем:

> Элементом той же игры в истории являются и столь частые у Скотта примечания, которые поясняют исторические и этнографические реалии,

---

[11] См. о рецензии Шевырева: [Долинин 1988: 181]; о проблематике частного и исторического в русской теории романа времен Загоскина: [Манн 1998: 314–329]; о рецепции Скотта в России см.: [Левин 1975; Долинин 1988; Альтшуллер 1996].

> встречающиеся в романах (таковы, например, разъяснения о страшном подземном судилище, куда попадает герой, в «Анне Гейерштейн» или объяснение, что такое специальное шотландское пиво (groaning malt) и шотландский сыр (kenno), которые вкушаются у постели роженицы в «Гае Мэннеринге») [Альтшуллер 1996: 14][12].

Схожими примечаниями Загоскин снабжал своего «Юрия Милославского». Русский писатель стремился не просто пояснить читателю не вполне понятные реалии, но приблизить их к его горизонту ожидания или, как сказал бы Пушкин, познакомить читателя с прошлым «домашним образом». Так, упомянув губного старосту, нарратор в его романе не без иронии уточняет: «Почти то же, что нынешний капитан-исправник» [Загоскин 1988а: 1, 56].

В идеологическом осмыслении подобных параллелей Загоскин явно пытался следовать за шотландским романистом. Показательно, например, неожиданное отступление о любви к прошлому в романе «Рославлев», где русское невнимание к историческим достопримечательностям противопоставлено европейской любви к старине:

> …наш гусарский ротмистр проехал весьма хладнокровно мимо ветхой церкви, построенной, вероятно, прежде царя Алексея Михайловича, и, взглянув нечаянно на одно полуразвалившееся здание, сказал: «Кой черт! что это за смешной амбар!..» — «Злодей! — вскричал бы какой-нибудь антикварий[13]. — Вандал! да знаешь ли, что ты называешь амбаром царскую вышку, или терем, в котором православные русские цари отдыхали на пути своем в Троицкую лавру? <…> Куда девался великолепный Коломенский дворец? Где царские палаты в селе Алексеевском? Посмотрите, как все европейские народы дорожат остатками своей старины! Укажите мне хотя на один иностранный город, где бы жители согласились продать на сломку какую-нибудь уродливую готическую башню или древние городские вороты? Нет! они гордятся сими драгоценными развалинами; они глядят на них с тем же почтением, с тою же любовию, с какою добрые дети смотрят на заросший травою могильный памятник своих родителей; а мы...» [Загоскин 1988а: 1, 452].

Как и известный своими консервативными взглядами Скотт, Загоскин совершенно буквально занимается «изобретением традиции» (Э. Хобсбаум): вовсе не интересующемуся прошлым герою (и читателям) объясняется, что окружающие его руины представляют «свою старину», к которой необходимо относиться с почтением. В духе европейского национализма Загоскин стыдит героя и читателя сопоставлением с чтущими историческую память европейцами.

---

[12] Подробнее о примечаниях в русских исторических романах см.: [Ungurianu 2007: 40–48].

[13] Неслучайно этот фрагмент произносится от имени некого «антиквария», очевидно, отсылающего в целом к многочисленным нарративным маскам Вальтера Скотта, и в частности к его роману «Антикварий» (1816).

Обращение к прошлому в романах Вальтера Скотта не противоречило их современности (см. [Lincoln 2007; Долинин 1988: 190–191]). Скотт постоянно взаимодействовал с издателями и явно учитывал запросы читательской аудитории, интересовавшейся и экзотическими темами, связанными с далеким прошлым, и необычным местом действия, и актуальными романтическими идеями. Автор «Роб Роя» действительно активно пользовался не только своей эрудицией в области далекого прошлого, но и механизмами современной рыночной экономики (скажем, получил первый в истории аванс за литературное произведение). Впрочем, обращение к современной экономике несло и опасности: в 1825 г. писатель, как известно, понес огромные потери во время биржевого кризиса. Анонимность его романов интриговала читателей и привлекала их внимание к личности автора. В то же время серийность их публикации способствовала новым формам чтения, предполагавшим не многократное перечитывание авторитетного текста, а экстенсивное поглощение все большего и большего количества информации (см. [Венедиктова 2017]).

В силу всех этих причин исторический роман Вальтера Скотта дал мощный толчок развитию и популярности жанра во всей Европе. Как пишет Йорн Рюзен, развитие исторического сознания в целом тесно связано с осмыслением перемен, происходящих на глазах обеспокоенных прошлым людей (см.: [Rüsen 2017: 14–16]). Соответственно вальтер-скоттовский роман отвечал потребности в осмыслении бурных исторических событий, тревоживших его читателей (наполеоновские войны, французская революция 1830 г., борьба за освобождение Греции):

> Недавние бурные события делали для них <авторов> совершенно ясным, что активной силой истории являются народные массы; история в их понимании и есть жизнь народа, а не отдельных выдающихся деятелей. Народные персонажи, массовые народные сцены имеются почти в каждом историческом романе, а в драмах присутствие народа, хотя бы и за кулисами, нередко определяет развязку [Реизов 1958: 151].

Для самого Вальтера Скотта, как и для русских авторов, значимым предшественником послужил Шекспир, исторические хроники которого сыграли важную роль в творчестве европейских романтиков. В России же важнейшим стимулом для появления исторических сочинений был выход «Истории государства Российского» Карамзина. Как показывают трагедия «Борис Годунов», незавершенный роман «Арап Петра Великого» и поэма «Полтава» Пушкина, а также исторические трагедии А. С. Хомякова, М. П. Погодина и др. — почва для создания исторического романа в России к концу 1820-х гг. была создана. Оба автора, Загоскин и Ф. В. Булгарин, одновременно взявшиеся за работу над русским вальтер-скоттовским романом, обратились к эпохе Смутного времени. Всего лишь годом позже начнет выходить «Последний Новик» И. И. Лажечникова о бурных событиях конца XVII — начала XVIII вв. К середине 1830-х гг. историческая проза станет одной из важнейших составляющих русской литературы, ею будут заниматься

Пушкин («Капитанская дочка», 1836 г.) и Гоголь («Тарас Бульба», 1835 г.), ее будут обсуждать ведущие критики, такие как Н. А. Полевой, Н. И. Надеждин и В. Г. Белинский, а среди ее читателей окажутся не только представители аристократических и культурных элит («литературной аристократии», как называли их оппоненты), но и тот «средний» читатель, для которого сочинения Загоскина и Лажечникова, по всей видимости, могли оказаться одним из первых опытов знакомства с современной художественной и при этом не массовой литературой.

Стремление к формированию большой фикциональной нарративной формы (романа) в России наталкивалось на неразработанность прозаических жанров. В начале 1820-х годов постоянно раздавались сетования на отсутствие прозы. «Лабораторией» русского исторического романа стала романтическая историческая повесть, именно в ней впервые опробуются те или иные темы и вырабатываются новые принципы поэтики и стиля, новые методы обработки исторического материала, приемы соединения истории и вымысла [Левкович 1973: 109-110; Альтшуллер 1996]. В этой области предшественниками Загоскина были братья Н. А. и А. А. Бестужевы, В. К. Кюхельбекер, А. О. Корнилович. За несколько лет до появления «Рославлева» Загоскина в двух повестях О. М. Сомова — «Приказ с того света» и «Вывеска» —

> …события Отечественной войны трактовались как исторический образец национального единства, единения русского народа перед угрозой иностранного порабощения. Особенно это относится к повести «Вывеска», центральное место в которой занимает эпизод партизанской войны: крестьяне, вооруженные косами, кольями, вилами, под командой своего помещика захватывают отряд отступающих французов [Левкович 1973: 126][14].

Забота об исторической достоверности и одновременно неумение препарировать исторический материал приводит к смешению фикционального и документального — ссылками на источники (чаще всего на Карамзина), перечислением исторических фактов, пространными выписками[15] из летописей или из того же Карамзина [Левкович 1973]. Подобный подход, при всей своей наивности, во многом подготавливал изощренную нарративную структуру исторического романа вальтер-скоттовского типа.

До появления загоскинских романов запрос на новый тип исторического повествования спорадически проявлялся и в литературной критике (см.: [Альтшуллер 1996: 60-62; Ungurianu 2007: 16—21]). В 1826 г. было опубликовано «Письмо о русских романах» Погодина, на тот момент близкого к кружку

---

[14] Тема эта трактовалась и в публицистике периода наполеоновских воин (см. журнал «Сын отечества»), в драматургии эпохи 1812 г., а также в «Письмах русского офицера» Ф. Глинки, но это не были примеры исторической прозы, к выработке которой обратились лишь в 1820-е гг.

[15] Что характерно для романа Булгарина «Димитрий Самозванец».

любомудров, с настойчивым призывом к русским литераторам создавать исторические романы, с возможными примерами сюжетов. Погодин, что примечательно, связывал необходимость сочинять романы с распространением грамотности и появлением нового типа читателя:

> …почта из Москвы в Петербург, например, ходит теперь шесть раз в неделю, вместо двух; газет печатается гораздо большее количество экземпляров, нежели прежде; — сидельцы и дворовые люди, приходящие за ними по середам и субботам в университетскую книжную лавку, собираются кружками и читают их на улице, прежде своих хозяев; самые плохие учебные книжки печатаются шестыми и десятыми изданиями; в обществах наших заводится иногда речь мимоходом и о литературе… [Погодин 1984: 133].

Рассуждения Погодина при этом начинаются с описания некого светского салона, посетители которого говорят о последнем романе Вальтера Скотта: в орбиту исторического романа, таким образом, включаются не только «сидельцы и дворовые люди», но и аристократы. Опровергая убежденность собеседников, будто российская история не дает сюжетов для отечественного Вальтера Скотта, критик предлагает набор тем, подходящих потенциальному романисту, причем потенциальный их успех оценивается через прямую апелляцию к шотландскому писателю:

> Характеры Иоанна Великого, Грозного, Годунова, Лжедимитрия, Шуйского, Софии, Петра можно вывести на сцену едва ли не с таким же успехом, с каким Вальтер Скотт вывел Елизавету (в «Кенильворте»), Марию Стуарт (в «Аббате»), Кромвеля (в «Вудстоке»), Иакова (в «Ниджеле»), Каролину (в «Эдинбургской темнице»);
> Наши раскольники, скажу мимоходом, представляют черты, которых не имеют и пуритане шотландские [Погодин 1984: 137, 138].

Все эти темы, что принципиально, характеризуются через национальные и имперские категории. С одной стороны, отечественный автор определяется как «русский романист», и другие народы интересуют Погодина постольку, поскольку «приходят в соприкосновение с русскими» [Погодин 1984: 136]. С другой, Погодин постоянно подчеркивает территориальную величину и культурное многообразие империи, объединяющей представителей разных народов, вероисповеданий и образов жизни:

> В России есть все религии, начиная от язычника, от северного зверолова, который надеется на том свете иметь самую обильную оленью ловлю, до мудреца, постигающего христианскую веру во всем ее высоком величии;
> Какое различие у нас в званиях! У каждого есть свой язык, свой дух, своя одежда, даже своя походка, свой почерк. Одним языком говорит у нас священник, другим купец, третьим помещик, четвертым крестьянин;

> У нас есть все климаты: здесь лапландец ест мерзлую рыбу, которая тает у него в желудке; там крымский татарин, томимый зноем, с трубкою в руках, сидит целый день над рекою, опустив в нее свои ноги [Погодин 1984: 138–140].

Точка зрения Погодина была оспорена Вяземским в рецензии на «Северную лиру». Соглашаясь с ним «в мнении, что у нас в истории встречаются предметы для поэтических романов», Вяземский выражал сомнение «в богатстве наших материалов для романов вроде В. Скотта». Точка зрения Вяземского во многом определяется его элитарной установкой — и по отношению к чтению, и по отношению к обществу в целом. Вяземский неслучайно осуждает Погодина за недостаточно тонкую иронию в адрес великосветского общества и, видимо, плохое понимание образа жизни его представителей:

> Жаль, что Автор, в письме своем о русских романах, задевает, как многие из наших комиков, погрешности условные, мнимые, а не существенные. <…> Мало ли в наших *блистательных собраниях* встретится истинно смешного? Зачем прибегать к общим, так сказать, давно заданным уликам? [Вяземский 1984: 229].

В отличие от Погодина, Вяземский был уверен, что русское общество в целом недостаточно развито, чтобы давать материал для романа:

> В нашей истории, по крайней мере до Петра Великого, встречаются, разумеется, лица, события и страсти, но нет нравов, общежития, гражданственного и домашнего быта: источников необходимых для наблюдателя-романиста [Вяземский 1984: 229].

Основной слабостью, как видим, становится именно недостаток сведений о частной жизни — необходимой составляющей вальтер-скоттовского романа. Получалось, что кандидату на роль русского исторического романиста необходимо было изобрести убедительный образ не только исторического прошлого российского государства и русского народа, но и частного человека, в жизни которого это прошлое могло бы отразиться и вызвать интерес и сочувствие читателя. Пушкин считал удачной эту сторону загоскинской прозы, подчеркивая связь «романического» (любовной интриги, связанной с жизнью героя) и исторического:

> Романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую происшествия исторического. Автор не спешит своим рассказом, останавливается на подробностях, заглядывает и в сторону, но никогда не утомляет внимания читателя. Разговор (живой, драматический везде, где он простонароден) обличает мастера своего дела [Пушкин 1962: 6, 41].

Внимание русских беллетристов к национальному прошлому во многом совпадало с интересами историков. Разумеется, основным источником

исторических сюжетов оставалась «История государства Российского» Карамзина, которая еще долго определяла представления рядового читателя об истории. В то же время предпринимались и попытки создания альтернативного исторического нарратива. Примечательно, что все они в той или иной степени соотносимы с общими установками вальтер-скоттовского историзма. Скептический пересмотр карамзинского нарратива, основанный на строгой критике источников, был предпринят еще М. Т. Каченовским [Каченовский 2006]. Во многом его можно соотнести с принципиальной ориентацией Вальтера Скотта на передачу фактов (примечательно, что именно Каченовский был одним из первых переводчиков на русский язык поэтических произведений Скотта).

Намного более важна, однако, была националистическая историография, также полемичная по отношению к трудам Карамзина[16]. Именно в этом направлении была написана незавершенная «История русского народа» (1829–1833) Н. Полевого, которая должна была, по мысли автора, отразить «дух народа». Уже само название этого труда указывает на прямую ориентацию на национальную проблематику. Описание собственной исторической методологии, помещенное Полевым в предисловии к его истории, достаточно явно указывает на его близость к историческому роману (тем более что он сам был автором романа «Клятва при гробе Господнем» из событий русской истории XV в.). Историк воспринимал свой труд именно как нарративную деятельность, направленную на преодоление барьеров между прошлым и современностью, частной жизнью и универсальной историей, рациональным и интуитивным познанием:

> Положив в основание истину, приняв в руководители умозрение и опыт, Историк обязан только показать нам Прошедшее так, как оно *было*; оживить представителей его, заставить их действовать, думать, говорить, как они действовали, думали, говорили, и, бесстрастным вещанием истины, слить жизнь каждого из отдельных представителей с его веком, его временем, обставить изображения их теми отношениями, царства и народы теми царствами и народами, коими сливались они с Человечеством в действительной своей жизни [Полевой 1829: XXI].

Несмотря на огромный общий интерес к историческому роману, именно Загоскину удалось стать первым русским писателем, перенесшим на русскую почву жанровую модель вальтер-скоттовского исторического романа. Далее мы сосредоточимся на том, какие трансформации претерпела эта модель в ходе трансфера и приспособления к условиям русской литературы и каким идеологическим содержанием она оказалась наполнена в условиях Российской

---

[16] Первую попытку стимулировать публичную критику «Истории государства Российского» предпринял Булгарин, привлекший к рецензированию польского ученого Й. Лелевеля. Критика «арзамасцев» оставалась на уровне частных высказываний [Эйдельман 1983: 149–151].

империи. Этот анализ позволит нам рассмотреть затем и другие жанры, к которым обращался писатель, чтобы охарактеризовать его произведения на фоне романов.

1.2. Народ и герой в исторической прозе Загоскина

Свои общие взгляды на исторический роман Загоскин изложил в часто цитируемом письме В. А. Жуковскому от 20 января 1830 г.:

> Исторические романы можно разделить на два рода: *одни* имеют предметом своим исторические лица, которые автор заставляет действовать в своем романе и на поприще общественной жизни, и в домашнем быту; *другие* имеют основанием какую-нибудь известную эпоху в истории; в них автор не выводит на сцену именно то или другое лицо, но **старается охарактеризовать целый народ, его дух, обычаи и нравы** в эпоху, взятую им в основание его романа. К последнему разряду принадлежит «Юрий Милославский» и роман, которым я теперь занимаюсь. И вот почему я не мог их назвать иначе, как «Русские в 1612-м» и «Русские в 1812 году». Если действующие лица, выведенные мной в романе «Милославский», походят на русских 1612 года; если Юрий, Алексей, Шалонский, Туренин, юродивый, земский ярыжка могут назваться представителями различных гражданских состояний своего времени, то, несмотря на то, что сии лица не исторические, я не мог дать вернейшего названия моему роману [Загоскин 1988а: 1, 722-723]. Здесь и далее выделено нами. — *Е. Я.*

Исследователи склонны трактовать эти слова как полемику с Вальтером Скоттом (см.: [Альтшуллер 1996: 86])[17]. В действительности же довольно сложно увидеть здесь принципиальные разногласия с шотландским романистом: его собственные произведения, в конце концов, тоже посвящены скорее не «историческим лицам», оказывающимся на периферии повествования, а характеристике «целого народа», т. е. нации, и это относится к обоим романам — и к «Милославскому», и к «Рославлеву». Для этой характеристики Загоскин, в отличие от многих своих современников, лишь изредка обращался к фольклорным образам (см.: [Ungurianu 2007 52–54; Горбатов 2009]). Очевидно, «народность» для писателя определялась прежде всего через другие категории: национальный характер и его проявление в кризисные ситуации, а также соотношение русского характера с другими национальными характерами,

---

[17] На наш взгляд, еще Аксаков точно охарактеризовал соотношение текстов Загоскина и В. Скотта: «Очевидно, чтение исторических романов Вальтера Скотта внушило автору мысль написать русский исторический роман; очевидно, что он заимствовал форму и даже приемы знаменитого шотландца; но этим ограничилась вся подражательность Загоскина» [Аксаков 1966: 171].

а в условиях войны это характеры врагов — поляков и французов. В этой главе мы попытаемся установить, как Загоскин отвечает на главный для него вопрос — «кто такие русские?», будь то в 1612 или в 1812 г.; образ врага будут рассмотрен нами в следующей главе.

Выбор исторической эпохи для первого романа Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» — Смутное время[18] — далеко не случаен и носит знаковый характер. Как отмечает А. Л. Зорин, еще в 1810-е гг. в сознании русского общества сложилась историческая параллель между событиями 1612 и 1812 гг. История освобождения Москвы в 1612 г. отвечала схемам идеологического строительства 1800–1810-х: поражение в Аустерлицком сражении в исторической перспективе могло восприниматься как предвестник будущих триумфов на поле брани и возрождения российского государства [Зорин 2001: 173-174]. Эта историческая параллель, задающая канон восприятия событий Смутного времени, сформировалась в литературной среде, «отчетливо оппозиционной по отношению к тогдашнему правительственному курсу» [Зорин 2001: 162]. В начале 1830-х гг. складывалась уже официальная трактовка Смутного времени как периода формирования российской государственности в современном ее виде (очевидным образом такая трактовка опиралась на представление о ключевой исторической роли династии Романовых). Загоскин со своими первыми романами стоял у истоков такой интерпретации, увязывающей историческое прошлое и сравнительно недавние события, едва выходившие за пределы современности. 1812 год для писателя оказывается периодом, окончательно утвердившим незыблемость сложившегося после преодоления кризиса Смутного времени порядка, опирающегося на православную веру и народную любовь к отечеству и государю.

Эта параллель была очевидной, особенно в театре: обращаясь к зрителям самого разного уровня образования и происхождения, драматургам приходилось, с одной стороны, выражать свои идеи достаточно прямолинейно, а с другой стороны, ориентироваться на возможность буквально участвовать в национальном строительстве. Так, в 1829 г. А. А. Шаховской написал трагедию «Смольяне в 1611 году»; в 1832 г. Александринский театр открылся постановкой трагедии М. В. Крюковского «Пожарский» (1807), написанной в традиции Озерова; в 1834 г. появляется «Рука Всевышнего Отечество спасла» Н. В. Кукольника; а в 1836 г. была поставлена опера М. И. Глинки «Жизнь за царя». Все эти произведения строятся вокруг образа (или образов) национального героя, воплощающего верность русского народа Богу и царю и готовность принять страдания во имя победы над внешними силами, угрожающими российскому государству. Л. Н. Киселева показала, что перевод Жуковским «Орлеанской девы» (1821), начатый в 1812 г., послужил важным импульсом к созданию

[18] Действие романа укладывается в промежуток с апреля (с экскурсами в 1611 г. и в более ранний период) по конец 1612 г..

ряда русских национальных героев (такими образами становятся Минин и Сусанин) [Киселева 2004].

Герой как представитель нации, с Божьей помощью спасающий отечество и государя, становится особенно востребованным в николаевскую эпоху. Он воспринимается как воплощение глубинного единства национального, религиозного и государственного начал; в природе этого русского героя выявляется преданность вере и государю, доходящая до самопожертвования. Отделить «русскость» от православия и самодержавия становится принципиально невозможно, что выразилось и закрепилось в «уваровской триаде». Наиболее отвечающей официальной трактовке оказалась интерпретация Кукольника: в Смуту Россию спас Бог, Пожарский был его орудием, а простой народ — это всего лишь «легковерные дети, которые нуждаются в строгом руководителе» [Киселева 2014: 284]. Чтобы преодолеть разобщенность и хаос, русскому народу, по Кукольнику, необходим утвержденный божественным провидением самодержавный правитель — представитель династии Романовых, которого в финале его пьесы избирают независимо друг от друга представители самых разных слоев, составляющих народное единство. Пьеса Кукольника, хотя и не вызвала восторга у многих представителей литературных кругов, произвела очень положительное впечатление на императора. «Рука Всевышнего…» пришлась Николаю настолько по душе, что он был готов прибегнуть к репрессиям по отношению к литераторам, позволившим себе ее публичную критику — напомним, что именно резкий отзыв на драму Кукольника, написанный Н. А. Полевым, послужил поводом для закрытия журнала «Московский телеграф». Кукольнику, таким образом, удалось прямо выразить настроения монарха.

Загоскин предлагает иной сценарий взаимодействия отдельной личности (как исторической, так и фикциональной) с народом. В конечном итоге все они вместе составляют образ «русских» — нации как коллективной личности. Причем качества этой личности постоянны и не зависят ни от эпохи, ни от сословия. События Смутного времени и Отечественной войны 1812 года показаны у Загоскина как **народная** (национальная, всеобщая) **война** за свободу и независимость России, и главным действующим лицом в этой войне оказывается простой народ.

1.2.1. Пробуждение духа народа

Образ простого народа (крестьян, казаков, городских жителей, купцов) в романах Загоскина далеко не однозначен. Он складывается из образа «массы» (народа на нижегородской площади, отрядов шишей, казаков, партизан) и отдельных представителей (названных по именам персонажей — как исторических, так и вымышленных). И в «Милославском», и в «Рославлеве» нация как коллективная личность показана в кризисных ситуациях, когда от поведения всех членов зависит судьба отечества. В обоих случаях народ далеко не сразу

включается в события, он нуждается в «пробуждении» своих лучших качеств. Это «пробуждение» может произойти только под влиянием и под руководством со стороны выдающихся личностей[19]:

> Этот спасительный пример <защитников Троице-Сергиевой лавры> и увещательные грамоты, которые благочестивый **архимандрит Дионисий** и незабвенный **старец Авраамий** рассылали повсюду, **пробудили**, наконец, **усыпленный дух народа русского**; затлились в сердцах искры пламенной любви к отечеству, все готовы были восстать на супостата, но священные слова: «Умрем за веру православную и святую Русь!» — не раздавались еще на площадях городских; все сердца кипели мщением, но **Пожарский**, покрытый ранами, страдал на одре болезни, а бессмертный **Минин** еще не выступил из толпы обыкновенных граждан [Загоскин 1988а: 1, 36][20].

Минин в романе выведен как лучший представитель народа[21], который в состоянии пробудить «усыпленный» народный дух:

> — Граждане и братии! <…> я сам, мы все, вся кровь наша <принадлежит> земскому делу и всей земле русской!
> — Отдаем все наши имущества! Умрем за веру православную и святую Русь! — загремели бесчисленные голоса <…> воскликнул **весь народ** [Загоскин 1988а: 1, 171-172].

В конечном итоге именно всеобщее одушевление и действия народа определяют победу. Ср. в «Рославлеве»:

---

[19] В этом смысле Загоскин следует жанровой модели классического исторического романа: «Для Вальтер Скотта великая историческая личность — это, прежде всего, представитель значительного общественного течения, которое захватывает большие народные массы» [Лукач 1937: 7, 65]. Ср.: «Главные фигуры Вальтер Скотта — тоже национально-типические характеры, но они уже не представляют собой обобщающих вершин» [Там же: 63-64].

[20] Ср. описание обманчивой тишины в начале «Рославлева»: «…ничто, по-видимому, не нарушало еще общего спокойствия и тишины. <…> будущее скрывалось для всех под каким-то таинственным покровом. Народ не толпился еще вокруг храмов господних; еще не раздавались вопли несчастных вдов и сирот <…> ничто не изменилось в шумной столице севера. <…> все шло по-прежнему. На западе России сбирались грозные тучи; но гром еще молчал» [Загоскин 1988а: 1, 289].

[21] Характерна та внешность, которую Загоскин придумывает для Минина: «человек лет за сорок, одетый весьма просто; черная окладистая борода, высокий лоб, покрытый морщинами, а более всего орлиный, быстрый взгляд отличали его от других. Смуглое, исполненное жизни лицо его выражало глубокую задумчивость и какое-то грозное спокойствие человека, уверенного в необычайной своей силе; широкие плеча, жилистые руки, высокая богатырская грудь все оправдывало эту последнюю догадку» [Загоскин 1988а: 1, 45]. Об образе Минина в романе см. также: [Юхнова 2009: 139–143].

> **Русские восстали**, и приговор всевышнего свершился над сей главой, обремененной лаврами и проклятиями вселенной. Могучий, непобедимый, **он** <Наполеон> **ступил на землю русскую — и уже могила его была назначена** на уединенной скале безбрежного океана! [Загоскин 1988 а: 1; 388][22].

1.2.2. Образ простого народа

Неоднозначность трактовки образа народа у Загоскина особенно ярко проявляется в образе толпы. Простонародная толпа в романах не только не идеальна, но и жестока и часто звероподобна. Так, партизанский отряд отца Еремея больше похож на разбойничий лагерь, чем на военный:

> …распаленная вином и мщением буйная толпа начинала уже забывать все повиновение, их неистовые восклицания, буйные разговоры, зверский хохот, с коим они указывали по временам на виселицу <…> — все это вместе составляло картину столь отвратительную, что Юрий невольно содрогнулся [Загоскин 1988а: 250].

Толпа эта подвержена влиянию, как дурному, так и хорошему: одно слово предводителя способно и усмирить ее, и дать сигнал к казни [Загоскин 1988а: 252]; это видно и в сцене народной расправы над предателем-купцом в «Рославлеве», и в сцене стрелецкого бунта в «Брынском лесе». Раскольники из Брынского леса легко попадают под влияние старца Пафнутия, который мучает их голодом якобы ради спасения души, а избежав смерти, так же легко возвращаются под начало другого лидера, отца Андрея. Герои Загоскина используют суеверие простонародья: так, Кирша, притворяется колдуном, чтобы спастись от разбойников Омляша, Удалого и Томилы, которые служат Кручине-Шалонскому [Загоскин 1988а: 203–206].

Интересен образ казаков в романе «Юрий Милославский». Запорожцы придерживаются православной веры и на этом основании считаются в романе русскими. Однако казаки у Загоскина — разные. Иногда это буйные люди, не знающие порядка и иерархии. Слуга Милославского Алексей поначалу опасается Кирши, считая всех казаков разбойниками. Их войско так же мало организовано, как отряд отца Еремея: становясь лагерем под Москвой, казаки

---

[22] «Рославлев» был первым русским романом, в котором была представлена концепция народной войны (см. об этом ниже). Известно, что Л. Н. Толстой интересовался романом Загоскина и во время работы над «Войной и миром» читал «Рославлева» «с наслаждением, которого никто, кроме автора, понять не может [Толстой 1938: 58]. Разумеется, мы далеки от мысли о влиянии Загоскина на автора «Войны и мира», и все же нельзя пройти мимо сходства концепций народной войны (о концепции Л. Н. Толстого см.: [Бочаров 1978]).

войска князя Трубецкого пьют, ругают нижегородское ополчение и не признают никакой власти над собой [Загоскин 1988а: 262-263] и способны покинуть поле боя в решающий момент. Казачьи воеводы прямо говорят о своей нелюбви к «Московскому государству», но их нелюбовь к полякам оказывается сильнее, и они поддерживают войско Пожарского даже вопреки прямому приказу Трубецкого. Важнейшая черта самоопределения казаков у Загоскина — это православная вера. Они не всегда подчиняются приказам начальников, но бросаются в бой, вдохновленные Авраамием Палицыным, причем примечательно, что Палицин одним обещает «нетленную награду на небесах», а другим — монастырскую казну [Загоскин 1988а: 269]. Казаки действительно живут грабежом: они готовы разграбить царские палаты и оставленную поляками казну, а московские жители спасаются от казаков бегством [Загоскин 1988а: 273–274]. Но вопрос веры оказывается для казаков принципиальным — они могут грабить кого угодно, но не доходят до святотатства:

> Нечего сказать, и мы кутили порядком в Чернигове: все божье, да наше! Но жгли ли мы храмы господни? ругались ли верою православною? А эти окаянные ляхи для забавы стреляют в святые иконы! Как Бог еще терпит! [Загоскин 1988а: 42].

На протяжении первой части романа слуга Милославского Алексей постоянно подозревает в казаке Кирше разбойника на том основании, что он «запорожец». В действительности Кирша хотя и очень далек от идеала, но все же не воплощает силы, разрушающей общественное и государственное единство. В некотором смысле все обстоит ровно наоборот: именно Кирша предпринимает все усилия, чтобы воссоединить возлюбленных Юрия и Анастасию, и препятствует замыслам злодеев. В то же время подчеркивается, что этот герой воплощает в себе самые разные качества, в том числе, и далеко не самые светлые стороны «народного» духа:

> Кирша был удалой наездник, любил подраться, попить, побуянить; но и в самом пылу сражения щадил безоружного врага, не забавлялся, подобно своим товарищам, над пленными, то есть не резал им ни ушей, ни носов, а только, обобрав с ног до головы и оставив в одной рубашке, отпускал их на все четыре стороны. Правда, это случалось иногда зимою, в трескучие морозы; но зато и летом он поступал с ними с тем же самым милосердием и терпеливо сносил насмешки товарищей, которые называли его отцом Киршею и говорили, что он не запорожский казак, а баба [Загоскин 1988а: 1, 129–130].

В нарративной структуре он выполняет функции сказочного волшебного помощника, троекратно спасающего главного героя и добывающего ему невесту (о волшебных помощниках у Вальтера Скотта см. [Альтшуллер 1996: 21–23], о Кирше как волшебном помощнике см.: [Линьков 2001а, Никульшина 2002]). Однако в последней части романа Кирша преображается. Услышав речи Минина, из полуразбойного персонажа и трикстера-вора он трансформируется

в былинного богатыря, поступает на государственную службу и обретает родовое имя Кирилла Пахомыч. Все это, впрочем, не мешает ему утопить предателя с чудовищной жестокостью, пугающей главного героя: «…я обещал отпустить его без всякой обиды, а вытаскивать из болота уговора не было» [Загоскин 1988а: 1, 221]. Загоскину важно не просто показать положительных и отрицательных персонажей, а слить в этом идеологически важном персонаже позитивные и негативные народные черты так, чтобы они оказались сторонами одной медали: щедрость, отвага и широта души, доходящие до грабежа, разбоя и зверского насилия. В этом смысле Кирша, конечно, предшествует пушкинскому Пугачеву, который схожим образом появляется в повествовании (Милославский спасает его во время метели и позже сам спасается благодаря ему).

Как в образе Кирши, так и в романе в целом создается картина Смутного времени, где основной конфликт разворачивается не между двумя армиями, а между представителями самых разных этнических, социальных и религиозных групп. Именно в отсутствии национального единства, а не в польской интервенции видят персонажи романа основную причину бед Руси: если бы русские не враждовали между собой, разбой поляков был бы давно прекращен: «Я люблю святую Русь не менее вас; но вы ненавидите одних поляков, а я ненавижу еще более крамолы, междоусобие и бесполезное кровопролитие, противные Господу и пагубные для нашего отечества» [Загоскин 1988а: 1, 184], — говорит Мансуров на совещании в Нижнем Новгороде по поводу организации ополчения.

Кирша — не единственное исключение среди разбойных казаков: в романе коротко показано, что не все казаки живут грабежом и не признают над собой ничьей власти. В отряде Милославского тоже есть казаки, и они ведут себя иначе:

> В некотором расстоянии от этого войска стояли особо человек пятьсот всадников, в числе которых заметны были также казаки; но порядок и тишина, ими наблюдаемая, и приметное уважение к старшинам, которые находились при своих местах в беспрестанной готовности к сражению, — все удостоверяло, что этот небольшой отряд не принадлежал к войску князя Трубецкого [Загоскин 1988: 262-263].

Кирша оказывается персонажем, выражающим идеал народного (но не простонародного) характера: он верен слову, храбр, хитроумен. Также выражает народный характер и «бессмертный» Минин. В «Рославлеве» носителем национального характера прямо назван купец Андрей Васьянович, чья «…наружность <…> принадлежала к числу тех, которые соединяют в себе все отдельные черты национального характера. Радушие, природный ум, досужество, сметливость и русской толк отпечатаны были на его выразительном и открытом лице» [Загоскин 1988а: 1, 336]. А в предисловии к «Рославлеву» дано и определение основ национального характера и перечислены неизменные русские качества: «наша непоколебимая верность к престолу, привязанность к вере предков и любовь к родимой стороне» [Загоскин 1988а: 1, 287].

Преданность господам является, по Загоскину, характерной чертой русских слуг. В его произведениях есть ряд персонажей-слуг, питающих к своему барину буквально родственные чувства. Таковы Алексей, слуга Милославского, Кондратьич, слуга Мирошева, Ферапонт, слуга Левшина («Брынский лес»). В повести «Тоска по родине» повествователь называет слугу главного героя Никанора Федотыча «первобытным типом русских холопей», но этот образ снижен по сравнению с Мининым, Киршей или семинаристом из «Рославлева»: любовь к барину была у него «инстинктом» [Загоскин 1898: V, 299], а любовь к отечеству проявляется в любви к русским песням и в радости от победы в боксе над англичанами в кабаке.

Идеальным представителем народа и народной веры в романе «Юрий Милославский» является юродивый Митя, в котором «простодушие и смирение» сочетаются с «кротким величием праведника» [Загоскин 1988а: 260]. Митя предостерегает Милославского против служения королевичу Владиславу и советует идти в Троице-Сергиеву лавру, где впоследствии Авраамий Палицын освобождает Милославского от всех земных клятв, в том числе, от присяги польскому королевичу. Митя терпит от бояр насмешки и угрозы, но предупреждает, что зло, творимое ими, вернется им. Юродивый у Загоскина — божий человек: «Бедненький ох, а за бедненьким Бог!» [Загоскин 1988а: 126], именно благодаря ему в финале романа раскаивается грешник Кручина-Шалонский:

> Закоснелое в преступлениях сердце боярина Кручины забилось раскаянием; с каждым новым словом юродивого изменялся вид его, и, наконец, на бледном, полумертвом лице изобразилась последняя ужасная борьба порока, ожесточения и сильных страстей — с душою, проникнутою первым лучом небесной благодати [Загоскин 1988а: 260].

Митя оказывается почти ангелом, благодаря которому Кручина, который «жил, как злодей», в «кончил жизнь, как праведник» [Загоскин 1988а: 262]. Показательна и смерть Мити: он умирает у мощей Сергия Радонежского, и автор описывает его уход в мир иной не как физическую смерть, а как переход в жизнь вечную: «…когда Милославский, уходя вместе с Палицыным из храма, подошли с ним проститься, Мити уже не было: он возвратился на свою родину!» [Загоскин 1988а: 278].

1.2.3. Народная масса и государственный порядок

В романах Загоскина национальным характером обладают не только «простые» герои, но и «благородные» персонажи (большинство героев-дворян). В то же время этот дух чужд и галломанкам из дворян, и купцу-предателю, переводчику французских листовок, прототипом которого был М. Н. Верещагин[23].

---

[23] Как исключение встречаются в романе и «непатриотичные» простые герои – например, ямщик Андрюха, поддавшийся французской пропаганде [Загоскин 1988а: 1, 332].

В кризисные ситуации сословные и национальные противоречия могут стираться. Примечателен эпизод «Рославлева», где крестьянские ополченцы сначала хотят убить главного героя, переодетого во французский мундир. От гибели Рославлева спасает старик, служивший с его отцом. После этого крестьяне просят молодого офицера возглавить их отряд [Загоскин 1988а: 1, 516–520]. «Русскость», судя по их диалогу, едва ли передается по наследству, однако может подтверждаться за счет взаимного доверия, которое мгновенно обретает характер своего рода семейственности — чуть только герой становится для крестьян русским (то есть сыном русского), он оказывается настолько «своим», что к нему можно уже обращаться «батюшка»:

> — Как что? — перервал сержант, — да разве сын моего командира может быть изменником? Ну, статочное это дело? Не правда ли, детушки? <…> Что это, братцы? — продолжал сержант, — неужели-то вы и мне, старику, верить не хотите?
> — Верить-та мы тебе верим, — отвечал Ерема, — да ведь не все сыновья в отцов родятся, Пахомыч!
> — Всяко бывает, конечно, — примолвил Терентий, — да ведь недаром же и пословица: недалеко яблочко от яблони падает. Ну, как вы думаете, православные?
> — Как ты, Терентий Иваныч? — отвечали сотник и старики. — А по мне, вот как: уж если Кондратий Пахомыч за него порукою, так нам и баить нечего. Поклон его благородию, да милости просим в передний угол! Так ли, православные?
> — Ну, коли так, так так! — повторили в один голос крестьяне. — Милости просим, батюшка! [Загоскин 1988а: 1, 519-520].

Очень близкий эпизод имелся и в романе «Юрий Милославский», где крестьянский отряд так же принимает главного героя за врага и пытается убить его невесту, но их обоих спасает священник, знавший отца Юрия. Священник апеллирует к семейным ценностям, а также к православию: ему удается обвенчать Юрия Милославского с невестой, после чего они оба в глазах крестьян оказываются членами единой русской православной семьи, а потому «своими»:

> — Да! здесь нет никого, кроме Юрия Дмитрича Милославского и законной его супруги, боярыни Милославской! Вот они! — прибавил священник, показывая на новобрачных, которые в венцах и держа друг друга за руку вышли на паперть и стали возле своего защитника. — Православные! — продолжал отец Еремей, не давая образумиться удивленной толпе. — Вы видите, они обвенчаны, а кого Господь сочетал на небеси, тех на земле человек разлучить не может!
> — Да! — вскричал Юрий. — Ничто не разлучит меня с моей супругою, и если вы жаждете упиться ее неповинной кровью, то умертвите и меня вместе с нею!

— Слышите ль, православные? Вы не можете погубить жены, не умертвя вместе с нею мужа, а я посмотрю, кто из вас осмелится поднять руку на друга моего, сподвижника князя Пожарского и сына знаменитого боярина Димитрия Юрьевича Милославского! [Загоскин 1988а: 1, 251–252].

Партизанские отряды, состоящие из крестьян, встречались в русской словесности до Загоскина. Изображение крестьянского отряда появляется, в частности, в опере-водевиле А. А. Шаховского «Крестьяне, или Встреча незваных» (1814), впрочем, достаточно далекой от загоскинской прозы. Документальным источником для описания крестьянского ополчения могли послужить многочисленные свидетельства о военных действиях против французов крестьян Сычевского уезда Смоленской губернии ([СО 1816: 310-311; 340-341; Синельников 1813: 1, 32-33; Бенкендорф 2001: 119-120]). В них отсутствует важный для Загоскина сюжет опознания русского в незнакомом человеке по религиозному признаку или по семейным связям. Так или иначе, сам факт ориентации писателя на документальные источники свидетельствует о типичном для него подходе — трансформации и мифологизации реальных (или считающихся реальными) событий сквозь призму собственных взглядов на национальное начало.

Но гораздо более интересно совпадение эпизода с крестьянским отрядом в «Рославлеве» с аналогичным эпизодом в третьей части романа Ф. В. Булгарина «Петр Иванович Выжигин», который писался одновременно с загоскинским «Рославлевым» и несколько опередил его выходом из печати[24]. Замечательно совпадение деталей в обоих романах: русский офицер оказывается в крестьянском отряде, переодетый во вражескую форму, его хотят убить, а затем просят возглавить отряд. Поскольку Загоскин и Булгарин писали свои романы независимо друг от друга, очевидно, что у этих эпизодов существует единый источник. Как представляется, источником этим могла послужить схожая сцена в «Юрии Милославском». В самом деле, у Булгарина, как и в первом романе Загоскина, героя спасает священник, призывающий к милосердию (и притом — уже совершенно в булгаринском, а не в загоскинском духе — ссылающийся на волю «начальства»):

Нет, подождем и посмотрим, чего он от нас хочет. Господь внушает раскаяние злодеям и спасает заблудшихся, а кого милует Господь, тому должны прощать и люди. Француз набрал в свою армию разных народов, которые не охотно пришли с ним в Россию и бегут к нашим. Это было объявлено и от начальства [Булгарин 1834: 3, 18].

Сцена опознания в незнакомом всаднике, одетом во французскую форму, русского офицера, также близка к загоскинской. Решающую роль играют не

[24] Цензурное разрешение на все четыре части романа Булгарина было получено 31 октября 1830 г. О выходе «Выжигина» из печати «Северная пчела» сообщала 24 марта, а 9 апреля 1831 г. писала, что «Выжигин» продается, а «Рославлев» печатается.

рациональные аргументы, а интуитивная убежденность в том, что это «свой», то есть русский и православный. Об этом говорят и священник: «Сердце вещун; оно говорит мне, что это русский» [Булгарин 1834: 3, 25], и женщины, увлеченные красотой героя. Своеобразная аргументация последних подается, с одной стороны, как смешная и наивная, а с другой стороны, как глубинно справедливая:

> *Женщина*. Да что вы не верите ему! Он приложился ко кресту, говорит по-русски, просит вас, чтоб вы свели его к нашим, так какой шут обман! Вишь, какой молодец.
> *Другая женщина*. Право красавец, барич Русской!
> *Девица*. Как кровь с молоком! Да и речи его сладки…
> *Женщина*. С ума вы сошли, что ли, что не верите своим?
> [Булгарин 1834: 3, 22].

Наконец, близко к «Юрию Милославскому» и то обстоятельство, что именно священник, носитель православной веры, способен преодолеть непонимание и путаницу между дворянином и крестьянами. Это понимает и сам Петр Выжигин, восклицающий: «Батюшка, вас избираю я посредником между мною и народом (обнажает грудь). Вот русский крест, у сердца, в котором живет Россия! Долго ли мне спорить и уверять земляков, что я Русский!» [Булгарин 1834: 3, 25].

Булгаринское использование сцены из романа Загоскина свидетельствует о продуктивности нарративных схем, изобретенных Загоскиным. Эпизод с интуитивным опознанием русского в незнакомце оказался очень уместным в повествовании не только о Смутном времени, но и о любом другом кризисном периоде в истории российского государства: когда традиционные формы организации общества разрушаются, людей связывают воедино национальный дух, вера и патриотизм, которые не требуют никаких интеллектуальных усилий или официальных институций. В тяжелых условиях русские люди всегда могут узнать друг друга и доверять друг другу просто потому, что они русские.

Главная цель этого процесса национального единения состоит у Загоскина не в изменении сложившегося порядка, а в его восстановлении: неслучайно еще недавно подозрительный дворянин не просто оправдан, но и оказывается во главе народного движения. У Загоскина и Булгарина способность независимо действовать нужна народу для того, чтобы вновь вручить себя в руки высших сословий. Соответственно и Булгарин, и сам Загоскин могли использовать соответствующий эпизод в своих романах об Отечественной войне 1812 года.

Однако далеко не всегда у Загоскина народ может непосредственно выражать веления национального духа. Он наивен, доверчив и жесток — и нуждается в твердой руке, которую готовы протянуть ему представители дворянства. Это заявлено в одном из первых эпизодов «Юрия Милославского», когда главный герой и его слуга заблудились во время метели — именно слуга паникует и хочет оставить замерзать найденного на дороге незнакомца, тогда как боярин пытается его спасти, апеллируя, что характерно, к христианским

чувствам: «Алексей, побойся бога! Разве ты не крещеный?» [Загоскин 1988а: 1, 40]. Крестьяне в «Рославлеве» сравниваются с «дикими зверьми», которых приходится отгонять от пленных французов, опасаясь расправы над безоружными [Загоскин 1988а: 1, 524]. Таковы же казаки в «Милославском»: от разбоя их останавливает только страх перед военачальниками:

> Ну, походит ли эта сволочь на православное и христолюбивое войско? Если б они не боялись нас, то давно бы бросились грабить чертоги царские. Посмотри-ка, словно волки, рыщут вокруг Грановитой палаты [Загоскин, 1988а: 1, 273].

Потребность народа в руководстве особенно подчеркивается в тех произведениях Загоскина, где конфликт связан не с внешним нападением, угрожающим самому существованию российского государства и пробуждающим силы национального духа, а с внутренними противоречиями. В романе «Искуситель», где упоминается эпизод, связанный с пугачевским восстанием, герой романа Двинский с четырьмя уланами усмиряет отряд из двухсот крестьян-пугачевцев. Именем царицы и парой выстрелов он загоняет бунтовщиков в сарай, где они сами себя запирают и покорно ждут его суда до следующего дня:

> Не раз случалось, что появление его с несколькими уланами усмиряло целые селения. Я очень любил слушать, когда он рассказывал о своих партизанских подвигах; помню, однажды при мне, говоря по своему обыкновению протяжно и выговаривая все слова на о, Двинский рассказал один случай, который доказывает, как сильно действует на наш простой народ имя человека, известного своим удальством и справедливостию [Загоскин 1838: 1, 57].

Показательно уже лексическое совпадение: действия улан против русских же крестьян определяются как «партизанские подвиги» — выражение, вполне применимое к войне 1812 года. Однако здесь национальное единство проявляется не в общем доверии и готовности к самопожертвованию, а в подчинении законной власти.

Для Загоскина самой опасной оказывается ситуация, когда народ сам отказывается от подчинения законному порядку. Зверства толпы во время чумного бунта в Москве изображены в повести «Кузьма Рощин» (1834), причем нарратор прямо подчеркивает, что ситуация в городе была хуже, чем в 1812 году, когда разрушения имели некий национально-исторический смысл:

> В 1771 году Москва не горела, по улицам не дымились остовы домов: дома стояли по-прежнему на своих местах, но эти заколоченные двери, забитые досками окна, эти вывески смерти — красные кресты на воротах зачумленных домов, которые, как два ряда огромных гробов, тянулись по обеим сторонам улицы, — не во сто ли раз ужаснее всякого пожара? Прибавьте к тому почти **совершенное безначалие**, безмолвие могильное

> в предместьях, **неистовые крики бунтующей черни** в средине города — этой **безумной толпы**, которая, упившись кровью тех, кои заботились о ее же спасении, грабила, разбивала кабаки и устилала своими зараженными трупами опустелые улицы Москвы. Представьте себе все это, и вы, верно, согласитесь, что бедствие 1771 года было гораздо тяжелее для московских жителей, чем то, которое в 1812 году сделалось началом, а может быть, и главною причиною спасения всей Европы [Загоскин 1988а: 1, 668-669].

Для Загоскина проявления национального духа не могут угрожать государственному порядку, они выходят на поверхность в редких обстоятельствах, когда внешние причины (обычно нашествие врагов) уже подорвали этот порядок. В нормальной ситуации наиболее адекватное выражение этого духа — «естественная» организация общества, в котором люди делятся на сословия и низшие подчиняются вышестоящим. Выходящий из-под контроля народ оказывается «бунтующий чернью». Только в исключительные моменты от народа требуется не просто подчиняться воле дворянства, а активно и самостоятельно действовать. В эти моменты субъектом истории становятся не отдельные сословия и не государственные организации, а «русские» вообще, изгоняющие врагов и добивающиеся восстановления нормального хода вещей.

Идея послушания старшим, по мысли Пескова, — главное в изображении Загоскиным народной жизни [Песков 1988: 23]. Именно поэтому так легко покоряются двести пугачевцев пяти уланам: их увещевают именем императрицы. В «Юрии Милославском» эта идея выражена во всеобщем убеждении в невозможности существования «Святой Руси» без государя, в «Рославлеве» — во всеобщем послушании старшему и, в конечном итоге, государю: «Мы покорны судьям да господам; они — губернатору, губернатор — царю» [Загоскин 1988а: 1, 333]. Александр I представлен в романе лишь как глава этой иерархии, но не как непосредственный участник событий. Повествователь характеризует его лишь перифразами: «кто один мог возбудить ото сна дремлющую Россию» [Загоскин 1988а: 1, 387-388]. Больше российский император не появляется в сюжете романа, у него нет характера как такового (в отличие от Наполеона), но буквально по его слову, как в волшебной сказке, народ пробуждается, и враг изгоняется за пределы России.

Соответственно самое опасное для российского государства, по Загоскину, — крах этой иерархии, увенчанной монархом. Польша, в XVII в. — сильное независимое государство, в «Юрии Милославском» — прямая угроза русской государственности. Однако, с точки зрения Загоскина, наиболее опасной для Руси чертой периода Смуты было отсутствие законного царя. Следом за Карамзиным, автором «Истории государства Российского», Загоскин подчеркивает, что православный государь — необходимое условие существования российского государства. Уже в самом начале романа в перечне бед страны главным несчастьем объявляется отсутствие монарха: «…внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего совершенное безначалие — все угрожало неизбежной погибелью земле русской» [Загоскин

1988а: 1, 35]. Вопрос веры принципиален: католиков герои называют в романе еретиками; поляки оскверняют православные церкви и ради забавы стреляют в иконы (см. также: [Шарова 2016: 236–240]). Выбор польского королевича Владислава царем трактуется как болезненное и вынужденное решение, которое раскололо русских патриотов (персонажи, знавшие отца главного героя, неоднократно удивляются тому, что Милославский присягнул Владиславу). Сам Милославский оправдывает свое решение надеждой на то, что Владислав станет подлинным русским царем:

> …нет, Господь не допустит нас быть рабами иноверцев! Мы клялись повиноваться не польскому королевичу, но благоверному русскому царю. Владислав отречется от своей ереси; он покинет свой родной край: наша земля будет его землею; наша вера православная — его верою. Так! он будет отцом нашим; он соединит все помышления и сердца детей своих; рассеет, как прах земной, коварные замыслы супостатов, и тогда какой иноплеменный дерзнет посягнуть на святую Русь? [Загоскин 1988а: 1, 66].

До принятия Владиславом православия он не воспринимается героями романа легитимным претендентом на русский престол. Так, Козьма Минин спрашивает Милославского:

> — Скажи мне, легко ль тебе было присягать польскому королевичу?
> — Ах!.. видит Бог, нет!
> — А для чего ж ты это сделал?
> — Для того, что был уверен и теперь еще... да, и теперь еще надеюсь, что этой жертвою мы спасем от гибели наше отечество [Загоскин 1988а: 1, 177].

В итоге герою, испытывающему глубокий стыд за свою присягу и призывающему нижегородцев сражаться с поляками (пусть даже это значит воевать и против него), удается избавиться от своей присяги благодаря Авраамию Палицыну, разрешающему его от обета, что особенно подчеркивает роль церкви в судьбе героя.

1.3. Отечество и патриотизм

Еще с первых отзывов на романы Загоскина за писателем закрепилась репутация нерассуждающего ультра-патриота и ксенофоба (ср. высказывания Н. А. Полевого о «самохвальстве» в «Рославлеве» [Полевой 1831]). Думается, что это упрощенный взгляд. Действительно, ключевым качеством, которое пробуждается в положительных персонажах Загоскина в кризисную эпоху и которое позволяет им этот кризис преодолеть, становится стихийный патриотизм, отождествляемый с проявлением национального духа. В то же время Загоскин, как мы покажем в этом разделе, оставлял своим героям

достаточно много пространства для маневра: в отличие от Кукольника, писатель признавал обилие способов, которыми может проявиться патриотическое чувство.

Как мы уже говорили выше, для начала XIX в. было актуально столкновение концепций «пристрастной» и «беспристрастной» любви к отечеству. Шишков в своем «Рассуждении о любви к отечеству» — речи, прочитанной в 1811 г. в «Беседе любителей русского слова» (подробнее см. [Киселева 1985]), настаивая на любви, закрывающей глаза на существующие недостатки родной страны, оппонирует концепции Карамзина, сформулированной им в статье 1802 года «О любви к отечеству и народной гордости» (1802): «Не говорю, чтобы любовь к отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше» [Карамзин 1964: 2, 282]. Шишков как будто не замечает всего контекста статьи — призыва к чувству народной (т. е. национальной) гордости (ср. у Карамзина: «Я не смею думать, чтобы у нас в России было не много патриотов; но мне кажется, что мы излишне *смиренны* в мыслях о народном своем достоинстве, — а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут»), ни продолжения только что процитированной мысли о «беспристрастной» любви:

> Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостию [Карамзин 1964: 2, 282-283].

У Загоскина герои придерживаются именно такой идеи «народной гордости». Рославлев более прямолинеен, чем его друг Зарецкий, в своем пристрастии ко всему русскому, но скорее в силу общего романтического настроя. Недаром он в разговоре с Зарецким прямо соотносит любовь к отечеству с любовью к женщине (в точном соответствии со статьей Шишкова):

> — Но разве ты полагаешь, что влюбленный человек не думает ни о чем другом, кроме любви своей? Нет, Зарецкий! Прежде, чем я влюбился, я был уже русским...
> — Так что ж?
> — Как, мой друг? А буря, которая сбирается над нашим отечеством! [Загоскин 1988а: 1; 292].

Зарецкий обличает его в несоответствии слов и дела — Рославлев из любви к Полине и по требованию ее матери вышел в отставку, а Зарецкий собирается на войну, поэтому ирония Зарецкого по отношению к другу не случайна. Недаром это — парные герои, на что хотелось бы обратить внимание.

Из следующей далее беседы выясняется, что патриотизм и готовность бороться с французским вторжением присущи обоим героям, несмотря на очевидные различия между ними: Рославлев и Зарецкий по-разному воспитаны,

вращаются в разном обществе, ведут себя в целом непохоже друг на друга, что вовсе не мешает им объединиться в своем отношении к французам. Зарецкий любит французские водевили, на что Рославлев немедленно отвечает: «Нет! я езжу только в русский театр» [Загоскин 1988а: 1, 293], и можно подумать, что Зарецкий менее привержен отечеству. Однако ему не менее неприятно бахвальство французов («великая нация зазналась», — замечает он с неудовольствием), и он уверен, что на войне русский народ «постоит за себя» [Загоскин 1988а: 1, 292]. Его суждения о России неизменно пронизаны иронией («Россия не Италия, мой друг!» [Там же]), он намеренно провоцирует Рославлева, постоянно подчеркивая, что русское общество и русские балы скучны, что только в Париже и можно повеселиться, но это не исключает его из числа патриотов, готовых отдать жизнь за отечество.

Известие о начале войны достигает Рославлева благодаря письму Зарецкого. 19 июня (через неделю после перехода Наполеона через Неман) Зарецкой уже «успел подраться» с французами:

> Я никогда не хвастался моим патриотизмом; всегда любил и даже теперь люблю французов, а уж успел с ними подраться. Ты зарекся говорить по-французски, бредишь всем русским — и ходишь еще во фраке. <…> Да, мой друг, эта война не походит на прежние; дело идет о том, чтоб решить навсегда: есть ли в Европе русское царство или нет? [Загоскин: 1988а, 1, 382][25].

Иронией пронизано в «Рославлеве» и описание намерения провинциальных дворян после получения известия о начале войны выпить все шампанское, чтобы больше никогда не возвращаться к этому «проклятому» «французскому» напитку [Загоскин 1988а: 1, 386-387]. Однако все эти смешные дворяне вступают в земское ополчение[26]. Правда, далеко не все проникнуты патриотическим порывом. Так, богатый помещик Ладушкин не в восторге от идеи жертвовать деньги на войну и беспокоится о том, чтобы французы не разорили его имения: «Ах ты жидомор! по тебе, пусть французы берут Москву, лишь только бы твое Щелкоперово осталось цело», — обличает его сосед Буркин [Загоскин 1988а: 1, 463].

Однако если провинциальные помещики только смешны и не всегда до конца искренни в своем патриотизме, то совсем по-иному рисует Загоскин галломанов. Здесь у него проходит четкий водораздел между «истинными

---

[25] Ср. еще одно высказывание Зарецкого: «Можно в одно и то же время любить французской язык и не быть изменником…» [Загоскин 1988а: 1, 388].

[26] Они выглядят довольно смешно в своем «военном» наряде, особенно Ладушкин, «привыкший ходить в плисовых сапогах и просторном фризовом сюртуке, изнемогал под тяжестью своего воинского наряда: он едва смел пошевелиться и посматривал то на огромную саблю, к которой был прицеплен, то на длинные шпоры, которые своим беспрерывным звоном напоминали ему, что он выбран в полковые адъютанты и должен ездить верхом» [Загоскин 1988а: 1, 455].

русскими» и русскими только по названию, которые являются приверженцами врагов отечества. Русский может любить Францию и французов, но в критический момент не может отказаться защищать отечество, галломаны же, подобные Лидиной, равнодушны к судьбе отечества и уверены в благих намерениях Наполеона:

> Мы уедем в наши тамбовские деревни. Россия велика; а сверх того, разве Наполеон не был в Германии и Италии? Войска дерутся, а жителям какое до этого дело? Неужели мы будем перенимать у этих варваров — испанцев?

Ей непонятна логика пытающего возражать ей Рославлева: «Но наша национальная честь, сударыня... наша слава?» [Загоскин 1988а: 1, 367-368].

В моменты исторических потрясений пламенный патриотизм, характеризуемый как типично русская черта, объединяет представителей самых разных сословий: это и участники ополчения под командой Минина и Пожарского в 1612 г., и партизаны 1812 года. В «Рославлеве» московский купец прямо указывает, что национальное чувство, восходящее к древним историческим истокам народного духа, сильнее сословных различий: «…придет беда, так все заговорят одним голосом, и дворяне и простой народ! То ли еще бывало в старину: и триста лет татары владели землею русскою, а разве мы стали от этого сами татарами?» [Загоскин 1988а: 1, 341]. Как уже говорилось, субъектом борьбы с иноземцами у Загоскина объявляются вообще «русские», а не какая бы то ни было конкретная социальная группа. Только негативно оцениваемые персонажи продолжают упорствовать в своих сословных предрассудках. Так, в «Юрии Милославском» боярин Туренин, желающий видеть короля Сигизмунда на московском престоле, осуждает Минина именно по «сословным» причинам:

> Стыдно сказать, Юрий Дмитрич! Добро бы наш брат боярин или родовой дворянин; а то какой-то смерд, бобыль, простой мясник... срам и позор для всей земли Русской! Этот серокафтанник помыкает целым городом: что сказал Козьма Минич Сухорукий, то и свято [Загоскин 1988а: 1, 185].

Всеобщее сердечное патриотическое чувство, по Загоскину, очень близко к религии и так же, как и православие, объединяет всех истинных русских персонажей поверх социальных конфликтов и противоречий. Чувство это так же сильно, как и православная вера и прямо сопоставляется с нею. Авраамий Палицын «любит свою земную родину почти так же, как должны бы мы все любить одно небесное отечество наше» [Загоскин 1988а: 1, 236]. В «Рославлеве» умирающий Сурский так же скорбит об отечестве:

> Чувствую, мой друг, что я грешу пред Господом что слишком еще привязан к моему земному отечеству. Желал бы победить это чувство, но оно так сильно, так связано с моею жизнию... а я жив еще! Отечество!..

> Россия!.. Пусть судит меня Господь! но я чувствую, что даже и там не перестану быть русским [Загоскин 1988а: 1, 533].

Религиозные и патриотические аргументы в пользу необходимости защищать отечество оказываются неотделимы друг от друга. В приводимом ниже фрагменте курсивом выделены «православная», а жирным шрифтом — «патриотическая» лексика:

> В эту решительную минуту, *вдохновенный свыше*, знаменитый Авраамий Палицын прибежал в стан казаков князя Трубецкого, *умоляя их со слезами* подать помощь *погибающим братьям*. Исполненные **пламенной любви к отечеству** слова его потрясли, наконец, закоснелые в буйстве и нечестии сердца этих грубых воинов. Обещая одним *нетленную награду на небесах*, предлагая другим всю казну монастырскую, он *заклинал всех именем божиим* **не выдавать отечества** и спешить на помощь к князю Пожарскому. Увлеченные сильным чувством и неизъяснимым красноречием этого бессмертного старца, все казаки восстали, двинулись вперед и, *повторяя имя святого Сергия*, грудью ударили на поляков [Загоскин 1988а: 1, 269].

В кризисные моменты, когда национальный дух пробуждается, у Загоскина все истинные русские едины в своем патриотическом порыве. Мрачный артиллерийский офицер (прототипом которого был А. С. Фигнер, см. о нем [Востриков, Грачева: 1999], один из наиболее известных партизанских командиров 1812 года) жаждет истребления неприятеля, а московские купцы готовы сжечь свои товары, чтобы те не достались французам:

> — Как нечего? Что вы, сударь! По-нашему вот как. Если дело пошло наперекор, так не доставайся мое добро ни другу, ни недругу. <…> Русской народ упрям; вели только наш царь-государь, так мы этому Наполеону такую хлеб-соль поднесем, что он хоть и семи пядей во лбу, а — вот те Христос! — подавится.
> «Нет, это не хвастовство!» — подумал Рославлев, смотря на благородную и исполненную души физиономию купца.
> — Дай мне свою руку, почтенный гражданин! — сказал он. — Ты истинно русский, и если б все так думали, как ты... [Загоскин 1988а: 1, 340-341].

Семинарист из Перервинской семинарии также оказывается участником национального движения и храбро сражается с противником. Авторская ирония направлена на его пристрастие к латинскому языку, который крестьяне не отличают от французского:

> — Эх, батюшка! да перестанешь ли ты говорить не по-русскому? — Привык, Пахомыч! У нас на Перерве без латинской пословицы не ступить.
> — Да что вы в Перервинском монастыре все латыши, что ль, а не русские? Знаешь ли, как это не по нутру нашим мужичкам? Что, дискать, за

притча такая? Кажись, церковник-то, что к нам пристал, детина бравый, а все по-французскому говорит.
— По-французскому! Невежды!.. [Загоскин 1988а: 1, 514].

Итак, русским можно быть безотносительно к социальному положению, образованию, знанию языков, эстетическим и бытовым привычкам. Нивелируя различия между сословиями, патриотизм Загоскина оказывается почти неотличим от национализма, если пользоваться терминологией Б. Андерсона: «…нация всегда понимается как глубокое, горизонтальное товарищество» [Андерсон 2001: 32]. В то же время работает и обратная логика: национальные чувства становятся тождественны патриотическим. Так в творчестве Загоскина сращиваются имперская (государственная) и национальная идеологии. Единственный действительно значимый критерий «русскости» — стремление защищать российское государство от врага, рисковать и жертвовать во имя этого государства своей жизнью. Приверженность своему народу для Загоскина сродни приверженности своей вере: православие понимается прежде всего как «русская» вера. Нерусских православных героев у Загоскина мало, но среди патриотов упомянуты и татары: «Темрюк! ты хоть родом из татар, а стоишь за отечество не хуже коренного русского» [Загоскин 1988 а: 1, 242], — говорит поп Еремей в «Милославском» одному из членов своего отряда.

Подводя итог главы, подчеркнем, что русским как нации в прозе Загоскина свойственны разнообразные положительные качества, которые особенно ярко проявляются у подавляющего большинства в решительные минуты, когда отечество в опасности. Они обеспечивают национальное единство в борьбе с внешним врагом. Про нижегородцев, собравшихся по призыву Минина на площади, сказано:

…все многолюдное собрание народа составляло в эту минуту **одно благочестивое семейство**; не слышно было громких восклицаний: проливая слезы радости и умиления, как в светлый день Христов, **все с братской любовию обнимали друг друга...** [Загоскин 1988 а: 173].

Этот образ нации как семьи можно экстраполировать и на все соответствующие эпизоды проявления народного единства.

Однако образ русских как нации у Загоскина далек от идеализации. Среди них встречаются и люди, лишенные патриотических чувств, и предатели отечества (упомянем образы Шалонского, Туренина в «Милославском», молодого купца, переводчика наполеоновской прокламации, в «Рославлеве», о которых будет подробнее сказано в следующей главе). Народ не всегда проявляет свои лучшие качества, он может быть недоверчив, бессмысленно жесток, но опять-таки это последнее качество свойственно не только крестьянам, но и артиллерийскому офицеру, убивающему безоружных пленных, о котором мы также будем говорить во второй главе.

Параллельно формированию уваровской доктрины официальной народности широкий читатель мог со страниц первых романов Загоскина ознакомиться с исторической концепцией, которая оказалась не так уж далека от идей николаевского министра народного просвещения. Русская нация, по Загоскину, объединена за счет православной веры и единого национального духа (см. о тесной связи у Загоскина этих двух категорий: [Сорочан 2000]). Также нация не может существовать без монаршей власти и понятной подданным иерархии. Впрочем, прямых вмешательств национального духа в обычных условиях не требуется. Лишь в случае угрожающих существованию государства кризисов нация может объединиться поверх существующих сословных барьеров в единое целое и собственной волей творить исторические события; после этого национальный дух вновь успокаивается, и народ живет так, как требует от него принятый порядок вещей, согласный с Божьими установлениями и с установками власти.

ГЛАВА 2

РОМАНЫ ЗАГОСКИНА И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ РУБЕЖА 1820–1830-Х ГГ.

В этой главе мы рассмотрим, каким образом проза Загоскина соотносится с конкретными историческими и политическими дискуссиями, современными писателю, и покажем, что он не просто воспроизводил существовавшие стереотипы, а активно участвовал — на уровне своей читательской аудитории — в создании исторической и национальной мифологии николаевской эпохи.

2.1. Документальное и мифологическое в романе «Рославлев, или Русские в 1812 году» (идея народа и народной войны)

В этом разделе мы рассмотрим, как описания реальных исторических событий, отраженные в различных источниках, воспроизводятся и трансформируются в романе Загоскина[27]. Подобное исследование рефлексии событий Отечественной войны было предпринято Р. Г. Лейбовым в статье «1812: две метафоры», и нас, вслед за автором, тоже интересуют образы — «не идеологии, а имагологии», не язык (по Соссюру), а речь [Лейбов 1997: 75]. Интерпретация событий войны 1812 г. в разных документах и текстах — прекрасный пример того, как в диалоге и полемике формировался взгляд на русский патриотизм, и Загоскин своим романом влиял на формирование патриотической концепции в сознании «среднего читателя».

Короткая временная дистанция позволяла Загоскину основываться на непосредственных впечатлениях очевидцев (в том числе, и собственных) и устных живых рассказах, однако можно предположить, что автор испытывал недостаток в достоверных источниках. Официальной истории войны 1812 года на момент написания романа еще не существовало. Среди немногих трудов, несомненно находившихся в поле зрения Загоскина, укажем на «Историческое описание войны 1812 года» Д. И. Ахшарумова, вышедшее во второй редакции в 1819 г., где автор, участник событий, не описательно, а аналитически подходит к изображению войны 1812 г., показывая ее «ключевым звеном в цепи полнозначимых эпизодов, самое сцепление которых определяет Историю» [Козлов 2016: 61]. В 1821 г. были опубликованы «Письма русского офицера о военных

---

[27] Основные положения этого параграфа были изложены нами в опубликованных статьях [Ящук 2018a; Ящук 2018b].

происшествиях 1812 года» Ф. Н. Глинки, где автор, тоже участник войны, исходил из идеи, что «могущество веры и любви к отечеству» спасли Россию и привели ее к торжеству [Глинка 1821: 11]. Также необходимо указать на капитальный труд Д. П. Бутурлина «История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812-м году» [Бутурлин 1823–1824]. Но приходится учитывать, что многие исторические исследования, документы и мемуары, посвященные походу Наполеона на Россию, были опубликованы уже после выхода романа Загоскина («Описание Отечественной войны» А. И. Михайловского-Данилевского вышло в 1839 г., «История Отечественной войны 1812 г.» М. И. Богдановича, которую использовал для романа «Война и мир» Толстой, — в нач. 1860-х гг.). Такая ситуация позволяла Загоскину включиться в обсуждение событий и характера войны 1812 г., участвуя одновременно в создании мифа о народной войне и некоторых других.

До сих пор не существует ни подробного реального, ни исторического комментария к роману «Рославлев». Хотя вопрос о характере работы автора над историческими источниками является одним из важных при обсуждении канона вальтер-скоттовского романа (см.: [Долинин 1988; Альтшуллер 1996]), однако вопрос, насколько и как Загоскин следует за Скоттом в характере работы с источниками, исследователями не разрабатывался. Подчеркнем, следуя за наблюдениями ученых, стремление Скотта к мистификации и нарушению хронологии, а также смешение реальных и выдуманных документов в текстах романов (прием «таинственной рукописи», как назвал его Альтшуллер).

И. И. Замотин в работе «Романтизм 20-х годов XIX столетия в русской литературе» отчасти коснулся метода работы Загоскина с источниками на примере «Юрия Милославского». Замотин пишет о том, как автор почти без изменений вставил в свой роман фрагменты из письма М. Н. Макарова, который по его просьбе дал подробные описания русского быта XVII века [Замотин 1907: 346-347]. Наше исследование «Рославлева» подтверждает, что подобный метод обращения с источниками используется и в этом романе.

Так, в № 9 журнала «Сын отечества» (ноябрь 1812) был напечатан памфлет «Содержание разговора между Королем Неаполитанским и генералом Милорадовичем на передовых постах российской и французской армий в 29 день сентября 1812» [СО № 9: 99–103]. Этот памфлет был хорошо известен современникам: в нем Мюрат жалуется на недопустимый характер войны, которую ведут казаки и русские крестьяне; Милорадович отвечает, что казаки истребляют фуражиров по его приказу, «крестьяне наши показывают себя достойными имени русских», а война такого рода уже знакома французам по Испании.

В романе Рославлев и Зарецкий становятся непосредственными «свидетелями» этого разговора, а патриотический памфлет с помощью романного приема «подслушивания» включается в текст полностью и без всяких изменений. К пяти страницам текста памфлета Загоскин добавляет только шесть ремарок, чтобы подчеркнуть контраст между нетерпением и досадой Мюрата и спокойной

уверенностью Милорадовича («продолжал хладнокровно русской генерал», «перервал Мюрат, стараясь скрывать свою досаду и смущение» и пр.) [Загоскин 1988а: 1, 537].

Так же дословно приводятся в «Рославлеве» высочайшие манифесты Александра I, написанные А. С. Шишковым:

> «Так! французы в России!.. Я не положу оружия, — сказал он, — доколе ни единого неприятеля не останется в царстве моем...» — и миллионы уст повторили слова царя русского! Он воззвал к верному своему народу. «Да встретит враг, — вещал Александр, — в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном — Палицына, в каждом гражданине — Минина...» — и все русские устремились к оружию [Загоскин 1988а: 1, 388].

Ср. в манифесте от 6 июля 1812 г.:

> Да найдет он на каждом шаге верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукавствам и обманам. Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина [Манифесты 1816: 15],

а также в рескрипте на имя председателя Государственного совета и Комитета министров генерал-фельдмаршала гр. Н. И. Салтыкова:

> И потому не остается мне иного, как поднять оружие и употребить все врученные мне Провидением способы к отражению силы силою… Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве моем. [Манифесты 1816: 9].

Говоря об исторических документах, включенных в текст романа Загоскина, необходимо упомянуть и об афишах московского градоначальника графа Ростопчина. Так, в одной из сцен романа воины московского ополчения зачитывают вслух половину афиши от 30 августа, а вторая, где Ростопчин призывал жителей вооружаться против французов подручными средствами, оказывается «растворена» в их разговоре. У Ростопчина: «Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного» [Ростопчин 1889: 46]. У Загоскина отголосок этого призыва слышится, когда московские ополченцы обсуждают полную нехватку (фактически — отсутствие) у них оружия, и один из них предлагает использовать вилы и рогатины:

> — Помилуйте! — сказал Ладушкин, — что мы, с кулаками, что ль, пойдем?
> — Да с чем попало, — отвечал Буркин. — У кого есть ружье — тот с ружьем; у кого нет — тот с рогатиной. Что в самом деле!.. Французы-то о двух, что ль, головах? Дай-ка я любого из них хвачу дубиною по лбу — небось не встанет [Загоскин 1988а: 1, 459].

События 1812 г. довольно быстро подверглись мифологизации, и роман «Рославлев» оказался художественным текстом, способствовавшим этому процессу. Одним из ключевых был вопрос о трактовке войны как «народной»[28]. При этом отдельная сложность заключалась в использовании в начале XIX в. слов «народ» и «нация», которые, согласно А. Миллеру, иногда употреблялись как синонимы (все россияне, nation), иногда — в разных значениях, тогда слово «народ» — это «простой народ» [Миллер 2016: 24-25]. Соответственно, и словосочетание «народная война» могло означать войну национальную как всеобщую, в которой участвуют все сословия. Эта мысль с призывом к национальному единству прозвучала в царском манифесте от 6 июля 1812 г. о народном ополчении:

> Благородное дворянское сословие! ты во все времена было спасителем Отечества; Святейший Синод и Духовенство! вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу России; народ Русский! храброе потомство храбрых Славян! ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров; **соединитесь все…** [Манифесты 1816: 15].

Однако имелось и другое понимание концепта — как войны с широким участием крестьянских масс, и оно вызывало неоднозначное отношение правительственных кругов. Исследователь истории наполеоновских войн Е. В. Тарле неоднократно подчеркивал опасения правительства, что Наполеон издаст декрет об освобождении крестьян и спровоцирует крестьянскую войну [Тарле 1957: 440-441]. В. С. Парсамов показывает, что участие народа в борьбе с врагом приветствовалось, но и вызывало боязнь. Правительство и высшие круги общества скорее были склонны не доверять простому народу [Парсамов 2012: 69–71]. Известный и характерный пример — поведение московского генерал-губернатора Ростопчина. С одной стороны, он своими афишами подогревал народную ненависть к французам. С другой — реальных шагов для вооружения москвичей, несмотря на такую возможность, не сделал, предлагая им, как уже упоминалось, использовать в качестве оружия вилы, топоры и рогатины. На предложение С. Н. Глинки вооружить крестьян

---

[28] Идея о том, что это была война народная, складывалась постепенно и закрепилась в общественном сознании благодаря эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир». В исторической действительности, однако, с противостоянием Наполеону все было не так однозначно. В западных губерниях империи французы порой встречали восторженный прием, но и во внутренних губерниях определенная часть купечества поддержала Наполеона, среди крестьян в начале войны ходили слухи о возможном освобождении от крепостной зависимости (рефлексом этого в «Рославлеве» являются рассуждения ямщика Андрюхи, а в «Войне и мире» — богучаровский бунт). Сопротивление крестьян французам было отчасти стихийным и локальным, а планомерное партизанское движение, к которому примыкали и крестьяне, было эффективно организовано российской армией; она и была основной силой в борьбе с врагом.

Ростопчин отвечал: «Мы еще не знаем, как повернется русский народ» [Глинка 2004: 299].

В реальности крестьяне в войне 1812 года действительно нередко противостояли солдатам Наполеона, хотя мотивировка их действий могла быть разной. Так, А. Х. Бенкендорф в своих записках описывает смоленских крестьян, которые под пытками не выдавали, где их барыня спрятала ценности, хотя саму барыню не любили, и объясняет это «естественностью» их чувства, которой лишены белорусские крестьяне [Бенкендорф 2012: 191-192]. Д. В. Давыдов в «Опыте теории партизанского действия» объясняет легкость, с которой крестьяне становятся под знамена партизанских партий, не патриотическим чувством, а экономической выгодой и страхом перед разрушениями, принесенными войной, грабежами и мародерством со стороны регулярной армии [Давыдов 1821: XII-XIII].

У Загоскина в романе «Рославлев» в изображении партизанского отряда[29] реализуется его понимание образ подлинно народной войны. Крестьяне в отряде вооружены практически по словам Ростопчина: вилами, рогатинами, топорами, а стычка с французами изображена как единодушное действие всех крестьян деревни. Ожидая приближения врага, никто не остается в стороне:

> Крестьяне, зарядив свои ружья, отправились в назначенные для них места, и на лугу осталось не более осьмидесяти человек, вооруженных по большей части дубинами, топорами и рогатинами. К ним вскоре присоединилось сотни три женщин с ухватами и вилами. Ребятишки, старики, больные — одним словом, всякой, кто мог только двигаться и подымать руку, вооруженную чем ни попало, вышел на луг [Загоскин 1988а: 1, 522].

Французов партизаны считают безбожниками: «Французы на все смышлены, только бога-то не знают. Помните ли, ребята, ономнясь, как мы их сотни полторы в одно утро уходили, был ли хоть на одном из этих басурманов крест господень?» [Загоскин 1988а: 1, 517]. В этой связи примечательно, что возглавляют партизанский отряд у Загоскина люди церковные: семинарист Александр и отец Егор (как в «Милославском» — отец Еремей). Крестьян возмущает, что французы называют их бунтовщиками: бунт возможен только против своего государя, и они были бы бунтовщиками, если бы приветствовали французов: «Бунтовщиками? Ах они проклятые! да как бы они смели это сказать? Разве мы бунтуем против нашего государя? Разве мы их гладим по головке?» [Загоскин 1988а: 1, 513]. Отставной сержант, наставляя партизан, обращается к концепту «святой Руси» и формуле «за веру, царя и отечество» и призывает крестьян: «стоять грудью за нашу матушку святую Русь и веру православную <…> за батюшку царя и святую Русь!» [Загоскин 1988а: 1, 521].

---

[29] Это прямая параллель к «шишам» в «Милославском», о которых говорилось выше, в первой главе.

Дворянин Рославлев воодушевляет крестьян почти теми же словами: «Эх, братцы! уж если вы начали служить верой и правдой царю православному, так и дослуживайте! Что нам считать, много ли их? Наше дело правое — с нами бог!» [Загоскин 1988а: 1, 521]. Национальное чувство, по Загоскину, одинаково выражено у представителей всех сословий.

Что касается московских событий, описанных в романе «Рославлев», то подчеркнем, что Загоскин не был их очевидцем — он участвовал в войне с Наполеоном в составе петербургского ополчения в корпусе Витгенштейна при взятии Полоцка, а затем в осаде Данцига (Гданьска). Поэтому, изображая пребывание Наполеона в Москве, он неизбежно должен был обратиться к историческим источникам и к воспоминаниям очевидцев. Сам автор упоминает в романе воспоминания Филиппа Поля де Сегюра, адъютанта Наполеона во время русской кампании. Его «История Наполеона и Великой армии в 1812» (*Histoire de Napoléon et de la Grande Armée, pendant l'année 1812*) в 2-х томах была опубликована во Франции в 1824 г. и за три года выдержала 10 изданий. Говоря о московском пожаре, Сегюр называет его виновником московского градоначальника Ростопчина и видит в этом «величественное решение», пример самоотвержения и «какой-то древней отваги» [Сегюр 2014: 236], которые обеспечили графу славу в истории. Можно отметить, что симпатия Сегюра к Ростопчину во многом объясняется их личным знакомством и общением в послевоенном Париже (более того, они были родственниками: дочь Ростопчина была женой племянника Сегюра). В романе Загоскина Сегюр представлен как эпизодический персонаж, который, как и его прототип, восхищается диковатой отвагой русских, из «беспредельной любви к отечеству» [Загоскин 1988а: 1, 482] сжегших Москву, однако романный Сегюр не упоминает в связи с пожаром о Ростопчине.

Важным для Загоскина источником при описании Москвы осенью 1812 г. нам представляются воспоминания князя А. А. Шаховского. Их текст был создан в 1836 г., т. е. уже после выхода «Рославлева», но начиная с 1815 г. Шаховской был близким другом Загоскина, а в период создания романа жил в Москве, так что можно наверняка говорить, что его устные воспоминания были Загоскину известны. Шаховской подчеркнул колебания Ростопчина, который то приписывал себе пожар как заслугу, то отрекался от нее. Действительно, в 1823 г. в Париже была опубликована брошюра Ростопчина «Правда о московском пожаре», где он отвергает обвинения в свой адрес. Однако мнения о причинах московского пожара разнятся. Шаховской тоже говорит о пожаре в Китай-городе как о деле французов [Шаховской 1886: 395]. В № 1 «Сына отечества» за 1812 замысел московского пожара приписывается Наполеону («не русские, а твое бешенство зажгло или повелело зажечь ее» [СО 1812: 1, 7]). В анонимном сочинении 1813 г. (в каталоге РГБ его авторство приписывается близкому к Ростопчину А. Я. Булгакову) «Русские и Наполеон Бонапарте», подписанном псевдонимом «московский житель», говорится, что Наполеон приказал «зажечь остававшиеся в Москве домы и подорвать Кремль» [Русские и Наполеон 1813: 122]. При этом автор ничего не говорит

о причастности Ростопчина к пожару и упоминает только о деятельности губернатора за пределами Москвы [Русские и Наполеон 1813: 108-109]. В другом анонимном сочинении «Наполеон и французы с подробным описанием всех достопамятных и незабвенных для России происшествий…» французам приписывается вина за пожар, который описывается как следствие грабежей, а не чьего-либо распоряжения, Наполеон же приказывает только подорвать Кремль [Наполеон и французы 1813: 117]. Д. П. Бутурлин пишет, что Ростопчин, «вооружившись пламенником, опустошившим Москву, последовал только примеру, прежде сего уже показанному народом» [Бутурлин 1823–1824: 2; 8], т. е. Ростопчин не учил своими действиями уничтожению имущества при приближении врага, а сам следовал примеру народа. Примечателен театральный акт сожжения Ростопчиным своего имения Вороново, на воротах которого он якобы оставил надпись для захватчиков, уведомляющую, что здесь они найдут только пепел [Синельников 1813: 2, 133-134]. На процедуру сожжения имения Ростопчин «пригласил многих генералов, гостям были розданы факелы для участия в разрушении» [Кизеветтер 1915: 181].

Загоскин решает вопрос о московском пожаре со свойственной ему прямотой. Он решительно разделяет два события: подрыв Кремля и пожар. Подрыв Кремля и осквернение церквей в его романе трактуются как доказательство варварства и безбожия французов, а о пожаре автор говорит: «Мы не уступим никому чести московского пожара: это одно из драгоценнейших наследий, которое наш век передаст будущему» [Загоскин 1988а: 1, 483]. Напомним, что в этом же духе трактует события и Пушкин в своем «Рославлеве»: пушкинская Полина начинает «гордиться именем россиянки», когда Сеникур говорит ей, что Москву зажгли русские [Пушкин: 5, 147].

Московский пожар в интерпретации Загоскина — патриотический подвиг русского народа в целом, и Ростопчин как поджигатель не упоминается (о роли индивидуального героя у Загоскина см. выше в параграфе 1.2). Инициаторами «патриотического» пожара становится у Загоскина московское купечество и мещанство. Сам Наполеон едва не гибнет в этом пожаре, куда его, жертвуя собственной жизнью, завел один из купцов (здесь видится параллель с сюжетом об Иване Сусанине). Сюжет о московских каретных мастерах, которые сожгли свой товар, чтобы он не достался французам, Загоскин заимствует из исторического сочинения 1813 г. Я. Деминского «Поход Наполеона в Россию…» [Деминский 1813: 105]. Образованные и высокородные герои в «Рославлеве» ужасаются виду горящей Москвы. Только партизан (прототипом которого был А. С. Фигнер) видит в московском пожаре счастливую возможность разжечь всенародную ненависть к французам, независимо от того, что послужило ему причиной: «Посмотрите, как народ примется их душить! Они, дискать, злодеи, сожгли матушку-Москву! А правда ли это или нет, какое нам до этого дело? Лишь только бы их резали» [Загоскин 1988а: 1; 470]. Зарецкий, которому партизан говорит это, ужасается жестокому расчету, с каким могут быть использованы народные простодушие и доверие.

Народная война у Загоскина оказывается далеко не однозначным явлением. С одной стороны, это действительно форма объединения нации и преодоления фундаментального кризиса государственности (в «Юрии Милославском»). С другой стороны, она всегда чревата братоубийственным конфликтом, подрывающим единство нации и государства. В романе «Рославлев» важной частью темы народной войны является сюжет о демоническом артиллерийском офицере, затем партизане, под которым подразумевается А. С. Фигнер. Его личность была окружена многочисленными мифами и легендами уже в эпоху 1812 г. [Грачева, Востриков 1999]. Загоскину предоставил сведения о Фигнере и даже прямую оценку его деятельности Д. В. Давыдов. В письме к Загоскину от 6 марта 1830 г. Давыдов говорит о таких личных качествах Фигнера, как безбожие, безнравственность, бессовестность, «бесчувствие к горю ближнего, коварство, отважность, предприимчивость» [Давыдов 1877: 698]. Он с неприязнью свидетельствует о нескольких случаях убийства Фигнером пленных и ссылается на другие рассказы о том же:

> Знаю от людей <…> ему доселе приверженных и рассказывающих о сем, как о деле <…> принадлежащем глубокой политике, потому что имело основанием привязать к себе чернь, всегда алчущую подобного рода зрелища [Давыдов 1877: 697].

В романе Загоскина есть несколько эпизодов расправы над пленными: частью ответственность за них возложена на казаков и простонародье, но особенно выделена личная ненависть к французам артиллерийского офицера, т. е. Фигнера. Образ начальника партизанского отряда в «Рославлеве» имеет отталкивающие черты, хотя в других эпизодах и, следовательно, в романе в целом образ того, кто в первых главах представлен как «молчаливый офицер», а в данцигских главах как Дольчини, далек от однозначности.

Давыдов в «Опыте теории партизанского действия» отмечает, что у русских партизанских отрядов был предшественник, какого не было у других народов — казачество, которое Давыдов называет «истинным войском наездников» [Давыдов 1821: 35]. В первых романах Загоскина казаки также включаются в партизанские отряды, не утрачивая при этом и некоторых своих «разбойничьих» привычек.

Образ Фигнера, как и изображение партизанской войны вообще, позволяют Загоскину столкнуть между собой два понимания войны — французами и русскими. Как уже упоминалось, французы в «Рославлеве» называют войну, которую ведут с ними русские, варварской: «Наполеон досадовал, называл нас варварами, не понимающими, что такое европейская война» [Загоскин 1988а: 1, 484]. С их точки зрения, варварство проявляется во всеобщем ожесточении русских. Российский император молчит в ответ на предложение Наполеоном мира, московский купец едва не заманивает Наполеона в сердцевину пожара, простой народ ожесточенно расправляется с попадающими к нему в плен врагами. По Загоскину, для Наполеона кампания 1812 года перестала

быть привычной войной регулярных сил: после взятия французами Москвы «северные варвары не хотят слышать о мире и уверяют, будто бы война не кончилась, а только еще начинается» [Загоскин 1988а: 1, 484]. Варварская война, в глазах французов, вытекает из варварства русской нации. В романе во время пожара Москвы варварами, скифами и калмыками называет русских сам Наполеон. Французские офицеры выражаются еще резче: «Они варвары? — возразил один офицер в огромной медвежьей шапке. — Вы слишком милостивы, генерал! Они не варвары, а дикие звери!» [Загоскин 1988а: 1, 477]. Московских горожанок французы называют дикарками, потому что бросились в реку «оттого, что двое гвардейских солдат предложили им погулять и повеселиться вместе с ними» [Загоскин 1988а: 1, 489].

По Загоскину оказывается, что французы считают варварством патриотический подъем и проявления национального самосознания, естественно возникающие во время народной войны. Загоскин оценивает такого рода действия как проявление подлинного народного духа, хотя и не скрывает «издержек» партизанской войны с ее измененным восприятием моральных норм[30]:

> … с каждым днем возрастала народная ненависть к французам. <…> Убить просто француза — казалось для русского крестьянина уже делом слишком обыкновенным; все роды смертей, одна другой ужаснее, ожидали несчастных неприятельских солдат, захваченных вооруженными толпами крестьян, которые, делаясь час от часу отважнее, стали наконец нападать на сильные отряды фуражиров и нередко оставались победителями [Загоскин 1988а: 1, 483-484].

Примечательно, что партизаны отряда отца Егора тоже сравниваются с дикими зверями, а их жестокость после победы над врагом сближает их с казаками из романа «Юрий Милославский»: «пленных окружили цепью казаков; едва успевающих отгонять крестьян, которые, как дикие звери, рыскали вокруг побежденных» [Загоскин 1988а: 1, 524]. Ненависть крестьян к французам доходит до того, что, жалея веревки, чтобы вешать французов, они топят их в колодцах, портя воду в своих селениях [Загоскин 1988а: 1, 517-518].

Загоскин со своим романом стоял у истоков распространения идеологемы «народной войны» по отношению к войне 1812 года. Подобная концепция войны при этом едва ли могла полностью разделяться правительством александровской эпохи, не одобрявшим романтического национализма. Напротив, в николаевскую эпоху его позиция оказалась вполне актуальна: роль «народа» в войне сказалась именно в том, чтобы жертвовать самым дорогим для себя во имя победы, тогда как индивидуальные исторические деятели оказываются

---

[30] Зато неожиданным образом умалчивают о ней некоторые современные исследователи (см., напр.: [Гришина 2016]).

на периферии действия. Перенося инициативу и ответственность за поджог Москвы на народ, Загоскин создавал концепцию коллективного героизма, к которому мог быть причастен каждый из его читателей. Важно отметить, что в таком описании войны не оставалось места для другого ключевого участника националистического нарратива — для государя, возглавляющего народ, что вполне согласовывалось с моделью вальтер-скоттовского романа.

2.2. Образ врага: поляки в прозе Загоскина и роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»[31]

Читатель загоскинского романа прямо соотносил свою индивидуальную жизнь с судьбами персонажей и мог находить в них типичные проблемы, с которыми сталкивался сам: как понимать творящиеся на глазах исторические события, как осмыслить свое место в происходящем, как относиться к людям, оказавшимся «по другую сторону баррикад». Действительно, романы Загоскина, при отсутствии прямых исторических аллюзий, были вовсе не чужды современности, что отвечает и поэтике исторического романа[32].

Кроме того, роман затрагивал «острую» и актуальную политическую тему отношений России и Польши.

Национальные чувства, как правило, подпитываются за счет образа «чужого», на фоне которого намного легче определить «своего» (см. напр.: [Геллнер 1991: 234; Хобсбаум 2002: 332–346]). В этой связи подавляющее большинство интеллектуалов и политиков, занятых «изобретением» нации, с неизбежностью должны были придумать и угрожающего ей противника, внешнего и /или внутреннего. Можно было бы предположить, что Загоскин будет всячески демонизировать оппонентов российского государства (см. точку зрения Альтшуллера о ксенофобии в прозе Загоскина: [Альтшуллер 1996: 89–93]). В действительности, однако, ситуация более сложная.

Еще А. М. Скабичевский отмечал, что поляки в романе «Юрий Милославский» описаны «беспристрастно», и связывал это со временем написания романа до польского восстания 1830-1831-х гг. [Скабичевский 1890: 692]. Но достаточно взглянуть на образы поляков в произведениях Загоскина, написанных во время и после восстания, чтобы убедиться, что полонофобия не была свойственна автору ни до восстания, ни после него. Вполне последовательно для романтического националиста писатель, как уже говорилось, мыслит характеры народов неизменными, и их характеристика на протяжении его творческого

---

[31] Основные положения этого параграфа были изложены нами в статье «Русская и польская темы в романе Загоскина «Юрий Милославский»» [Ящук 2021].

[32] Ср. высказывание М. Пришвина: «Тайная современность рассказа о несовременных вещах является, может быть, пробным камнем истинного творчества. Без современности, заключенной в произведении, не может быть влияния на читателя» [Пришвин 2001: 401].

пути в целом не меняется. В романе «Рославлев, или Русские в 1812 году» (завершенном в январе 1831 г.), в цикле повестей «Вечер на Хопре» (1834) есть как стереотипные образы «кичливых ляхов», так и персонажи — поляки и полячки, обладающие самыми высокими добродетелями: мужеством, верностью, милосердием.

Говоря об исторических источниках, которыми пользовался Загоскин в «Милославском», А. М. Песков называет «Историю государства Российского» Карамзина и «Новый летописец» [Песков 1988: 692-693]. Еще Н. Полевой отмечал, что в Загоскин использовал «Летопись о многих мятежах и о разорении Московского Государства», где поляки имеют постоянное определение «окаянные», а король польский назван «крестопреступником Жигимонтом», и призывал отказаться от подобной однозначности в современных произведениях [Полевой 1831: 540]. Оценка Карамзина тоже однозначна: «вероломные ляхи» — извечные враги русских и «имеют нужду в злодейской измене» [Карамзин: 302] (о негативных коннотациях слова «лях» см.: [Сабадаш 2015: 66-68]).

2.2.1. Польская проблема в современном Загоскину политическом контексте и его воздействие на романы

Польскую тему в романе «Юрий Милославский» необходимо воспринимать в контексте отношения к полякам и Польше в русском общественном сознании. Отношение это было далеко от позитивного, однако не сводилось исключительно к полонофобии. Остановимся на основных вехах его формирования.

Историческая память о разделах Польши и восстании Костюшко в XVIII в., о взятии Суворовым Варшавы парадоксальным образом влияла на негативное восприятие поляков как ненадежных подданных, потенциальных мстителях за утрату польской независимости. Так, Екатерина II пишет М. Гримму: «…продажные, испорченные, легкомысленные, вздорные, деспоты, прожектеры <…> — вот вам живой портрет поляков» (цит. по [Фалькович 2000: 47]). Известно и более позднее высказывание П. Ю. Львова (1810 г.) о «древней завистнице Российского царства, всегдашней ненавистнице Москвы, властолюбивой Польше, всегда искавшей нам бед» [Львов 1810: 42-43]. Число таких примеров легко умножить. Не забудем и о том, что Франция симпатизировала Польше — и это обостряло российско-французские отношения и до 1812 г., когда поляки воевали против России в составе наполеоновской армии, и после. Например, Тадеуш Костюшко в 1793 г. представил правительству революционной Франции план преобразования Речи Посполитой в республику, и он был встречен сочувственно, однако реальной военной поддержки восстание Костюшко не получило, как позже и польское восстание 1830–1831 гг.

А. Л. Зорин отмечает, что в преддверии войны с Наполеоном русское общественное мнение видело в поляках, воспринимавшихся в обстановке предвоенной истерии как «пятая колонна» внутри империи, еще большую опасность, чем предполагаемое освобождение Наполеоном крепостных. Наряду

со слухами о даровании свободы крестьянам в обществе циркулировали предсказания грядущего восстановления Польши. Страхи эти подпитывались ликованием, с которым Наполеон был встречен в Варшаве, а также пронаполеоновскими прокламациями польских патриотов и, главное, ропотом в западных губерниях, лишь недавно отошедших к России после разделов Польши. «До меня доходят слухи, что в русских губерниях, принадлежавших прежде Польше, открываются враждебные настроения», — писал министр иностранных дел А. Я. Будберг (цит. по [Богданович 1869: 20]), а журнал «Вестник Европы» утверждал, что именно «поляки дали Наполеону титло непобедимого» [Зорин 1999: 125-126]. В этой атмосфере подозрительности, доходящей до шпиономании, общественное мнение обратило внимание на министра иностранных дел Адама Чарторижского. Ф. Вигель пишет в своих записках:

> Князь Адам Чарторижский, управлявший иностранными делами <…>, сделался всем ненавистен. В средних классах называли его прямо изменником, а тайная радость его при виде неблагоприятных для нас событий не избежала также от глаз высшей публики [Вигель 1891: 2, 212-213].

Хотя в действительности Чарторижский не вел пронаполеоновской политики и считал всякое сближение Польши с Наполеоном гибельным для нее, «устойчивое соотнесение Франции и Польши предполагало, что поляк, оказавшийся рядом с русским троном, неизбежно должен был обладать бонапартистскими симпатиями» [Зорин 1999: 165]. Для самого Чарторижского такое отношение к нему не было неожиданным: «Поляк, пользующийся полным доверием императора и посвященный во все дела, представлял явление оскорбительное для закоренелых понятий русского общества» [Чарторижский 1912: 130-131]. Под воздействием общественного мнения Александр был вынужден в 1807 г. удалить Чарторижского от должности министра.

В русском обществе существовало представление о Польше как о стране, хотя и лишенной независимости, но остающейся в некоторых отношениях более развитой и более европейской, чем Россия. Польша в течение своей истории не была изолирована от Европы, в отличие от России, и была более восприимчива к европейской культуре (которую Русь в XVII в. заимствовала именно через посредство Речи Посполитой). На польской территории население в целом было более образованным, процент дворян здесь был значительным. Интересно свидетельство Ф. Вигеля о Киеве 1800-х гг., где в обществе существовало напряжение между поляками и русскими офицерами. В результате поляки перестали ездить на балы в Контрактовый дом, однако не смогли удержать своих жен и дочерей «от удовольствия потанцевать с ловкими москаликами». Вигель пишет:

> Итак, поле сражения и тут осталось за русскими. К стыду моему, должен признаться, что внутренне был я за поляков, во-первых, как за побежденных, а во-вторых, как за людей, по мнению моему, **более образованных** <выделено нами. — *Е. Я.*> [Вигель 1891: 200].

Все эти факторы формировали особое отношение к полякам в России: с одной стороны, они вызывали у русских ощущение собственной неполноценности, с другой — подозрительность и желание ассимилировать «неверных» подданных. Полонофильская политика Александра I середины 1810-х вызывала в русском образованном обществе ревность и опасения. Царство Польское по условиям Венского конгресса получало политически автономный статус «государства с особым управлением» и имело особый статус в Российской империи по сравнению с другими территориями. Как показал Х.-Х. Хан (H.-H. Hahn), в «трактате были представлены и государственный, и национальный принципы, он открывал пространство для интерпретаций, <…> и тем самым программировался будущий российско-польский конфликт» (цит. по [Рольф 2020: 56]). Либеральная конституция, дарованная Царству Польскому в 1815 г., широко обсуждалась, и Польша недолгое время была полигоном для испытания либеральных реформ Александра I. Император в своей речи на первом Сейме в 1818 г. намекнул, что готов соединить с Царством Польским земли бывшей Речи Посполитой, которые были присоединены к Российской империи в результате разделов. Карамзин в записке царю «Мнение русского гражданина» 1819 г., в духе «дворянского национализма» [Миллер, Долбилов 2006: 90; Миллер 2006: 160], выступил против восстановления территории древнего Королевства Польского, потому что, с его точки зрения, это противоречило имперским принципам России: «ни пяди <земли> ни врагу, ни другу». Однако не только у Карамзина, но и в среде будущих декабристов эти планы Александра не вызвали сочувствия. Свое обещание полякам император не выполнил, однако Польша сохранила некоторую автономность от остальной империи, имела собственную армию, хотя и подчиненную брату императора Константину Павловичу, и переживала экономический и культурный подъем [Рольф 2020: 62–67].

Важно подчеркнуть, что не вся Польша была согласна на унию с Россией, и если элита в целом поддерживала правительство, то «мелкая» шляхта была подвержена европейским революционным веяньям [Рольф 2020]. На рубеже 1810–1820 гг. в Царстве Польском усилилась конспиративная деятельность [Миллер, Долбилов 2006: 92]. Именно в это время в Польше формирование национального самосознания входит в новую фазу [Рольф 2020]. Упомянем дело филоматов и филаретов 1823–1824 гг., по которому А. Мицкевич был выслан из Литвы в Петербург[33].

Представлению о поляке как об опасном заговорщике и враге российской государственности способствовала сближение некоторых декабристов с польскими патриотами, по делу которых в феврале 1826 г. началось следствие (см., подробнее: [Медведская 1954]). Из-за близости к Пестелю был арестован С. Кшижановский, возглавивший после ареста Лукасинского «Польское

[33] По этому делу 20 участников тайных обществ были высланы в Россию или приговорены к тюремному заключению с последующей ссылкой.

патриотическое общество» [Миллер, Долбилов 2006: 93]. Одна из тайных декабристских организаций «Общество соединенных славян» (появилось в 1823, влилось в Южное общество в 1825), как видно ее названия, носила панславянский характер. В «Донесении Следственной комиссии» от 30 мая 1826 г. значится:

> Целью общества они полагали соединить общим союзом и единообразным республиканским правлением, но без нарушения независимости каждого, восемь славянских колен, означенных на осьмиугольной печати их: Россию, Польшу, Моравию, Далмацию, Кроацию, Венгрию с Трансильванией, Сербию с Молдавией и Валахией... (цит. по [Нечкина 1982: 100]).

Интерес к полякам был, однако, не только политический, но и культурно-языковой. Так, Рылеев переводил с польского и создал свои «Думы» под воздействием «Исторических песен» *(Śpiewy historyczne)* Ю. Немцевича, а поляк А. Мицкевич участвовал в журнале «Московский телеграф» и был в центре литературной жизни Москвы и Петербурга в 1825–1829 гг.

Николай I, вступив на престол в условиях восстания 14 декабря, отреагировал преследованиями подпольных организаций, усилением цензуры и политикой русификации учебных заведений в западных губерниях, которые трактовались им как «исконно русские» [Миллер, Долбилов 2006: 103–117]. Речи о возвращении этих территорий Польше уже не было. В этом контексте любопытно выглядит коронация Николая I в Варшаве с точки зрения «сценариев власти», в терминологии Р. Уортмана.

Согласно Конституции 1815 г., Николай должен был короноваться Королем Польским. Церемония состоялась в мае 1829 г., спустя два с половиной года после коронации в Кремле, и в течение этого времени обсуждался церемониал будущей коронации. Одним из примеров могла быть коронация Станислава Августа Понятовского в Варшаве в 1764 году. Во-первых, польский король не сам возлагал на себя корону, а это делал католический архиепископ, что было неприемлемо для русского царя. Во-вторых, в течение коронации Понятовский несколько раз снимал корону, в частности, во время причастия. Во время коронации он должен был пройти несколько ступеней к алтарю, взойти на алтарь и, развернувшись к народу, вынуть меч из ножен, а затем крестообразно три раза ударить им по воздуху. После этого он должен был спуститься с алтаря и пасть ниц, сложив руки крестообразно. Все это было невозможно для русского императора. В итоге коронация прошла в зале сената Варшавского замка, то есть в светском пространстве. Большая часть компонентов церемонии соответствовала русской традиции. Состоялся въезд императора в Варшаву, был проведен смотр польской армии, присутствовала императорская фамилия и государственные чиновники. Оформление пространства было выдержано в русской традиции, вплоть до семиотических аспектов символики цвета. Император, конечно, возложил на себя корону сам, принял скипетр и державу. Компромиссным вариантом можно признать то, что император Николай I по окончании коронации произнес присягу на французском языке [Boltunova 2021].

Напомним, что, когда «Юрий Милославский» вышел в свет, русско-польские отношения стремительно ухудшались. Роман был опубликован до начала Польского восстания, но после того, как Николай I короновался в Варшаве. Польская тема в русской литературе этого периода достаточно хорошо описана исследователями (см: [Хорев 2005; Сабадаш 2015; Lis 1998; Kępiński 1990; Orłowski 1992]), но о месте первого русского исторического романа в формирующемся отношении к «польскому вопросу», на наш взгляд, говорится слишком упрощенно. Так, например, К. Лис называет романы и повести Загоскина «литературным проявлением официальной идеологии» [Lis 1998: 28], а А. Кемьпиньский утверждает, что Загоскин «смотрел на историю через призму официального патриотизма», что соответствовало читательскому ожиданию [Kępiński 1990: 188].

Исследовательница Н. П. Сабадаш отмечает, что именно во время Польского восстания 1830–1831 гг. «русские писатели, критики, публицисты определяют свою позицию по отношению к Польше и полякам, к проводимой Россией политике в Польше» [Сабадаш 2015: 11]. Исследовательница анализирует официальные манифесты, материалы газет и журналов периода восстания и приходит к выводу, что «негативное и враждебное» отношение к Польше транслировалось отовсюду — именно в этой атмосфере воспринимался роман Загоскина. Я. Л. Левкович также отмечает, что первые «польские» исторические повести — «Остров на Садовом озере» Н. Коншина и «Краковский замок» Н. Полевого — появились в 1829 г., «когда политическая обстановка в Царстве Польском была достаточно напряжена, но это напряжение еще не вылилось в открытое возмущение» [Левкович 1973: 125]. Восстание оказалось не только «кульминационной эпохой польского самосознания», позволившей полякам построить образ «себя» через противопоставление «другим», т. е. русским. Полемика вокруг него, как указывает М. Рольф, сыграла важную роль в формировании представления о том, что значит быть русским, о русской народности [Рольф 2020: 81]. «Уваровская триада» таким образом, тоже может рассматриваться как одна из реакций на восстание.

2.2.2. Специфика трактовки польской темы в «Юрии Милославском»

На этом фоне позиция Загоскина достаточно необычна. Писатель вовсе не изображает поляков как принципиальных врагов русского народа. С одной стороны, в ряде произведений Загоскина есть антагонист-поляк (а не еврей, например) — вечный сосед — враг русского, как и часто упоминаемые в одном с ним ряду татарин и турок. С другой стороны, далеко не всех поляков он готов записывать в антагонисты.

Уже отмечалось, что в «Юрии Милославском», как это свойственно романам, созданным по вальтер-скоттовской модели, присутствуют и исторические герои, и вымышленные. Среди реальных исторических деятелей

с польской стороны, которые упоминаются, но не присутствуют в сюжете романа, кроме уже названных польского короля Сигизмунда III и его сына королевича Владислава, необходимо назвать гетмана Станислава Жолкевского (он добивается избрания на русский престол Владислава и вступает с польскими войсками в Москву), коменданта Кремля Александра Гонсевского, бывшего при нем Николая Струся, гетмана Ходкевича (командующего польскими войсками в битве под Москвой), гетмана Сапегу и Александра Лисовского (осаждавших Троице-Сергиеву лавру). Сапегу и Лисовского (последний кроме прочего командовал «летучими отрядами») «русские» персонажи называют грабителями и разбойниками, но не отказывают им в «воинской доблести и зверском мужестве» [Загоскин 1988а: 1, 228]. Гонсевский в романе — начальник Милославского, от которого герой едет с поручением в Нижний Новгород. В ходе сюжета узнается, что Гонсевский — жених Анастасии, возлюбленной Юрия. Однако о личных и административных качествах Гонсевского упоминается лишь однажды, при перечислении казненных по его приказу родственников. Образ гетмана Жолкевского и вовсе лишен черт злодейства или жестокости: «Если б все советники короля Сигизмунда были столь же благородны и честны, как он, то давно бы прекратились бедствия отечества нашего», — говорит Юрий [Загоскин 1988а: 1, 180]. Таким образом, исторические поляки — это скорее фон для изображения основного сюжета, и их упоминания, в основном, не сопровождаются полонофобскими комментариями.

Изображение вымышленных персонажей-поляков тоже далеко от полонофобии, что показала в своей работе Н. П. Сабадаш, проанализировав образы панов Копычинского и Тишкевича. Сабадаш отмечает парадокс в решении русскими писателями «польского вопроса»: строя преимущественно отрицательный образ поляков в своих произведениях, они не переносили этого негативного стереотипа на личные отношения и дружбу с конкретными поляками [Сабадаш 2015, 152]. Так же и герой романа Загоскина, в целом негативно относясь к полякам, не переносит этого отношения на Тишкевича. Последнему приходится по душе история про гуся, которого Милославский насильно скормил Копычинскому, когда тот покусился на его, Милославского, обед. К Копычинскому Тишкевич и его товарищи испытывают презрение, а храбрость ценят больше, чем национальную принадлежность. При этом подчеркивая, что истинный поляк всегда храбр:

> …всякий правдивый поляк порадуется, когда удалый москаль проучит хвастунишку и труса, хотя бы он носил кунтуш и назывался поляком. Давай руку, пан Милославский! Будем друзьями! Ты не враг поляков; но если б был и врагом нашим, я сказал бы то же самое. Мы молодцов любим; с ними и драться-то веселее! <…> я грудью стану за друга и недруга, если он молодец и смело идет на неравный бой; а не заступлюсь за труса и подлеца, каков пан Копычинский, хотя б он был родным моим братом [Загоскин 1988а: 1, 116].

Тишкевич и Милославский испытывают друг к другу самые дружеские чувства: «жаль, что ты не наш брат поляк!», — говорит Тишкевич. Моральные качества Тишкевича — благородство, честность, отвага, преданность своему отечеству и уважение к врагу — позволяют трактовать его однозначно как положительного персонажа, несмотря на его близость пану Гонсевскому, фактически оккупировавшему Москву.

Русские характеры Загоскин строит, опираясь на ту же систему моральных ценностей. Уже упоминалось, что не все русские в романе — патриоты. Боярин Кручина-Шалонский (отец возлюбленной Милославского) не скрывает, что служит «истинному русскому царю» Сигизмунду, а не марионеточному Владиславу. Когда Милославский отказывается пить за здоровье Сигизмунда как русского царя, Кручина-Шалонский готов применить силу. О защитниках Смоленска он говорит: «Бунтовщики и крамольники никогда не будут братьями Шалонского» [Загоскин 1988а: 1, 121]. Впрочем, в финале Кручина-Шалонский раскаивается в злодеяниях и умирает как христианин, тогда как злодеи-поляки и русские предатели не «перевоспитываются». Эпизодический персонаж — земский ярыжка (младший полицейский чин) — не разделяет патриотических взглядов Милославского и стоит на позиции подчинения сильнейшему:

> … Что нам за дело, кто будет государствовать в Москве: русский ли царь, польский ли королевич? было бы нам легко. <…> Можно б, кажется, поклониться королю польскому Смоленском. Не важное дело один городишко! Для такой радости не только от Смоленска, но даже от пол-Москвы можно отступиться [Загоскин 1988а: 1, 51].

Поляки в романе Загоскина — действительно враги и прямая угроза российской государственности, но не вследствие польского национального характера. С точки зрения Загоскина, успех поляков, выступающих против русского государства, обусловлен нестроениями среди самих русских. М. Г. Альтшуллер утверждает, что образ Тишкевича не мешает читателю романа воспринимать польскую сторону как «плохую», а всех поляков — как носителей стереотипных пороков [Альтшуллер 1996: 76-77]. В действительности же, как видим, поляки у Загоскина определяются скорее не как носители порока, а как «чужие» — оппоненты, борьба с которыми необходима для сохранения русской государственности. Никаких моральных выводов по отношению ко всем полякам из этого не следует. Храбрость и благородство (равно как трусость и вероломство) могут быть присущи и полякам, и русским. Эта система моральных ценностей в романе важнее политических различий: автор мерит ею всех персонажей вне зависимости от их национальной принадлежности. Конфессиональные различия для Загоскина важны скорее на политическом, чем на индивидуальном уровне: они становятся препятствием в русско-польских отношениях, когда предполагаемый русский царь Владислав медлит с принятием православия, но не мешают личной дружбе Милославского и Тишкевича.

А. М. Песков говорит о «притчевой ясности» в изображении отрицательных героев в романе (без различения их национальной принадлежности), которая достигается басенным сопоставлением с дикими животными:

> Глаза боярина Кручины-Шалонского сверкают, «как у тигра», и голос его в гневе подобен «рыканью львову». Стремянный боярина Омляш «ухватками» похож «на медведя», и в облике его нет «ничего человеческого». Истома-Туренин «то взглянет, как рублем подарит, то посмотрит исподлобья, словно дикий зверь». Гетман Гонсевский «желал бы, чтоб нижегородцы положили оружие, так же, как желает хищный волк, чтобы стадо осталось без пастыря и защиты. Мужество Сапеги и Лисовского — зверское. Лжедмитрий «спрятался» в Калугу после поражения под Тушином, «как медведь в свою берлогу». Казаки Трубецкого по взятии Кремля, «словно волки, рыщут вокруг Грановитой палаты»; они рассеиваются по России, «как стая хищных зверей» [Песков 1988: 25].

Примеры можно еще умножить. Так, например, в романе «Брынский лес» описываются злодеи-раскольники: «Тот походил на злую цепную собаку, а этот сладко-глаголевый лицемер, — на дикую кошку» [Загоскин 1898: 2, 131]. У Кузьмы Рощина из одноименной повести глаза «по временам сверкали из-под густых бровей, как сверкают глаза тигра, когда он крадется к своей добыче» [Загоскин 1988а: 1, 621]. Загоскин, согласно Пескову, убежден, что нравственные вопросы не требуют раздумий: добро есть всегда добро, а зло — всегда зло [Песков 1988: 25]. Добавим, однако, что при этом добро и зло у Загоскина прямо не коррелируют с национальной принадлежностью героев: и русский, и поляк могут оказаться в моральном отношении неоднозначными. Точка зрения Загоскина на историческую судьбу Польши и польского народа выражается в словах Милославского:

> Я уважаю храбрых и благородных поляков. Придет время, вспомнят и они, что в их жилах течет кровь наших предков славян; быть может, внуки наши обнимут поляков, как родных братьев, и два сильнейшие поколения древних владык всего севера сольются в один великий и непобедимый народ! [Загоскин 1988а: 1, 81].

Кирша, воплощение русского простонародного духа, этого мнения не разделяет и упрекает Юрия, что тот сам стал похож на поляка: «ты, живя с этими ляхами, чересчур мудрен стал и говоришь так красно, что я ни словечка не понимаю» [Загоскин 1988а: 1, 81], т. е. Милославский уже как будто слил эти два народа внутри себя. Заметим также, что это характерное различие между точкой зрения на врага у образованных и простонародных героев присутствует затем и в следующем романе Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году».

Мысль об объединении славянских народов в 1829 г. не была ни оригинальной, ни новой. Еще Гердер в книге «Идеи к философии истории человечества» (1784) предсказал освобождение славянских народов и их большое историческое

будущее [Гердер 1977: 471]. Гердер не высказывает прямо идеи объединения славян, но до этого заключения остается буквально один логический ход, который вскоре был сделан представителями разных славянских народов.

Широко известна пушкинская метафора из стихотворения «Клеветникам России» (1831): «Славянские ль ручьи сольются в Русском море? — Оно ль иссякнет? вот вопрос», которая восходит к цепи переводов 20-го сонета из поэмы словацкого пастора Яна Коллара «Дочь Славы» («Slávy dcera», 1824) [Мильчина, Осповат 2010; Лейбов, Осповат 2011]. Сонет был последовательно переведен с чешского языка на английский, затем на французский и только после этого с французского на русский. В русском же переводе статьи из «Revue Britannique», в июле 1831 г. появившемся в журнале «Телескоп» (№ 11), сонет Коллара интерпретировался следующим образом:

> Исполинская дщерь Славян, могущественная Россия, <...> когда соединишь ты в одну рукоять эти разметанные ветви одного корня, когда сольешь в один поток эти расплесканные волны одной крови? [Телескоп 1831: 400-401].

Стихотворение Пушкина было опубликовано в брошюре «На взятие Варшавы» в сентябре 1831 г. В качестве одного из главных аргументов, направленных против французских парламентариев и публицистов, Пушкин привел именно события 1812 г. (сожжение Москвы он воспринимал в целом близко к Загоскину — как героическое самопожертвование русского народа, позволившее «нашей кровью» победить Наполеона)

Мицкевич в издании третьей части «Дзядов» опубликовал ответное стихотворение «Русским друзьям», содержащее упрек и обвинение в предательстве прежних свободолюбивых идеалов:

> А может, кто триумф жестокости монаршей
> В холопском рвении восславить ныне тщится?
> Иль топчет польский край, умывшись кровью нашей,
> И, будто похвалой, проклятьями кичится?

В ответ на это Пушкин пишет стихотворение «Он между нами жил…» (1834), где снова звучит идея соединения народов, которую, по версии Пушкина, разделял и Мицкевич. В стихотворении речь идет о событиях 1824–1829 гг., когда Мицкевич, высланный из Вильны за участие в студенческих кружках, жил в Петербурге, Одессе, Москве и сблизился с Рылеевым, Бестужевым (до восстания 1825 г.), с Пушкиным и др.:

> ...Нередко
> Он говорил о временах грядущих,
> Когда народы, распри позабыв,
> В великую семью соединятся.

Д. Д. Благой относит события этого стихотворения к 1826 г., ко времени работы Мицкевича над поэмой «Конрад Валленрод»[34], отрывки из которой он читал в кружке русских литераторов:

> Во введении к «Конраду Валленроду» «ненависти народов» — национальной вражде символически противопоставляется мирное единение природы и искусства: на остров, находящийся среди водного потока, разделяющего враждующие племена, дружески слетаются соловьи с того и другого берега. <…> Совершенно очевидно, что этот последний образ полностью соответствовал тем отношениям понимания, дружбы и взаимной симпатии, которые установились в эту пору между польским соловьем — Мицкевичем и его русскими собратьями. Больше того, можно почти с уверенностью сказать, что этими отношениями данный образ в значительной степени был и подсказан [Благой 1956: 299].

Повторим, что в самой поэме речь не идет о братстве славянских народов, но этот смысл подсказан образу соловьиного острова контекстом создания «Конрада Валленрода». Однако нельзя исключать, что Пушкин имел в виду какой-нибудь другой текст Мицкевича или вовсе устные высказывания[35].

В стихотворении «Бородинская годовщина» (5 сентября 1831) Пушкин уже прямо сравнивает Бородинское сражение со взятием Варшавы, происшедшим 26 августа, в день Бородина. Это соотнесение Польского восстания с войной 1812 г. в стихотворениях Пушкина и в стихотворении Жуковского «Русская слава» вызвало резкое неприятие П. А. Вяземского, в дневнике записавшего: «И что за святотатство сближать Бородино с Варшавою. Россия вопиет против этого беззакония. Хорошо „Инвалиду“ сближать эпохи и события в календарских своих калейдоскопах, но Пушкину и Жуковскому кажется бы и стыдно» [Вяземский 1963: 215][36]. Вяземский мотивировал свою реакцию, отсылая именно к понятию «просвещения», которое, с его точки зрения, присуще Франции, но не России: «За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию, нравственному и политическому» [Вяземский 1963: 223]. Александр Тургенев в письме к брату прямо обвинял Пушкина в варварстве: «Он только варвар в отношении к П<ольше>. Как поэт, думая, что без патриотизма, как он его понимает, нельзя быть поэтом, и для поэзии не хочет выходить из своего варварства»

---

[34] В 1828 г. Пушкин перевел начало поэмы и в 1829 г. опубликовал в журнале «Московский вестник» «Отрывок из поэмы Мицкевича „Конрад Валленрод“» («Сто лет минуло, как тевтон…»).

[35] К сожалению, словарная статья, посвященная стихотворению «Он между нами жил…» в третьем томе «Пушкинской Энциклопедии», также не проливает света на предполагаемый источник [Муравьева 2017: 522-524].

[36] Хотя тот же Вяземский полагал подавление Польского восстания необходимым, но не считал этот сюжет достойным поэзии.

(цит. по [Истрин 1913: 18]). В этой связи показательно, что Пушкин в эпистолярной дискуссии защищал роман Загоскина от упреков Вяземского: автор «Клеветникам России» был в этот момент и в этом вопросе ближе к Загоскину, чем автор «Русского бога» [Альтшуллер 1996: 93–95]. Разумеется, Загоскин не читал записных книжек Вяземского и писем Тургенева. Тем не менее, писатель должен был иметь какое-то представление о шумной дискуссии об исторических судьбах России, развернувшейся после публикации стихотворения Пушкина, и тем более о публикациях в русской и французской прессе.

В том же 1829 году, когда вышел роман «Юрий Милославский», близкий приятель Загоскина А. А. Шаховской написал трагедию «Смольяне в 1611 году», посвященную осаде Смоленска. Точки зрения Загоскина и Шаховского на отношения русских и поляков близки. В трагедии Шаховского идею братства и будущей дружбы поляков и русских высказывают два положительных героя из разных лагерей — поляк Новодворский и русский Шеин.

Шеин
Когда Небесный Судия
Меж нас погасит огнь раздора? [Шаховской 2005: 121].

Новодворский
Так не уж ли же враждою,
В которой, может быть, и правых нет,
Мы будем ввек губить своих единокровных,
Чтоб чуждым племенам добычей быть.
Нет, я надеюся, придет то время,
Когда, как братьев, нас любовь соединит [Там же: 83].

Концепции Загоскина и Шаховского по русско-польскому вопросу в 1829 г. близки, и польское восстание 1830–1831 гг. этого отношения не меняет (не менялось оно и в последующие годы). Так, во время восстания в выпуске «Северной пчелы» от 6 октября 1831 г. в материале «Отрывок из письма русского гвардейского офицера о штурме Варшавы» утверждается, что Россия и Польша — «члены великого семейства»[37].

Однако, по-видимому, для русских писателей эта мысль, высказанная Мицкевичем в 1828 г., оказалась очень важной, и в какой-то мере стала истоком дальнейших размышлений. Каким именно путем мог воспринять эту идею «братства народов» Загоскин, точно установить не удалось, но можно сделать предположение, что посредником был Шаховской. В начале 30-х гг. Шаховской сблизился с кругом Пушкина и участвовал на стороне «аристократического лагеря» в полемике против «Московского телеграфа» [Гозенпуд 1961: 62–67].

---

[37] Здесь, конечно, возникает вопрос об источниках этого материала (не исключено, что письмо было выдуманным, как и гвардейский офицер).

В этой атмосфере появились в печати «Борис Годунов», «Юрий Милославский…» и отрывок из «Смольян…», где выражена точка зрения на собственную историю, подразумевающая не только героизацию российского прошлого, но и жалость к поверженному врагу. Это не противоречит отчетливой близости Загоскина к государственной идеологии. Он стоит на имперской точке зрения, согласно которой империя — дом для всех ее народов, верных подданных русского царя. Автор использует идеологему «Святой Руси», отчасти следуя традиции соединения государственной и религиозной риторики, восходящей к эпохе 1812 года [Киселева 2007]. Словосочетание «Святая Русь» встречается в романе около 20 раз, в основном, в контексте героической гибели за нее.

«Рославлев» был задуман и написан до Польского восстания[38]. В этом романе сами поляки играют лишь периферийную роль и принципиальными оппонентами не становятся. В «Рославлеве» не описываются военные столкновения с польскими частями наполеоновской армии, хотя значительная часть действия происходит при осаде Данцига. Это тем более замечательно, что собственный военный опыт писателя в 1812–1813 гг. включал военные действия против поляков: Загоскин участвовал в осаде Полоцка, а одну из военных «шуток с поляками» описал в письме (без даты) брату Василию Николаевичу:

> …Но это не смутило нашего героя — отъехав сажен около двадцати, громко скомандовал он «Стой — с передков долой» — и в одно мгновение соскочил с лошади, поворотил и, повернув орудие против роты, стоявшей в густой колонне, одним выстрелом положил на месте 8 человек и почти вдвое более того сильно переранил. Потом, не дав им опомниться, вскочил проворно на лошадь и вместе с пушкою пустил во весь карьер к русскому пикету. «<нрзб.>! Москаль!» — Заревели многие голоса, и сотни пуль просвистали мимо ушей его. К счастию, ни одна из них не зацепила нашего героя, и он благополучно прибыл в русский лагерь, где и был вознагражден за свою верность и замысловатую шутку с поляками [ОР РНБ: 291-33; 1].

Однако польский антагонист присутствует в романе в анекдоте, который рассказывает товарищам офицер Сборский. Вскоре после сражения под Чашниками Сборский, ища ночлега, попал в дом стереотипного кичливого пана, который не желал кормить русского и отвел ему нетопленную комнату с крысами. На другой квартире Сборского и его слугу испугало количество оружия в доме, и они, неправильно поняв подслушанный разговор об охоте на медведя, решили, что попали к разбойникам. Недоразумение быстро разрешилось, поляки оказались хлебосольными охотниками.

---

[38] Цензурное разрешение на публикацию первой части «Рославлева» было дано 29 декабря 1830, второй — 21 января 1831, третьей — 13 февраля 1831, четвертой — 2 апреля 1831 г. Подача рукописи в цензуру в декабре явно говорит о том, что к моменту получения в Петербурге известий о варшавских событиях роман был уже написан.

Кроме этого в романе упоминается только польский генерал, который помогает Наполеону выбраться из горящего Кремля. Загоскин в «Рославлеве» очень осторожно изображает поляков и явно не стремится очернить их или представить серьезными врагами России. Это была сознательная позиция, она же прослеживается и в написанном тогда же и о тех же событиях романе Ф. В. Булгарина «Петр Иванович Выжигин», где польская тема — центральная [Киселева, Ящук 2019]. Изображение поляков у Загоскина связано и с имперской позицией, и с нежеланием высказываться резко в условиях Польского восстания 1830–1831 гг.

Обращаясь к эпохе исторического противостояния Руси и Польши, поднимая актуальный и острый для русской читательской аудитории «польский вопрос», Загоскин трактует поляков не как опасных для русской нации «чужих», а как будущих подданных той же Российской империи, которых в конечном счете объединяет с русскими героями романа общая историческая судьба.

2.3. Образ врага: французы в романе «Рославлев»

Французы в романе Загоскина о 1812 г. и о вторжении Наполеона в Россию описаны неоднозначно, как и поляки в предыдущем произведении автора. Появляются персонажи из противоположного лагеря, к которым русские герои испытывают симпатию и уважение, как например, отважный французский офицер Шамбюр:

> А нечего сказать, — перервал Сборский, — этот Шамбюр молодец! И черт его знает, как он всегда вывернется? Откуда ни возьмется с своей ротою, накутит, намутит, всех перетревожит, да и был таков! [Загоскин 1988а: 1, 544].

Позже Шамбюр становится «приятелем» главного героя и бескорыстно помогает ему оправиться после ранения [Загоскин 1988а: 1, 607]. К Франции же многие герои романа «Рославлев» относятся не только без ненависти, но даже с симпатией: Зарецкий уговаривает Рославлева поехать после окончания войны в Париж, потому что там «веселее», чем в России. Симпатия к Франции совершенно не исключает персонажа из круга русских — Зарецкий любит свою страну и стремится одолеть неприятеля не меньше, чем Рославлев:

> Опустив поводья, он сидел задумчиво на своей лошади, которая шла спокойной и ровной ходою; мечтал о будущем, придумывал всевозможные средства к истреблению французской армии и вслед за бегущим неприятелем летел в Париж: пожить, повеселиться и забыть на время о любезном и скучном отечестве [Загоскин 1988а: 1, 453].

Для понимания позиции Загоскина по отношению к французам как к внешним врагам особенно важна сюжетная линия брака возлюбленной главного героя

Полины с пленным французским полковником Сеникуром, приводящего к ее гибели. Эта линия обычно используется как аргумент для обвинения Загоскина в крайней ксенофобии. Еще Белинский, рецензируя «Кузьму Мирошева», упомянул героиню «Рославлева», «которая сделалась виновата перед судом автора в том, что, как женщина, полюбила мужчину, не спрашивая, какой он нации. И за это автор старался всеми силами выставить ее в самом неблагоприятном свете, а героя тем паче возвеличить» [Белинский: 6, 37]. За критиком последовали и другие авторы. Однако, как нам хотелось бы подчеркнуть, это не соответствует позиции Загоскина.

Возмущенное и исполненное проклятий письмо пишет Полине Рославлев, ставший невольным свидетелем ее ночного венчания с Сеникуром[39], но узнав о ее болезни, не отсылает этого письма. Позже, увидев умирающую Полину, покинувшую Россию вместе с французской армией, он проникается к ней жалостью. М. Г. Альтшуллер уверяет, что писатель в целом согласен с содержанием неотправленного письма и считает Полину преступницей [Альтшуллер 1996: 91]. В качестве доказательства исследователь приводит фрагмент из авторского предисловия:

> Интрига моего романа основана на истинном происшествии — теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметом общих разговоров и когда проклятия оскорбленных россиян гремели над главою несчастной, которую я назвал Полиною в моем романе [Загоскин 1988а: 1, 288].

Как кажется, приведенный фрагмент свидетельствует об обратном. От своего лица автор вовсе не проклинает ее, а, напротив, сострадает ей (как и его герой). Проклятий она заслуживает не от Загоскина и его нарратора, а от россиян, охваченных ненавистью к напавшим на них французам. Исходя из описанной в предыдущей главе концепции Загоскина, резонно будет предположить, что такое безжалостное отношение к Полине было для писателя скорее печальным, хотя и закономерным следствием пробуждения национального духа — приблизительно таким же, как и жестокие расправы партизан

---

[39] О венчании Полины в композиции романа см. также: [Линьков 2014]. Как показали, с привлечением юридических документов и исторических прецедентов, Л. Н. Киселева и К. В. Новашевская, брак Полины с Сеникуром не мог считаться во Франции действительным. Поэтому, когда Полина после смерти Сеникура остается с младенцем в Данциге, французы не отказывают ей в помощи, но с негодованием отказываются считать вдовой Сеникура, ведь по французским законам она ему только любовница и не должна сметь претендовать на то же положение, что и французские вдовы. В этом, согласно Киселевой и Новашевской, проявляется важная для Загоскина мысль о высокомерии французов как части их национального характера [Киселева, Новашевская 2018]. В то же время автор подчеркивает, что лично Сеникур вел себя с Полиной благородно и заботился о ней. Так, перед отступлением французской армии полковник говорил своей жене: «…я не хочу подвергать тебя опасности; ты можешь возвратиться к твоей матери, можешь даже навсегда остаться в России; ты свободна» [Загоскин 1988а: 1, 603].

над французами, а вовсе не добродетельным и желаемым поведением. В этой связи Загоскин был, конечно, ближе к своему герою Рославлеву не в тот момент, когда он проклинает Полину, а в тот момент, когда он ей сострадает.

Тем не менее, образ врага в «Рославлеве» действительно трансформируется. Кардинальным новаторством романа оказывается появление не только военного, религиозного и национального, но и идеологического конфликта между русскими и французами. В «Юрии Милославском» основные идейные споры велись между русскими героями и были посвящены тому, как именно противостоять политическому кризису: изгнать поляков или поддержать претензии на престол обещавшего принять православие королевича Владислава. Напротив, в следующем романе французы показаны не только как оппоненты на поле брани, но и как носители чуждой точки зрения, с которой автор и его персонажи пытаются полемизировать. Соответственно победа должна быть достигнута не только в бою, но и в идеологической дискуссии. Если первая на момент написания романа была уже историческим фактом, то идеологическая требовала аргументов.

Главный тезис, который Загоскин опровергает, — обвинение русских в недостаточной цивилизованности (о семантике и полемическом потенциале понятия «цивилизация» см.: [Велижев 2012]). Мы уже упоминали, что французы в «Рославлеве» называют войну, которую ведут с ними русские, варварской.

По Загоскину оказывается, что французы считают варварством патриотический подъем и проявления национального самосознания, естественно возникающие во время народной войны, а также женское целомудрие. Однако и французское самомнение объясняется и во многом оправдывается их патриотическими чувствами, в принципе недалекими от русского патриотизма. Как рассуждает резонерствующий офицер Сурский:

> …в этом смешном желании уверять весь мир, что в одной только Франции могут жить порядочные люди, я вижу чувство благородное. Известное слово одного француза, который на вопрос, какой он нации, отвечал, что имеет честь быть французом, — не самохвальство, а самое истинное выражение чувств каждого из его соотечественников; и если это порок, то, признаюсь, от всей души желаю, чтоб многие из нас, рабски перенимая все иностранные моды и обычаи, заразились бы наконец и этим иноземным пороком [Загоскин 1988а: 1, 377—378].

К тому же, некоторые французы у Загоскина, хотя и относятся к русским с предубеждением, способны оценить русское великодушие и патриотизм. «Он француз в душе»[40], — восклицает французский пленный о казаке,

---

[40] Л. Н. Толстой использует этот же мотив «настоящего француза в душе», усложняя его, в своем романе «Война и мир». Капитан Рамбаль, спасенный Пьером в Москве, не верит, что Пьер русский, и дважды повторяет: *Vous m'avez sauvé la vie! Vous êtes Français*. Здесь Толстой делает такое замечание о французском национальном характере: «Для француза вывод этот был несомненен. Совершить великое дело мог только француз» [Толстой 1940а: 374], что близко к загоскинской концепции.

вернувшем ему портрет его жены; французский полковник говорит: «Это самоотвержение, эта беспредельная любовь <русских> к отечеству — понятны душе моей: я француз» [Загоскин 1988а: 1, 482].

Если любовь французов к своему отечеству в романе показана не без доли сочувствия, то их презрение к чужим странам вызывает осуждение всех персонажей. Загоскин резко выступает против стереотипа, согласно которому Россия и Испания — варварские страны, потому что ведут «скифскую» партизанскую войну — в случае Испании один из французов в «Рославлеве» даже говорит не о войне, а о подавлении бунта:

> …я не знаю, почему называют войною простую экзекуцию, посланную в Испанию для усмирения бунтовщиков, которых, к стыду всех просвещенных народов, английское правительство поддерживает единственно из своих торговых видов [Загоскин 1988а: 1, 302].

Напротив, Франция, по мнению французов, несет завоеванным народам просвещение и прогресс: «…сравните нынешнее просвещение Европы с прежними предрассудками и невежеством…» [Загоскин 1988а: 1, 309].

Из романа Загоскина, однако, следует, что претензии Франции на просвещенность и цивилизованность совершенно не обоснованы. В целом, писатель, во многом следуя за Шишковым и отчасти совпадая со складывающимся славянофильским ходом мыслей, характеризует французскую культуру как чуждую русской, а подражание ей — как опасное занятие, способное повредить русскому национальному характеру. Эту мысль ясно иллюстрирует образ княгини Радугиной, которая «презирала все русское» и была готова отказаться от любого проявления собственной оригинальности:

> Бедная Радугина в простоте души своей была уверена, что высочайшая степень просвещения, до которой Россия могла достигнуть, состояла в совершенном отсутствии оригинальности, собственного характера и национальной физиономии; одним словом, заслужить название обезьян Европы — была, по мнению ее, одна возможная и достижимая цель для нас, несчастных северных варваров [Загоскин 1988а: 1, 306].

Настоящими варварами оказываются в романе не русские, а французы. Если пожар Москвы у Загоскина показан как дело самих русских и как результат военной необходимости, способ одержать окончательную победу над вторгшимся врагом (см. об этом ниже), то наполеоновские действия изображены как дикость, не имеющая никакой прагматической цели:

> Наполеон, прощаясь навсегда с древней столицею России, велел подорвать Кремль. Это варварское, достойное средних времен приказание было выполнено. В военном отношении Московский Кремль нельзя назвать не только крепостию, но даже простым укрепленным лагерем; следовательно, разорение его не могло ни в каком случае быть полезным для французов; а разорять что бы то ни было, без всякой пользы и для себя

и для других, свойственно только варварам и сумасшедшим [Загоскин 1988а: 1, 539—540].

На этом фоне неудивительно, что обвинение русских в варварстве воспринимается как лицемерие:

…они покроют пеплом всю Россию и станут хвастаться своим великодушием; а если мы придем во Францию и будем вести себя смирнее, чем собственные их войска, то они и тогда не перестанут называть нас варварами [Загоскин 1988а: 1, 327].

Таким образом, военный конфликт между наполеоновской Францией и Российской империей в «Рославлеве» показан как преходящий и в принципе преодолимый: даже будучи врагами, «чужими», многие французы показаны честными и благородными людьми, способны вызывать уважение и порядочно вести себя с русскими противниками. Так, например, французский полковник и соперник Рославлева в любви граф Сеникур помогает Рославлеву и Зарецкому выбраться из занятой французами Москвы. Напротив, идеологическая позиция французов, которые объявляют русских варварами, вызывает у романиста серьезное неприятие.

2.4. «Русские полуфранцузы» как внутренние враги: галломания в романе «Рославлев»

Идеологическая опасность французского влияния, которая постоянно обсуждается в романе и других сочинениях Загоскина, состоит для писателя в том, что это влияние способно подрывать национальное чувство и подталкивать русских людей к измене. Особенно ясно это заметно в основанном на квази-документальных источниках эпизоде с купцом-предателем. В «Рославлеве» этот персонаж, под которым подразумевается Верещагин, выведен без упоминания имени. Его казнь не описывается, о ней лишь сообщает прохожий купец — объясняя героям причину давки на улице. Загоскин мог опираться на воспоминания Шаховского, которому, по его свидетельству, рассказывал о казни купца Верещагина граф Ростопчин. Также писатель мог использовать мемуары Поля де Сегюра, который тоже не был свидетелем события и повествовал о нем со слов все того же Ростопчина. Сегюр приводит красочный эпизод, явно защищающий честь московского градоначальника от обвинений в беззаконной жестокости:

Два человека: русский и француз… были вырваны из рук этой дикой орды. Их притащили к Ростопчину. Губернатор упрекнул русского в измене. Это был сын купца; его настигли в ту минуту, когда он призывал народ к бунту <…> В последний момент прибежал его отец. Можно было ожидать, конечно, что он вступится за своего сына. Но он потребовал

> его смерти. Губернатор разрешил ему переговорить с сыном и благословить его перед смертью. «Как! Чтобы я благословил изменника?» — вскричал он с яростью и тотчас же обернувшись к сыну, проклял его, сопровождая свои слова свирепым жестом. Это был сигнал к казни [Сегюр 2014: 224].

Загоскин использует в романе этот эпизод, совершенно перерабатывая его и сохраняя только отдельные мотивы. В романе у молодого купца (Верещагина) имеется приятель-француз, который передает ему прокламации Наполеона к московским жителям для перевода, но отца, проклинающего сына-предателя, Загоскин не упоминает. Купец Андрей Васьянович, который уличил Верещагина в измене, сокрушается: «Господи боже мой, до чего мы дожили! Русской купец — и, может быть, сын благочестивых родителей!..» [Загоскин 1988а: 1, 441-442]. Загоскин таким способом стремится подчеркнуть, что среди русских подобные случаи — исключение, и возникают они под «иноземным» влиянием. Неслучайно именно изменник повторяет «французские» слова о русском варварстве: «Пора, кажется, нам перестать быть варварами и хотя несколько походить на других европейцев» [Загоскин: 1, 440].

Из русских героев эту позицию воспринимают только не желающая поддерживать свою страну «космополитка» Радугина, а также мать Полины и безымянный предатель, тогда как и франкофил Зарецкий, и русофил Рославлев решительно совпадают в том, что обвинения в варварстве ни на чем не основаны — и оба храбро воюют с наполеоновскими войсками.

Судя по всему, столь резкое отношение Загоскина к идеологической стороне конфликта связано с тем, что презрительное отношение к России и русским, по его мнению, оказалось намного более устойчивым, чем противостояние на поле боя. В эпилоге романа действие происходит в 1818 г., и ни о какой войне не может быть и речи, однако упреки в «варварстве» продолжаются, причем воспроизводятся даже в России:

> …мы отдохнули, и русские полуфранцузы появились снова в обществах, начали бредить Парижем и добиваться почетного названия — обезьян вертлявого народа, который продолжал кричать по-прежнему, что мы варвары, а французы первая нация в свете; вероятно, потому, что русские сами сожгли Москву, а Париж остался целым [Загоскин 1988а: 1, 614].

Загоскин неоднократно декларировал в своих произведениях, что галломания и ее носители — русские «полуфранцузы» — главная беда России. Мотив русских «полуфранцузов» встречается на протяжении всего творчества Загоскина. Галломаны обоих полов комически представлены и в его комедиях («Комедия против комедии» 1815 г., «Богатонов в деревне» 1821 г., «Благородный театр» 1827 г., «Недовольные» 1835 г. и др.), и в романах. Но Загоскин показывает и опасную привлекательность галломании как части модного образа жизни. Так, в романе «Искуситель» рассказчик Александр Михайлович,

неопытный молодой человек, оказавшись впервые в губернском городе, завидует «модным» щеголям:

> Несколько расфранченных молодых людей, в сюртуках с петлицами, в венгерках, в модных фраках с узенькими фалдочками и высокими лифами, увивались около дам, они такими молодцами подходили к барышням, так ловко потчевали их шепталою, финиками и разными другими сластями, отпускали такие замысловатые комплименты **с примесью французских слов**, что **я не мог смотреть на них без зависти** [Загоскин 1838: 1, 83-84].

Один из приятелей главного героя, князь Двинский, описывается так:

> … московский природный князь, русский не русский, француз не француз, а так, существо какого-то среднего рода, впрочем, острый малый, избалованный женщинами повеса, большой шалун, но только самого хорошего тона [Загоскин 1838: 2, 3-4].

Однако в романе «Искуситель» и в поздних произведениях Загоскина галломаны представляют опасность уже не для русского национального характера, а для общественной нравственности, сама же галломания оказываются связанной с отсутствием здравого смысла и вкуса. В «Искусителе» галломания, пристрастие к французской литературе и философии, насмешка над русским патриотизмом представлены как прямое следствие влияния дьявола. Так, Двинский в «Искусителе» развращен дьявольским персонажем бароном Брокеном (который прямо называет русских варварами). Двинский строит козни против героя, оказывает знаки внимания его возлюбленной, а потерпев неудачу, раскрывает любовь Александра и Надины мужу Надины. В финале князь Двинский проигрывается в карты и стреляется.

Щеголиха Вертлюгина в романе «Кузьма Петрович Мирошев» мешает в своей речи русские и французские слова и выглядит нелепой и отчасти смешной, но и она оказывается носительницей зла. Будучи замужней дамой, она (тоже под влиянием модной французской литературы) влюбляется в молодого человека Владимира и пытается разлучить его с возлюбленной Софьей.

Такая трансформация мотива галломании в творчестве Загоскина, как нам представляется, может быть связана с особенностями его поздних романов: ни в «Искусителе», ни в «Мирошеве» он не обращается к изображению кризисных исторических эпох, и вопросы самоопределения нации отходят здесь на второй план.

Особое внимание галломании в среде дворян «средней руки» Загоскин уделяет в цикле очерков «Москва и москвичи», о чем будет сказано далее в главе четвертой диссертации.

Прямая связь между галломанией и нравственностью героев и общества в целом является прямым продолжением позиции «архаистов» и частью «архаистической» позиции самого Загоскина.

Однако такая трансформация образа врага — не только как военного, но и идеологического противника, была подкреплена актуальными событиями и обсуждением польского восстания во французской и русской прессе. Упреки в варварстве и нехватке просвещения, звучавшие из уст французских парламентариев и писателей и повторявшиеся некоторыми русскими оппозиционно настроенными литераторами, Загоскин вложил в уста как своих героев-французов, так и галломанов. По мнению писателя, военную агрессию всегда можно было преодолеть с помощью пробудившегося национального духа, однако «западная» пропаганда оказалась намного более опасной, подрывая основы патриотизма. Соответственно себя Загоскин воспринимал как защитника «исконных» русских ценностей, вынужденного вступить в решительную борьбу с французским влиянием и поддавшимися ему русскими.

ГЛАВА 3

ТВОРЧЕСТВО ЗАГОСКИНА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1830-Х — НАЧАЛА 1840-Х ГГ.: ПОИСК ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА И МОРАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ

В научной и в критической литературе Загоскин остается по преимуществу автором двух первых, наиболее успешных романов; более поздние его сочинения обычно трактуются как менее значительные и не заслуживающие особенного внимания[41]. Как писал еще Пушкин по поводу комедии «Недовольные» (1836): «Мы наскоро здесь упомянули о неудаче автора „Рославлева", дабы уж более не возвращаться к предмету, для нас неприятному» [Пушкин: 6; 237]. Между тем писатель продолжал творческую деятельность и в конце 1830-х, и в 1840-е гг., не просто воспроизводя удачные ходы и идеологемы из более ранних произведений, но и создавая новые.

Как мы покажем в этой главе, Загоскин отзывался на актуальные литературные и общественные события новой эпохи. Будучи участником московской светской жизни, Загоскин был несомненно в курсе роста оппозиционных настроений в среде московской аристократии, распространения новых форм кружкового общения, философских споров между представителями нарождающихся западничества и славянофильства. Об этом свидетельствуют, например, его скептические замечания о философии, высказанные в открытом письме к П. А. Корсакову, опубликованном в журнале «Маяк» (подробнее мы будем говорить о нем в параграфе 4.1). Перечисляя модных философов, ненужных, по мнению писателя, для «истинного христианина», Загоскин в числе прочих имен упоминает Гегеля [Загоскин 1840: 101]. Напомним, что в конце 1830-х гг. гегельянство как философская теория было распространено в России среди молодежи, например, членов кружка Станкевича и увлекло В. Г. Белинского, как раз переживавшего период «примирения с действительностью» [Чижевский 2007: 47–279]. Очевидно, что Загоскин был в курсе общего содержания «отчаянных споров нескольких ночей», в которых, по словам Герцена, «[л]юди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении „перехватывающего духа", принимали за обиды мнения об „абсолютной личности и о ее по себе бытии"» [Герцен 1956: 9; 18]. Конечно, Загоскин едва ли придавал большое значение конкретной трактовке «перехватывающего духа», однако трудно представить, чтобы Гегель попал в его рассуждение совершенно случайно.

---

[41] Разумеется, это замечание относится не ко всем исследованиям; см. ниже.

В качестве управляющего конторою Императорских Московских театров (с 1831 г.), а с 1837 по 1842 гг. — директора писатель волей-неволей должен был разбираться в непростых проблемах государственной политики в области идеологии, в том числе, в вопросах, связанных с цензурой, национальным и сословным составом публики, репрезентации народа и власти на сцене. Своими новыми произведениями, которые не снискали в публике такого успеха, как его первые исторические романы, Загоскин, как и раньше, пытался активно участвовать в общественполитических процессах своего времени. И здесь мы хотим начать с жанра, казалось бы, оставленного автором, а именно с комедии «Недовольные», которая занимает особое место в контексте второй половины 1830-х гг.

3.1. Загоскин-комедиограф. Зачем была написана комедия «Недовольные»?

Напомним, что Загоскин дебютировал в литературе достаточно поздно: ему было 26 лет, когда в 1815 г. была поставлена его первая пьеса «Комедия против комедии, или Урок волокитам». С первым же шагом на литературном поприще Загоскин обрел покровителя и друга в лице А. А. Шаховского, лично познакомился с А. С. Шишковым, стал посещать собрания «Беседы любителей русского слова» и примкнул к лагерю «архаистов». Причем первоначальное обращение Загоскина к Шаховскому в середине 1810-х гг. в некоторых исследованиях представляется делом случая, результатом неопытности автора и его незнания литературной среды [Круглый 1889; Аксаков 1966]. Однако верность Загоскина идеалам «архаизма», которую он хранил всю жизнь, не позволяют нам согласиться с тем, что обращение за покровительством к Шаховскому было случайным.

Почти пятнадцать лет своей творческой деятельности, вплоть до появления «Юрия Милославского», Загоскин писал комедии и водевили, не обращаясь к эпическим жанрам. Как драматург он работал практически в одном-двух жанрах: комедии мольеровского типа и водевиле — у него нет ни исторических драм, ни пьес, где бы были представлены иные сословия, кроме дворянского. Загоскин высмеивает франтов, галломанов и либералов и противопоставляет им идеальных героев-резонеров.

Комедии Загоскина 1815–1840 гг. с точки зрения поэтики и идеологии можно рассматривать как единый гипертекст. А. М. Песков даже представляет общую схему комедий Загоскина:

> Главная героиня — воспитанница, племянница или дочь богатого дворянина. Она любит — и взаимно — честного, умного и благородного юношу. Но ее отец (дядюшка) намерен выдать девушку за расчетливого негодяя или самонадеянного болтуна. Возлюбленным помогает родственник юноши или родственница девушки, служанка или старый друг отца

(дядюшки). Все кончается благополучно в пьесах Загоскина. Как сказано в развязке «Комедии против комедии», осмеянный повеса уходит, степенный молодой человек женится на своей любезной [Песков 1988: 15].

Песков также отмечает характер комического у Загоскина: в его комедиях

…нет сатиры или обличения. Он мастер забавного <…> высмеивает ветреников, проматывающих деньги, светских кокеток, недалеких провинциальных помещиков, барынь, пишущих стихи. Главные недостатки таких персонажей — неумеренность и нездравомыслие, характерное их желание — блистать [Песков 1988: 15].

Дебютная для Загоскина «Комедия против комедии, или Урок волокитам», написанная и поставленная в 1815 г., была направлена в защиту комедии Шаховского «Урок кокеткам или Липецкие воды». Современники видели в этом либо стремление «подольститься» к «властелину русской сцены», чтобы «пристроить» свою предыдущую комедию «Проказник», текст которой не сохранился [Сушков 1861: 244; Арапов 1854: 292], или искреннюю приверженность Загоскина идеям «архаизма» [Аксаков 1886: 256-257]. В предисловии к отдельному изданию комедии в начале 1816 г. автор утверждает, что «не держится никакой партии» [Загоскин 1898: VI, 3], но это не должно вводить в заблуждение: Загоскин первым своим текстом отчетливо примкнул к «архаистам», и это было искреннее движение, соответствующее его идеалам. В том, что Загоскин обратился к Шаховскому, не может быть случайности или только расчета на покровительство именитого драматурга. Д. А. Иванов в статье «Кто был автором „Комедии против комедии, или Урока волокитам?“» подробно разбирает творческую историю этого текста и окончательно снимает вопрос о возможном авторстве Шаховского, анализируя рукопись пьесы Загоскина, снабженную рукописными вставками Шаховского [Иванов 2007].

Впервые сомнение в авторстве Загоскина было высказано современником драматурга в статье «Мнение постороннего» в 46-м номере «Сына отечества». Автор комедии был объявлен «представителем» Шаховского, через которого тот мог «уверять» публику и осмеянного им Жуковского «в невинности своих намерений» [Арзамас 1994: 256]. Загоскин с негодованием ответил на это в предисловии к комедии:

Сочинитель сей жалкой статьи называет меня *представителем* и, как кажется, хочет дать почувствовать, что я есть не что иное, как орудие, употребляемое другим; что через меня делает кто-то другой какое-то торжественное отречение: одним словом, г. посторонний хочет сделать и меня *посторонним* во всем, что касается до моей комедии [Загоскин 1898: VI, 4].

Он утверждает, что «посторонний» сомневается не только в авторстве, но и в самом существовании Загоскина: «Есть такие догадливые люди, которые

уверяют, что не только я, но и даже и моя фамилия вымышлены», — и советует справиться об имени автора в дворянской родословной книге [Загоскин 1898: VI, 4]. Примечательно, что статья «Мнение постороннего» атрибутируется исследователями Ф. Ф. Вигелю [Арзамас 1994: 1, 534-535], который был родственником Загоскина и поддерживал с ним дружеские отношения на протяжении всей жизни. Так, по свидетельству Вигеля, в 1804–1805 гг. они, приехав в Петербург из Пензенской губернии, снимали вдвоем одну квартиру на Невском проспекте. К 1815 г. Вигель входил в круг «Арзамаса», а Загоскина «всегдашняя страсть его к театру сблизила с Шаховским» [Вигель 1891: 4, 162]:

> С родственником моим, Загоскиным, верно преданным Шаховскому, я не прерывал своих сношений; мы часто посещали друг друга. Я любил бесить его, позволяя себе нескромные шутки и повторяя все колкости, слышанные мною в кругу моих приятелей насчет его патрона. С своей стороны и он не слишком щадил сих последних и в нетерпении своем высказывал мне злые намерения наших противников. Таким образом, пламя раздора все более раздувалось, и с обеих сторон готовились к новым битвам. Передавая все слышанное мною дружескому обществу нашему, я в шутку сам прозвал себя его шпионом или лазутчиком, а там, в сердито-веселом расположении духа, находя это название слишком жестоким, перевели его на слово соглядатай. Роль поджигателя была очень веселая, не совсем уважения достойная, но как быть? Дело от безделья [Вигель 1891: 4, 167-168].

Следовательно, нельзя предположить, чтобы Вигель, если он действительно был автором статьи в «Сыне отечества», не знал о физическом существовании Загоскина. В «Мнении постороннего» ставится под сомнение функция авторства, самостоятельность в высказывании идей и их художественном воплощении, тогда как Загоскин видит в этом сомнение в его личности.

В дальнейшем авторство Загоскина не оспаривалось, однако рука Шаховского чувствуется в этой комедии не без оснований: Д.А. Иванов убедительно доказал с привлечением чернового автографа пьесы, что план ее придумал Шаховской, и он же правил написанный Загоскиным по этому плану текст [Иванов 2007].

В комедии, как и в большинстве комедий Загоскина, нет политической проблематики. Однако в одном эпизоде граф Фольгин советует молодому человеку, говоря на литературные темы, спорить о том, чего не знаешь, чтобы казаться умнее. В следующей (уже полностью самостоятельной) комедии Загоскина «Богатонов, или Провинциал в столице» этот же совет приобретает политическую окраску: «хвалите все иностранное, ругайте все русское». Персонажи-галломаны князь Блесткин и Мирославский утверждают, что о красоте архитектуры Петербурга может говорить только барин-домосед, который никогда не видел Парижа. Простоватые Богатонов и его жена, подпадающие под влияние такого мнения, показаны комически. Их оппонент резонер граф Владимилов высказывается патриотически, презирает «жалких модников, у которых, кроме их фамилии, нет ничего русского». Он саркастически говорит:

> Вы правы, князь! Как можно хвалить что-нибудь русское, как можно хвалить народ, который, под предводительством своего государя, освободил от ига всю Европу, которого каждый шаг был ознаменован победами; это было бы так натурально, и чем бы можно было тогда отличиться от обыкновенного человека? [Загоскин 1898: VI, 94].

Тут в сжатом виде присутствуют многие идеи, затем подробно разработанные Загоскиным в романе «Рославлев»: государь, по одному слову которого вся Россия поднялась против захватчика; миссия России в освобождении Европы от «ига»; мысль о том, что после этой победы Россия должна излечиться от галломании, и сожаление, что этого не случилось.

Начавший свою писательскую карьеру как комедиограф, Загоскин с 1829 г. и вплоть до своей смерти в 1852 г. писал почти исключительно прозу. Одним из немногих исключений явилась комедия «Недовольные» (1835), единственная общественная комедия Загоскина без любовной интриги в центре сюжета[42].

«Недовольные» (поставленная впервые в Москве 2 декабря 1835, в Петербурге — 15 мая 1836), в отличие от предшествующих комедий Загоскина, построена на обличительных мотивах. За исключением резонера Глинского, не принимающего активного участия в действии, в ней отсутствуют положительные персонажи. Все действующие лица так или иначе активно осуждают окружающее — а именно нравы и положение дел на «искусственных минеральных водах», среди посетителей которых и разворачивается действие. Казалось бы, Загоскин принимает эстафету «Горя от ума», но заметим сразу, что критические монологи героев пьесы очень далеки от монологов Чацкого: недовольство их скорее не политическое, а социально-бытовое и напоминает ироническое описание гостей салона Татьяны из восьмой главы «Евгения Онегина» (была опубликована в 1832 г.), где, как нам хотелось заметить, не вдаваясь подробнее в генезис, изображены типичные комедийные персонажи:

XXIV
Тут был однако цвет столицы,
И знать и моды образцы,
Везде встречаемые лицы,
Необходимые глупцы;
Тут были дамы пожилые
В чепцах и розах, с виду злые;
Тут было несколько девиц,
Не улыбающихся лиц;
Тут был посланник, говоривший
О государственных делах;
Тут был в душистых сединах
Старик, по-старому шутивший:

---

[42] История, связанная с созданием и постановкой этой комедии, была изложена нами в статье «Зачем была написана комедия Загоскина «Недовольные»?» [Ящук 2020].

Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

XXV

Тут был на эпиграммы падкий
На всё сердитый господин:
На чай хозяйский слишком сладкий,
На плоскость дам, на тон мужчин,
На толки про роман туманный,
На вензель, двум сестрицам данный,
На ложь журналов, на войну,
На снег и на свою жену [Пушкин: 4, 165].

В «Недовольных» поднимаются многие вопросы, в целом напоминающие рассуждения в «Рославлеве»: разговоры и споры вращаются вокруг галломании и просвещения, патриотизма и службы отечеству. Персонажи круга князя Радугина[43] называют патриотов «запоздалыми невеждами и ужасными староверами» [Загоскин 1889: VI, 601]; идеалом женщины для них оказывается та, в которой русского нет «ни крошки» [Загоскин 1889: VI, 598].

Камердинер Радугина Жохов хвастается, что поправил имение князя, разоренное приказчиком-иностранцем, однако в финале имение оказывается проданным за долги. Сын Радугина Владимир уволен со службы «за лень, а сверх того <…> за грубости и дерзкие слова» [Загоскин 1889: VI, 685]. Ему кажутся вздорными требования начальника присутствовать на службе и грамотно писать по-русски [Загоскин 1889: VI, 602], за это молодой человек называет его турецким пашою. Все русское оказывается для Владимира варварским, поскольку далеко от французского идеала. Герои мечтают уехать в Париж (что и происходит в финале) и совершенно не способны к службе. Князь Радугин «боится службы, как огня» [Загоскин 1889: VI, 649], но в полном соответствии с идеалами своей тещи Камской готов сделать министру «дружеское одолжение» и согласиться на должность его заместителя. В назначении Радугина товарищем министра Владимир и Запяткин видят только личную выгоду, открыто презирая «пользу государству» и «общее благо», которые можно принести на такой должности [Загоскин 1889: VI, 655]. Таковы в комедии «либералы», дискредитированные фигурами Владимира и Запяткина, связанными с франтовством, галломанией, карточной игрой, дуэлями.

Впрочем, «либерализм» в пьесе не ограничен молодым поколением: примерно то же говорят и «старики». Теща Радугина Камская — тип закоснелой московской старухи-барыни — называет себя русской и на этом основании бранит систему патентов и распространение грамоты в народе («Какие здесь науки? <…> Мы разве иностранцы?» [Загоскин 1889: VI, 590]). Ее идеал — это присвоение чинов согласно происхождению, на возражения Глинского она отвечает, что главное

[43] Характерно совпадение фамилии героя «Недовольных» и героини-галломанки Радугиной из «Рославлева».

в службе — это умение «потолкаться» и «нажить друзей» [Загоскин 1889: VI, 592]. Камской не нравится нарушение сословных рамок, когда «мещане лезут в господа, а господа идут в студенты» [Загоскин 1889: VI, 590]. Котомкин исповедует ту же идею, но «снизу»: он отказывается садиться, потому что «в приемной у вельможи» следует стоять; граф Мишурский и барон Турухтанов называют его подлецом за такое лизоблюдство [Загоскин 1889: VI, 675].

О губернском предводителе дворянства патриоте Глинском, который интересуется сельским хозяйством, князь Радугин раздраженно говорит, что он «ужасный агроном» (нетрудно опознать здесь реплику Репетилова из «Горя от ума»). Резонер Глинский спорит с Радугиными о просвещении и одинаково обличает и галломанию, и преклонение перед «стариной», говоря об их одинаковой слепоте по отношению к действительности и неспособности к общественной деятельности. «Полуфранцузская» молодежь, по Глинскому, способна только критиковать «непросвещенность» русских и неустройство русского общества: взяточничество, несправедливый суд и пр. Однако Франция не может служить примером для подражания: торжество «народных прав», которые на словах превозносит Владимир, приносит народу кровавые революции и политическую нестабильность, когда каждый «в глупой гордости зовет себя царем» [Загоскин 1889: VI, 616], а свобода слова и печати приводит к злословию и поруганию честных имен.

Еще одну крайность в отношении к иностранцам представляет граф Мишурский, который комически апеллирует к опыту войны 1812 года. Пусть французы «немножко русских поумней», но зато Россия может не считаться с Европой:

> Зато у нас ревизские есть души,
> Болота, степи и леса;
> В войне творим мы чудеса;
> Против чугунной русской груди
> Ничто не устоит — на что ж нам люди
> С умом и головой! [Загоскин 1889: VI, 646].

Отметим, что говорящая фамилия персонажа заставляет вспомнить другого галломана, князя Блесткина из комедии «Богатонов, или Провинциал в столице», и не позволяет всерьез отнестись к его речам.

Комедия «Недовольные» — своего рода сиквел «Горя от ума» — изображает московский мир, «фамусовское общество», где на одном полюсе — косное барство, а на другом — пустые молодые люди, либеральничающие на словах. Их всех объединяет галломания, но для автора обе эти категории персонажей одинаково непривлекательны. Белинский точно передал эту установку:

> Цель комедии г. Загоскина была — осмеять этих невежд, старых и молодых, знатных и незнатных, которые, не будучи ни на что способны и видя себя забытыми и неуважаемыми, обвиняют общественный порядок, находят все русское дурным, все иностранное хорошим, не зная хорошо

> ни того, ни другого; которые не замечают успехов цивилизации, просвещения и добра в своем отечестве; видя в нем хорошее, закрывают глаза, затыкают уши и молчат или перетолковывают дело наизнанку; видя дурное, кричат, что есть мочи [Белинский: 1, 389].

Однако далее критик высказался о комедии резко и однозначно: «Выполнение этой цели показалось нам неудовлетворительным».

Комедия Загоскина для 1835 г. выглядит архаично (через полгода уже появится «Ревизор» Гоголя), тем не менее, на нее откликнулись видные критики: Белинский в «Молве», В. Ф. Одоевский в «Московском наблюдателе», Н. А. Мельгунов в «Телескопе»; Пушкин оставил набросок своей рецензии на комедию незаконченным. Белинский отметил странную ориентацию Загоскина на грибоедовские характеры:

> Скажите, бога ради, что все это значит? Неужели это картина нашего высшего общества? Неужели эта картина снята с него после «Горе от ума», в 1835 году?.. Где видел г. Загоскин такие лица? <…> теперь он <Грибоедов. — *Е. Я.*> не написал бы «Горе от ума», но написал бы новую и верную картину настоящего общества и так же бы насмешил ею [Белинский: 1, 402],

— и дополнил эту характеристику нелестным разбором персонажей Загоскина:

> В Запяткине, задушевном друге Владимира Радугина, автор хотел представить что-то вроде Молчалина: это тот же подлец, только понаглее, а главная разница между ними та, что один живой портрет, а другой восковая фигура, без признака жизни и дурно слепленная. <…> Федосья Львовна Полканова, как две капли воды, похожа на г-жу Простакову Фонвизина [Белинский: 1, 403–404].

Об открытом подражании «Горю от ума» говорит и критик «Телескопа», с той лишь разницей, что возводит характер Запяткина к Загорецкому, а не к Молчалину [Мельгунов 1835: 82]. «Недовольные» насыщены цитатами из «Горя от ума», однако нельзя сказать, что характеры комедии Загоскина точно копируют характеры грибоедовской комедии. Так, черты Чацкого, прямые текстовые отсылки к его словам и репликам о нем отданы в «Недовольных» персонажам разных лагерей: и резонеру Глинскому, и его племяннику Лидину, который три года ухаживает за княжной (в этой сюжетной линии можно с некоторой натяжкой увидеть пародийную параллель к линии Чацкий — Софья), и псевдолибералу Владимиру. Характеристика Фамусова, данная Чацкому: «Не служит, то есть в том он пользы не находит, / Но захоти — так был бы деловой» [Грибоедов 1995: 47], — может быть отнесена и к общему мнению героев Загоскина о Владимире.

Подобно тому, как Фамусов перебивает монолог Чацкого репликой: «Что говорит! и говорит, как пишет!» [Грибоедов 1995: 37], у Загоскина Владимир

и Запяткин перебивают монолог резонера Глинского словами: «Да он поэт. — Он лирик, кажется» [Загоскин 1889: VI, 615]. Суждения героев Загоскина о благоустройстве Москвы буквально повторяют «Горе от ума»:

Скалозуб
По моему сужденью,
Пожар способствовал ей много к украшенью.

Фамусов
Не поминайте нам, уж мало ли крехтят!
С тех пор дороги, тротуары,
Дома и все на новый лад.

Чацкий
Дома новы, но предрассудки стары [Грибоедов 1995: 46-47].

У Загоскина:

Глинский
Ну, глядя на Москву, нельзя не подивиться!
Подумаешь, как все идет вперед:
Где грязь была, — сады там зеленеют,
Дома растут…
Анисья Дмитриевна
А люди все глупеют…

Владимир
И просвещенье не растет[Загоскин 1889: VI, 611].

Белинский утверждает, что на премьере зал был полон, а публика — благосклонна к автору [Белинский: 1, 398]. Однако по другим свидетельствам комедия не имела большого успеха [Аксаков 1966: 136; Мельгунов 1835: 102] и была прохладно встречена критиками, отмечавшими прежде всего неестественность характеров. Так, Пушкин в неопубликованной заметке писал:

> «Недовольные» в самом деле скучная, тяжелая пиеса, писанная довольно легкими стихами. Лица, выведенные на сцену, не смешны и не естественны. Нет ни одного комического положения, а разговор, пошлый и натянутый, не заставляет забывать отсутствие действия [Пушкин: 7, 325].

Белинский сравнивает персонажей с «куклами, пляшущими по ниткам» [Белинский: 1, 402]. Тем не менее, за полгода с декабря 1835 по июнь 1836 гг. комедия ставилась общим счетом десять раз на сценах Москвы и Санкт-Петербурга [ИРДТ: 3, 283], причем роль князя Радугина играл М. С. Щепкин.

В чем причина интенсивности постановок на сценах обеих столиц? Ответ, как мы думаем, кроется в явной ориентированности «Недовольных» на «Горе от ума» и ассоциативной связи Чацкого с П. Я. Чаадаевым. О последнем как

о прототипе Чацкого у Грибоедова начали говорить в 1823 г., когда «Горе от ума» стало известно в рукописи. Несмотря на то, что слух об осмеянии Чаадаева оказался ложным, его сближение с Чацким сохранилось в культурной памяти. Это еще до премьеры «Недовольных» послужило источником слухов о том, что новая пьеса Загоскина направлена против московской оппозиции вообще и против Чаадаева, в частности. Сам Чаадаев до постановки комедии, осенью 1835 г. писал А. И. Тургеневу:

> Говорят, что О<рлов Михаил Федорович> и я выведены в новой пьесе. Странная мысль сделать недовольного из О..., из этого светского человека, во всех отношениях счастливого, счастливого до фанатичности. А я, что я сделал, что я сказал такого, что могло бы послужить основанием к обвинению меня в оппозиции? [Чаадаев: 2, 95].

Письмо Чаадаева, который, как и Орлов, жил в это время в Москве под полицейским надзором, очевидно рассчитано на перлюстрацию. Чаадаев, конечно, был оппозиционером, а о «счастливом до фанатичности» Орлове Герцен вспоминал так: «Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала» [Герцен 1959: 8, 176].

Утверждение, что Чаадаев выведен в пьесе Загоскина в образах обоих Радугиных и что пьеса была заказана Загоскину Николаем I, стало общим местом в исследованиях (см. [Чаадаев 1959; Песков 1988; Михайлова 1979]), начиная с комментария Ю. Г. Оксмана к полному собранию сочинений Пушкина [Пушкин: 6, 520], однако наиболее подробно осветила этот сюжет Т. И. Усакина в статье 1963 г. «Памфлет М. Н. Загоскина на П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова».

По мнению исследовательницы, псевдолиберала Радугина сближают с Чаадаевым лицемерное желание служить ради общественного блага и потеря имения из-за долгов. Орлов же, согласно Усакиной, выведен в образе «глубокого эконома» барона Турухтанова, в образе которого видится сатира на сочинителя книги «О государственном кредите», а аналогия подчеркивается «птичьими» ассоциациями — прежде всего, с басней Д. В. Давыдова «Орлица, турухтан и тетерев» [Усакина 1963: 179]. Однако при более внимательном рассмотрении образ Турухтанова недостаточно конкретен, чтобы восприниматься как карикатура на Орлова. Такие герои не раз встречались в комедиях Загоскина (Ладов в комедии «Добрый малый» [1820], Волгин в комедии «Деревенский философ» [1822]). Это тип недалекого помещика, который стремится казаться знающим и просвещенным. Турухтанов и Волгин пишут «научные» труды, над которыми потешаются другие персонажи, Ладов собирает «древности», будучи не в состоянии отличить древнюю монету от современной. Подобный «коллекционер» есть и в романе «Тоска по родине» (1839): помещик Кукушкин собирает древности, но его коллекция целиком состоит из подделок. Басня же Давыдова 1804 г. не имеет никакого отношения ни к М. Ф. Орлову, ни к проблематике комедии Загоскина, а намекает на

убийство Павла I (см. комментарий В. Э. Вацуро к басне [Вацуро 1984: 195]). Намек на то, что «Недовольные» были заказаны Загоскину, содержится в эпиграмме Мельгунова, которая завершает его критический разбор комедии (статья подписана криптонимом, датирована 5 декабря 1835, но опубликована лишь 29 апреля 1836 г.):

> Оригинальным нас твореньем подарил
> Писатель на заказ: в стихах не гладких — школьных,
> На сцену мнимых он полсотни разместил,
> А в залу истинных пять тысяч Недовольных
> [Мельгунов 1835: 103].

Усакина утверждает, что министр императорского двора князь П. М. Волконский передал Загоскину приказ Николая и в переписке с автором интересовался успехом заказанной пьесы [Усакина 1963: 177]. Но обращение к переписке князя П. М. Волконского и Загоскина, опубликованной Н. В. Дризеном, не оставляет сомнений в том, что речь там идет о другом: Загоскин просит разрешения пожертвовать свой авторский гонорар за «Недовольных» в пользу экстернов школы Московского театра, по его словам, «более других имеющих надобность в сем пособии» [Дризен 1902: 143]. Министр удовлетворил просьбу Загоскина и в ответном письме интересовался успехом пьесы в связи с вопросом о пособии для экстернов. Усакина считает странным, что Загоскин, находящийся в бедственном финансовом положении, пожертвовал своим гонораром, и объясняет это попыткой примириться с неспокойной совестью [Усакина 1963: 176]. Но необходимо заметить, что с 1831 г., когда Загоскин занял место управляющего конторой московских театров, его до этого не очень надежное благосостояние значительно поправилось [Аксаков 1966; Круглый 1889].

Усакина ссылается на утверждение Герцена о том, что Загоскин уже выполнял подобное поручение Николая I, высмеяв графа Самойлова в одном из водевилей, название которого не указывается [Усакина 1963: 176; Герцен 1959: 58]. Единственный подходящий под описание водевиль — «Деревенский философ» (цензурное разрешение от 8 декабря 1822) — не содержит подобной сцены, однако его поэтика и круг тем близки «Недовольным». Нищий «философ» Ландышев притворяется, что хочет поступить на государственную службу, но он, как и герои «Недовольных», хочет служить для своего блага, а не для общественного [Загоскин 1889: VI, 415-417, 421], — однако в «Деревенском философе» это не связано ни с проблемой французского влияния на русское дворянство, ни с либерализмом.

В комедии, вопреки утверждениям Усакиной, нет и не может быть отсылок к первому «Философическому письму» Чаадаева: оно было опубликовано в 15-й книге «Телескопа» в октябре 1836 г., когда комедия Загоскина уже сошла со сцены. «Философические письма» создавались в 1828–1830 гг. и были распространены в списках, но они были написаны по-французски, которым Загоскин, по свидетельству С. Т. Аксакова, владел не очень свободно. К кругу, где были известны «Письма», Загоскин не принадлежал. В лучшем случае до

него могли дойти какие-то слухи и даже пересказы. И. Черный также считает, что Загоскин не мог изобразить Чаадаева в карикатурном виде: исследователь делает вывод на основании того, что современники описывали Загоскина как честного и прямого человека: написать подобный памфлет было бы не в его характере. Кроме того, Черный опирается на воспоминания сына писателя Сергея Михайловича, где он свидетельствует об отказе Загоскина сотрудничать с III Отделением и о том, что Загоскин и Чаадаев в конце 1830-х гг. полностью примирились [Черный 1989].

Вероятнее всего предположить, что замысел «Недовольных» приходится на середину 1820-х гг. — отсюда такая близость комедии к раннему водевилю самого Загоскина и к «Горю от ума». Искусственные кислые воды в Нескучном саду, фигурирующие в «Недовольных» как модное место для променада, были заведены профессором Московского университета Рейссом как раз в 1823 или 1824 г. и к середине 1830-х уже не могли быть модной новинкой [Рейсс 1855: 339]. Неожиданный анахронизм Загоскина может свидетельствовать о том, что он хотел написать пьесу о минеральных водах уже давно. Выбор подобного места действия ориентирован на комедию «Урок кокеткам, или Липецкие воды» ближайшего коллеги и учителя Загоскина А. А. Шаховского — опять же произведение совершенно другой эпохи. В 1835 г. Загоскин обращается к старому замыслу и пишет комедию в русле своего творчества 1820-х гг., по-видимому, с благотворительной целью — отдать свой авторской гонорар экстернам, а также с целью еще раз манифестировать свое «русское направление», как бы продолжив «Горе от ума» в новом десятилетии. «Недовольные» были направлены против «фамусовской Москвы», а не против Чаадаева, а ее автор в некотором роде сам оказался в роли оклеветанного московскими сплетниками Чацкого.

По всей видимости, старый замысел мог показаться Загоскину актуальным в новых исторических реалиях. Похоже, писатель пытался провести параллель между временами полемики с карамзинизмом и современностью. Это, как кажется, заявлено в образах молодых либералов. Юные «недовольные» (Владимир, Запяткин), нахватавшееся «модных» идей, бездумно рассуждает о том, что европейское «просвещение» губит русские обычаи:

Владимир
У нас свой собственный есть ум,
Свои обычаи, привычки, нравы,
Так надо их беречь;
Поверьте мне, все эти улучшенья
Пора бы нам пресечь,
И так нас губит просвещенье [Загоскин 1889: VI, 614].

Судя по этому фрагменту, Владимир оказывается не просто очередным «либералом»: его убеждения скрываются под видом приверженности обычаям российской старины. В хаотических рассуждениях Владимира виден определенный интерес к изучению «народных прав» [Загоскин 1889: VI, 616], а также

острая критика современной России: Владимир в сатирическом тоне высказывается по поводу России, где якобы никто не видал,

> Чтобы с просителей бесстыдно взятки брали;
> Чтоб кто-нибудь страдал невинно от суда [Загоскин 1889: VI, 616].

Характеристику героя дополняют его специфические взгляды на российскую историю. Владимир вскользь критикует поверхностное просвещение дворянства XVIII века, тем самым задевая и значимые и для Загоскина, и для российской политической культуры в целом петровские реформы:

> Владимир
> Да! наши старики
> Смешны. Они *надели* парики,
> В немецкие кафтаны нарядились,
> Обрили бороды, да только не умылись [Загоскин 1889: VI, 605].

Однако разговоры Владимира оказываются лишь прикрытием отсутствия патриотизма. Он говорит, что ему стоило большого труда «просветить» своего отца (по словам Запяткина — «ужасного либерала»), который с той же парадоксальной логикой выискивает и во «Франкфуртском журнале», и в «Северной пчеле» статьи, ругающие Россию.

Таким образом, Владимир — молодой человек, одновременно как будто любящий некоторые элементы допетровской русской старины и критикующий российское государство, в том числе, реформы Петра I. Эти убеждения не мешают ему поддерживать Запяткина, который ни в какой симпатии к России и старине не замечен.

Трудно однозначно установить, какие конкретные лица могли иметься в виду, однако можно сделать некоторые предположения. Резкая критика петровских реформ как насильственных и неорганичных для русского общества действительно была характерна для некоторых представителей московского общества середины 1830-х гг. О ней писал, например, П. Я. Чаадаев в «Апологии сумасшедшего», созданной в 1837 г., через год после комедии Загоскина:

> Но вот является новая школа. Больше не нужно Запада, надо разрушить создание Петра Великого, надо снова уйти в пустыню. Забыв о том, что сделал для нас Запад, не зная благодарности к великому человеку, который нас цивилизовал, и к Европе, которая нас обучила, они отвергают и Европу, и великого человека, и в пылу увлечения этот новоиспеченный патриотизм уже спешит провозгласить нас любимыми детьми Востока. Какая нам нужда, говорят они, искать просвещения у народов Запада? [Чаадаев 1991: 1, 530].

Исследователям не удалось установить, кого имел в виду Чаадаев. Некоторые намеки, однако, можно видеть в характеристике этой позиции как «новой школы». Характеристика явно перекликается с загоскинскими образами:

комедиограф изображает своих «либералов» молодыми людьми. Скептическое, а подчас и отрицательное отношение к петровским реформам будет, как известно, характерно для классического славянофильства, сложившегося в конце 1830-х гг., через несколько лет после написания комедии Загоскина. Можно вспомнить известное письмо Т. Н. Грановского Н. В. Станкевичу от 27 ноября 1839 г., где давалась следующая характеристика братьев Киреевских и, судя по контексту, А. С. Хомякова:

> Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия. Главные их положения: запад сгнил, и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром, — мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость человеческая истощена в творении св. отцов греческой церкви, писавших после отделения от западной [Грановский 1897: 2, 370].

Хотя к моменту создания комедии Загоскина классическое славянофильство еще не оформилось ни как последовательная доктрина, ни как сообщество единомышленников, можно предположить, что будущие славянофилы уже высказывали некоторые свои идеи. Более того, именно в этот период их кружок в принципе не был отделен от западнического. Характеристика этого этапа развития славянофильского движения дана в воспоминаниях Панаева:

> Белинский был некогда довольно короток в доме Аксаковых, но перед моим приездом в Москву между им и этим семейством произошло какое-то недоразумение, размолвка. Белинский говорил мне, что его не совсем жалует г-жа Аксакова и не очень приятно смотрит на его дружбу с Константином. <…> Славянофилизм только еще зарождался тогда, и Константин Аксаков стоял на полдороге между «Московским наблюдателем» Белинского, в котором он принимал участие, и между «Москвитянином» Шевырева и Погодина, на который он начинал смотреть с участием...
>
> Единственною нитью, соединявшею К. Аксакова с Белинским и его друзьями, была философия Гегеля, которая имела большое влияние на Аксакова, и общий взгляд их на искусство с точки зрения этой философии. Впоследствии, когда уже не исключительно одно искусство, а и общественные вопросы стали занимать литературу, когда образовались славянофильская и западная партии, Константин Аксаков совершенно и окончательно разошелся с Белинским. Они очутились в двух враждебных лагерях... [Панаев 1988: 181-182].

Непосредственно после этого эпизода, относящегося, видимо, к концу 1830-х гг., следует и описание знакомства с Загоскиным. Панаев познакомился с автором «Юрия Милославского» именно в доме Аксаковых и отзывается о писателе следующим образом:

> Если кто-нибудь не соглашался с его убеждением и оспоривал его, он выходил из себя: черные глаза его сверкали из-под очков и наливались кровью, он топал ножками, размахивал руками и отпускал такие словца, которые можно только слышать на улице... Новых идей, проповедываемых молодежью, он терпеть не мог. «Поверь мне, милый, все это чепуха, — говорил он К. Аксакову, — завиральные идеи, взятые из вашей немецкой философии, которая, по-моему, и выеденного яйца не стоит... Русский человек и без немцев обойдется. То, что русскому человеку здорово, — немцу смерть. Чорт с ним, с этим европеизмом, чтоб ему провалиться сквозь землю! Тебя, Константин, я люблю за то, что ты привязан к матушке святой Руси. Эта привязанность вкоренилась в тебя потому, что ты воспитывался в честном, хорошем дворянском семействе, — ну, а уж твои приятели... Этих бы господ я...» Загоскин останавливался, сжимал руку в кулак и принимал энергическое выражение...
> Загоскин разумел под приятелями Аксакова в особенности Белинского, которого он сильно недолюбливал [Панаев 1988: 185-186].

Подобные высказывания Загоскина могли дать основание для слухов о том, что комедия «Недовольные» была направлена против «нового» поколения, но ее персонажей никак нельзя расценивать как карикатуру на конкретных лиц.

В исторических романах Загоскина поднимались проблемы исторических кризисов, через которые нация проходит изредка. Напротив, комедии писателя посвящены исключительно частной жизни отдельных людей. Тем не менее, в пьесе «Недовольные» реализовались те же принципиальные идеологические проблемы, которые были характерны и для исторической прозы романиста: распространение в России западных идей, их разрушительное влияние, необходимость христианской религии и патриотизма для русского человека. В новую историческую эпоху этот жанр позволял Загоскину высказываться о некоторых принципиальных для него проблемах, с которыми писатель сталкивался в московском обществе. К схожим ситуациям Загоскин обратился и в своей прозе.

3.2. «Искуситель» как общественно-политический роман

Роман «Искуситель», вышедший в 1838 году, на первый взгляд, отличается от предшествующих ему исторических романов автора: в нем не описываются важные для русской государственности исторические события, сюжет больше соответствует роману воспитания и содержит фантастическую линию. Однако при более внимательном прочтении становится очевидно, что «Искуситель» опирается на те же идеи и принципы, что и предыдущие произведения. Обращаясь к новой теме и отчасти к новой жанровой форме, Загоскин остается верен своим идеологическим принципам, которые стремился реализовать и в других произведениях.

Биограф Загоскина А. О. Круглый связывает замысел романа с перепиской писателя с братом о религиозных вопросах, которая завязалась в 1838 г. [Круглый 1889: 78–83]; однако отрывок «Граф Калиостро» с указанием «из второй части романа «Искуситель»» был опубликован в 7-м томе журнала «Современник» за 1837 г., а цензурное разрешение на отдельное издание романа было получено в марте 1838 г.

Об «Искусителе» существует расхожее мнение, что этот роман слаб в литературном отношении и потому был плохо воспринят публикой. Так, А. М. Песков утверждает, что «Искуситель» и последующий за ним роман «Тоска по родине» (1839) «были расценены публикой как явные провалы Загоскина» [Песков 1992: 305]. В предисловии к двухтомному изданию сочинений Загоскина исследователь называет причину:

> …нелюбовь к «отвлеченным умствованиям» и «мудрованиям западных философов» во всех случаях, когда Загоскин претендовал на проповедь здоровой религиозности, нерассуждающего патриотизма и верности престолу, приводила его к художественным неудачам [Песков 1988: 27].

С. Т. Аксаков в «Биографии М. Н. Загоскина» 1852 г. высказывается о романе резко: «Суд образованной публики и суд литературный признали „Искусителя" самым слабым сочинением Загоскина, с чем автор сам соглашался» [Аксаков 1852: 33]. По-видимому, представление о полном провале романа и берет начало из этого свидетельства Аксакова. Однако Аксаков считал слабыми только вторую и третью части произведения, действие которых происходит в Москве: «Все светские лица — лица не русские, лишены жизни и действительности» [Аксаков 1852: 33]. О первой части романа, действие которой происходит в провинции, Аксаков говорит, что она написана «просто, живо, тепло и увлекательно», а заключает отзыв о романе мнением о том, что талант Загоскина заключался в изображении «русских лиц» и что светские сцены и фантастические сюжеты ему не давались [Аксаков 1852: 34].

Именно похвала первой, «провинциальной», части романа (а не оценка произведения в целом как слабого) была общим местом прижизненных отзывов. Круглый упоминает письмо Крылова к Загоскину от 1 ноября 1838 г.: «Я слышу чудеса о вашем новом романе „Искусителе", но не видел еще его и уверен, что прочту с большим удовольствием» [Крылов 1838: 315]. И действительно, первые критические отзывы о романе были очень доброжелательными.

Первый отзыв был опубликован в «Северной пчеле» 26 октября 1838 г. Он принадлежит Ф. В. Булгарину, когда-то критиковавшему «Юрия Милославского», а теперь назвавшему «Искуситель» превосходным романом «современных нравов». Критик отмечает драматический талант автора и называет Загоскина лучшим русским писателем в передаче простонародного языка [Булгарин 1838: 967]. Булгарин подробно разбирает сюжет романа, дает характеристику основным персонажам и обращает внимание на важнейший мотив — влияния литературы на нравственность. Про первую часть «Иску-

сителя» Булгарин говорит, что она «так хороша, что едва ли у нас есть что-либо лучшее в этом роде», это «национальная картинная галерея оригинальных портретов и народных сцен», где «святая Русь изображена во всей красе» [Булгарин 1838: 967]. Также Булгарин положительно отзывается об эпизоде с Румянцевым, который хотя и уводит в сторону от сюжета, но «драгоценен для русского сердца» [Булгарин 1838: 967]. Позже «Северная пчела» поместила на своих страницах несколько отрывков из романа Загоскина.

«Библиотека для чтения» опубликовала положительный отзыв на роман, говоря, что вся Россия уже читает «Искусителя». Критик отмечает «всегда свежее, всегда пленительное перо Загоскина» [БДЧ 1838: 14], и в качестве примера в журнале приводится целиком сцена спора губернатора и Двинского о природе звезд из первой части романа.

Критик «Современника» более строг к роману. Он отмечает живость, занимательность и красочность «Искусителя», но утверждает, что нравоописательный роман, в отличие от исторического, не терпит ни вымысла, ни даже «правдоподобия» в языке, которые допускает Загоскин в речах простонародных персонажей: «желая вполне схватить все характеристическое в простонародном разговоре, сочинитель переходит границы и добавляет сочиненными фразами подлинные речи действующих лиц» [Современник 1838: 63-64]. Роману, по мнению критика «Современника», вредит увлечение автора «изысканностью в образовании игривых выражений» [Современник 1838: 64], но примеров таких выражений критик не приводит.

В. Г. Белинский отозвался на роман Загоскина спустя несколько месяцев после его выхода в анонимной рецензии в журнале «Московский наблюдатель». Как и упомянутые критики, Белинский отмечает занимательность действия и особенный талант автора в изображении русских сцен:

> Мы <...> нашли <в романе «Искуситель»> ту же теплоту чувства, ту же живописность и увлекательность рассказа, тот же одушевленный, плавный, текучий слог и ту же горячую любовь ко всему русскому, и то же умение верно изображать русскую жизнь [Белинский: 3, 23].

Белинский сходится во мнении с Булгариным в том, что в изображении картин русского быта Загоскину нет равных. Как и впоследствии Аксаков, Белинский отмечает чуждость «сферы фантастического» для Загоскина, однако не утверждает, что «светские» части романа показались ему слабее «провинциальных»: «сила его <Загоскина. — *Е. Я.*> дарования восторжествовала и тут, и очарование рассказа велико» [Белинский: 3, 23].

В одно время с Белинским, в январе 1839 г., упомянули «Искусителя» и в журнале «Отечественные записки» в обзоре литературы за 1838 г. Критик утверждает, что «роман читается с трудом», потому что это не собственно роман, а «собрание сцен, более или менее занимательных, более или менее верных действительности, связанных между собой похождениями какого-то Александра Михайловича и часто выставленных вовсе без всякого отношения

к ходу главного дела» [ОЗ 1839: 19]. Критик отмечает «чистый, правильный русский язык и плавный рассказ», но находит эти же достоинства в прозе Вельтмана [ОЗ 1839: 19].

Таким образом, вопреки мнению Белинского, закрепленного исследователями, роман «Искуситель» воспринимался современниками как, в целом, скорее удачное произведение. Особенный интерес у критики вызвали нравоописательные провинциальные сцены. Как мы покажем далее, именно в них Загоскин создает специфический образ русского дворянства, который мог казаться актуальным для эпохи создания романа.

3.2.1. Идиллический мир дворянской усадьбы в романе «Искуситель»

«Святая Русь, изображенная во всей красе», по словам Булгарина, предстает перед читателем в первой части романа, где показано детство и отрочество главного героя, проведенное в провинции. Это, по Загоскину, идеальный мир русского дворянства.

В исследовательской традиции имеется множество работ по «усадебному мифу» [Щукин 1997, Дмитриева, Купцова 2008, Летягин 1998] или даже «усадебному тексту» [Гриневич 2018, Богданова 2019] русской литературы, но основная масса трудов посвящена анализу магистральных произведений Толстого, Гончарова, Тургенева, Бунина, Шмелева. Среди монографических исследований выделим книгу Е. И. Ляпушкиной [Ляпушкина 1996], диссертации Н. Л. Вершининой [Вершинина 1997] и Н. П. Плечовой [Плечова 2007]. В монографии Эндрю Вахтеля *The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth* [Wachtel 1990] рассмотрены образ ребенка и детства в русской литературе, но опять-таки второй половины XIX — начала XX в., — в творчестве Толстого, С. Т. Аксакова, Бунина, Андрея Белого, Максима Горького. Вахтель обращает внимание на миф о так называемом «золотом дворянском детстве», который в той или иной степени присутствует в произведениях русских классиков. Однако традиция изображения усадьбы в русской литературе — и особенно счастливого детства и взросления — представляется нам более долгой и более сложной.

Исток этой темы, как показала Е. А. Краснощекова [Краснощекова 2010], следует искать в текстах Карамзина и Пушкина. Пути развития «идиллической модальности» отчасти продемонстрировала и Плечова в своей диссертации «Идиллия в русской прозе 1840–1850-х годов» [Плечова 2007]. Кроме того, Плечова касается важного вопроса «о неравнозначности роли идиллии в составе текстов классического и беллетристического уровней». Исследовательница фокусирует свое внимание на писателях 1840–1850-х гг., но для нас особенно ценны ее более ранние примеры: роман Д. Н. Бегичева «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян» (1830–1832), повести Н. А. Полевого «Эмма» (1834), «Дурочка»

(1839), повесть В. А. Соллогуба «Сережа» (1838) [Плечова 2013]. Мы хотели бы дополнить эту картину, обрисованную исследователями, примером романа Загоскина «Искуситель», вобравшим в себя многие важные черты сентиментальной традиции романа воспитания и оказавшим, как мы думаем, влияние и на дальнейшее развитие идиллического топоса дворянской усадьбы в русской литературе.

Усадебная жизнь описывается в романе Загоскина шестидесятилетним рассказчиком. Историю своей жизни он рассказывает своей жене, и поэтому читатель заранее знает, что финал будет счастливым. Александр Михайлович вспоминает их общее детство, старается зафиксировать свои детские переживания и реконструировать детский взгляд на мир.

В этом изображении счастливого детства, проведенного в усадьбе, Загоскин наряду с Карамзиным («Рыцарь нашего времени») и Пушкиным («Капитанская дочка») был одним из зачинателей идиллической трактовки усадебного мира. В описании детства Александра Михайловича нельзя не увидеть мотивов, которые будут затем развиты при описании усадебной идиллии Гончаровым в «Обыкновенной истории» и «Сне Обломова», Аксаковым в «Детских годах Багрова-внука», Толстым в «Детстве». Кроме того, в описании усадебного детства в романе «Искуситель» отмечают и автобиографические мотивы [Круглый 1889: 76; Гришина 2015].

Главный герой романа, Александр, обладает природным чувством прекрасного, и его душа, в соответствии с идеями Руссо, чиста от природы: «Очень странно, что в те годы, когда мы еще не имеем никакого понятия об изящном, прекрасный вид возбуждал во мне всегда неизъяснимое чувство удовольствия» [Загоскин 1838: 1, 24]. Описание детства Александра отчасти совпадает с детством Леона, героя повести Карамзина «Рыцарь нашего времени». Так, у Карамзина о родителях героя говорится:

> Отец Леонов был русский коренной дворянин, израненный отставной капитан, человек лет в пятьдесят, ни богатый, ни убогий, и — что всего важнее — самый добрый человек; однако ж нимало не сходный характером с известным дядею Тристрама Шанди — добрый по-своему и на русскую стать. После турецких и шведских кампаний возвратившись на свою родину, он вздумал жениться — то есть не совсем вовремя — и женился на двадцатилетней красавице, дочери самого ближнего соседа… [Карамзин 1964: 1, 756].

А вот как описывает Загоскин судьбу опекуна Александра Михайловича:

> Иван Степанович Белозерский вступил в службу в достопамятный год Чесменской битвы и знаменитой победы под Кагулом. Он служил в гвардии. На двадцать девятом году влюбился в сестру своего начальника, милую, добрую и прекрасную девушку [Загоскин 1838: 1, 8].

Однако несмотря на сходство, на общие мотивы счастливого детства и раннего сиротства, важно подчеркнуть различие между матерью Леона, героя Карамзина, и Авдотьей Михайловной, заменившей мать герою Загоскина. Леон глубоко переживает смерть горячо им любимой матери, а Александр Михайлович своих родителей и своего сиротства не помнит. Мать Леона, образец карамзинского «чувствительного человека», «имела удивительную склонность к меланхолии, так что целые дни могла просиживать в глубокой задумчивости». Именно мать повлияла на Леона в первые годы его жизни, и это женское влияние было скорее эмоциональным, способствующим «воспитанию души»: «Любовь питала, согревала, тешила, веселила его; была первым впечатлением его души, первою краскою, первою чертою на белом листе ее чувствительности» [Карамзин 1964: 1, 759]. Загоскин же подчеркивает, что излишняя чувствительность, свойственная и опекунше Александра Михайловича, «укрощалась» в ней верой. Сильные страсти, которые автор резко осуждает за эгоизм, не были ей свойственны:

> Кроткая душа Авдотьи Михайловны — так звали жену Белозерского — не знала ненависти, а теплая вера укрощала чрезмерную чувствительность, к которой она была способна. Когда Господь посещал ее горестью, она молилась, и скорбь ее никогда не переходила в отчаяние; ощущая необычайную радость, она спешила благодарить Бога, и сердце ее облегчалось. Конечно, и она была не всегда одинаково весела и довольна; но ее никогда не покидали этот душевный мир и спокойствие, столь же мало похожие на холодный эгоизм, сколь мало походит стоячая вода грязного пруда на светлые струи ручья… [Загоскин 1838: 1, 13-14].

Герой романа «Искуситель», сохранив, по образцу приемных родителей, душевную чистоту, не знал сильных страстей и не имел «прививки» от них.

Прежде чем обратиться к идиллическому миру усадьбы Белозерских в описании Загоскина, напомним наиболее существенные черты идиллического хронотопа, которые выделил М. М. Бахтин. Первая из них — особое переживание времени и пространства:

> Идиллическая жизнь неотделима от конкретного пространственного уголка, где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки. Пространственный мирок этот ограничен и довлеет себе, не связан существенно с другими местами, с остальным миром. <...> Единство места жизни поколений ослабляет и смягчает все временные грани между индивидуальными жизнями и между различными фазами одной и той же жизни. <…> Это определяемое единством места смягчение всех граней времени существенно содействует и созданию характерной для идиллии циклической ритмичности времени [Бахтин 1975: 374].

Загоскин рисует как раз такой замкнутый усадебный мир. Подробнее, чем до него Карамзин и Пушкин, автор «Искусителя» описывает раннее детство и реконструирует детский взгляд на мир. Так, показателен эпизод ночного

похода детей в лес. Мир маленького Саши ограничен усадьбой, и он не знает, что находится за его границами и какие там живут люди: «Уж верно, — думал я, — за этим лесом должны быть большие диковинки? И что за люди там живут? Там и солнышко ночует — куда должно быть им весело!» [Загоскин 1838: 1, 23-24]. Мотив темного леса, который «беспокоит и тревожит любопытство» главного героя в романе Загоскина, восходит к просветительской литературе XVIII века:

> Густой лес, с теряющимися тропинками, таящий опасность, а иногда дающий убежище, — традиционная аллегория жизненного странствования по путям заблуждений, где надежным путеводителем является лишь добродетель и вера в Провидение [Вацуро 2002: 131].

Ночной поход в лес детей, которым любопытно посмотреть, как на одинокой могиле теплится по ночам огонек, таким образом, предвосхищает основной сюжет романа, где невинный герой, проявляя любопытство к сверхъестественному, едва не сбивается с истинного пути.

Не зная ничего, кроме усадьбы, герой чувствует, однако, что мир велик, и стремится его узнать. Этим усадебная идиллия, изображенная Загоскиным, отличается от идиллии, созданной потом И. А. Гончаровым в «Сне Обломова»:

> Они знали, что в восьмидесяти верстах от них была «губерния», то есть губернский город, но редкие езжали туда; потом знали, что подальше, там, Саратов или Нижний; слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами; там следовал мрак — и наконец все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю [Гончаров 1998: 103–104].

У Загоскина мир не столь замкнут — юные герои посещают губернский город и набираются там новых впечатлений. Различие состоит и в стремлении проникнуть за пределы замкнутого мира усадьбы, а не отгородиться от внешнего мира, — и в носителе этого представления о мире: у Загоскина это ребенок, у Гончарова наивный, «детский» взгляд — черта всех обломовцев.

Ребенок у Загоскина вырастает в такого же невинного и доверчивого юношу: Александр удивляется, слыша, что дочь его воспитателя ему не родная сестра и, следовательно, может быть его невестой. Шестнадцатилетний Александр Михайлович по-детски совершенно верит всем старшим без разбору, что потом и приводит его под влияние демонического барона Брокена. Однако это, по Загоскину, одно из лучших качеств поколения его героя, которого лишено молодое поколение «XIX века»: «Молодые люди — юноши девятнадцатого столетия! Поверьте старику, который, несмотря на то что принадлежит к прошедшему веку, не менее вашего ненавидит невежество и радуется успехам просвещения, — не торопитесь жить, оставайтесь подолее

детьми!» [Загоскин 1838: 1, 88-89]. Мотив ребенка как идеального человеческого существа, конечно, связан с евангельским мотивом: «Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф: 19, 14).

Мотив детства вообще очень важен в романе. Загоскин прямо связывает детскую невинность с счастьем: «одни только дети или те, которые походят на детей, могут называться счастливыми» (ср.: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» — Мф: 18, 13), но отказывается так же прямо судить о влиянии на счастье образования и просвещения. Напомним, что роман написан от лица уже постаревшего Александра Михайловича, но в начальных «детских» главах романа он воспроизводит и детские оценки личностей других персонажей.

Для раскрытия темы детства значим мотив любви брата и сестры, который раскрывается в случайно подслушанном Александром на ярмарке разговоре. Сидевшие рядом с ним барыни говорили о нем и Маше:

> Да это сущий разврат, мальчик взрослый, девочка также почти невеста, чужие меж собой — и допустить такое обращение!.. А все интерес! Посмотришь на них: точно родные брат и сестра. Я сама видела — целуются… фуй, какая гадость! [Загоскин 1838: 1, 99].

Загоскин переворачивает сюжет «Острова Борнгольм» Карамзина, и вместо истории о преступной кровосмесительной любви получается история родственной любви двух невинных детей, за которой не стоит никакого преступления и для которой нет никаких формальных препятствий. Идеал патриархальной — семейной и общественной — жизни, описанный в главах, посвященных детству, главный герой пронес через всю жизнь, и его счастливая жизнь с Машенькой повторяет счастливую жизнь его опекунов.

Этот мир идеален не только потому, что связан с детством. Это мир социальной гармонии, где помещики и крестьяне живут в мире и согласии. Опекун главного героя заботится о благосостоянии своих крестьян и пользуется их любовью:

> Он занялся благосостоянием своих поселян, и хотя соседние дворяне называли его **плохим экономом**, потому что он думал о выгодах своих крестьян столько же, сколько о своих собственных, но, несмотря на это, доходы его с каждым годом умножались, мужички богатели, и, начиная от барского двора до последней избы, от помещика до крестьянина, везде благодарили Господа, и все жили припеваючи. «Чудное дело, — толковали меж собой соседи, — этот Белозерский вовсе не радеет о своей пользе, а все так-то ему в руку идет!» [Загоскин 1838: 1, 9].

В описании хозяйственной деятельности Белозерского слышится аллюзия на «Евгения Онегина» Пушкина, где главный герой «был глубокий эконом/ То есть умел судить о том, / Как государство богатеет», не встречая понимания своего отца и соседей, когда «ярем он барщины старинной / Оброком легким заменил [Пушкин: 4, 36].

В «Искусителе» «непросвещенные» соседи Белозерского все же не подвергаются осуждению. Так, например, Загоскин с иронией пишет о «чванстве родового дворянина» Двинского:

> Отличительной чертою его характера было необычайное добродушие, с некоторой примесью спеси, или, лучше сказать, чванства родового дворянина, у которого две тысячи душ крестьян, псовая охота, хор певчих и огромная роговая музыка [Загоскин 1838: 1, 54].

Однако эта авторская характеристика тут же смягчается упоминанием о простосердечии и доброте Двинского. Несмотря на крепостной хор, роговой оркестр, огромное состояние и участие в подавлении народного восстания (также весьма патриархальным способом, о котором мы упоминали выше), Двинский представляется не крепостником, а старым добрым русском барином:

> …эта слабость <чванство> была в нем извинительна, он с таким простосердечием хвастался своим древним родом и богатыми поместьями, что, право, грешно бы было не только на него досадовать, но даже посмеяться над его невинным чванством [Загоскин 1838: 1; 54-55].

Очевидно, оценки личностей персонажей следует отнести именно за счет «детской» точки зрения, которая затем переходит в точку зрения старика, с ностальгией вспоминающего детские годы. Так, «лучшие люди» губернии, губернатор и его сестра, «не учены». Губернатор может быть груб с посетителями («если проситель изъяснялся не толковито или говорил слишком протяжно, то он отсылал его к секретарю или просто выталкивал вон из своего кабинета» [Загоскин 1838: 1, 62]), его гнева боятся подчиненные («подымал такой штурм, что не только присутствующие в нижних инстанциях, но и в высших местах месяца по два сряду дрожкой дрожали и ходили все по струнке» [Загоскин 1838: 1, 62]), но его самого порой обманывает собственный секретарь. Однако образ губернатора в романе Загоскина далек от сатиры; как во многих симпатичных ему персонажах, автор подчеркивает в нем доброту и «простодушие». Подобным образом описывается и сестра губернатора: «Марья Степановна <…> слыла предоброю старушкою, не пропускала ни одной службы, помогала бедным» [Загоскин 1838: 1, 62]. Хотя здесь характеристика не безусловна: не ясно, она *была* добра или только *слыла* доброй; говорится также, что «предобрая старушка» была большая сплетница: «любила знать все, что делается в городе, и, сверх того, была большая мастерица раскладывать гранпасьянс и считать года всех невест, которые позасиделись в девках» [Загоскин 1838: 1, 62].

А. А. Григорьев беспощадно отзывался о такой манере Загоскина изображать русскую старину: «фамусовское благоговение перед всем существующим — даже до кулака, восторженное умиление перед теми сторонами старого быта, которые были недавно и правдиво казнены великим народным комиком Грибоедовым» [Григорьев 1980: 210-211]. Однако Загоскин вполне сознательно

отказывается от прямой сатиры, стараясь утвердить свой идеал патриархальной жизни. Этот идеальный мир не лишен недостатков — там есть глупые, трусливые, сплетники, чванливые, щеголи — они составляют, по словам Булгарина, «национальную картинную галерею оригинальных портретов и народных сцен» [Булгарин 1838: 967], а их простодушие и набожность как раз и раздражали современных Загоскину критиков, но для самого автора недостатки не перекрывали достоинств.

Загоскин в конце 1830-х гг. был писателем, которого читали буквально все. Хотя его слава исторического романиста и писателя первой величины быстро проходила, но его произведения «спускались в детскую». Многие черты изображения дворянской усадьбы вошли в общий багаж, нарабатывавшийся литературной традиции, из которого потом черпали Толстой[44] и Гончаров, и творчество Загоскина было в ней важным этапом становления путей изображения идиллической усадьбы в русской литературе.

3.2.2. «Искуситель» как «русский Фауст»

Основную часть романа все-таки составляют приключения героя в Москве. Этому испытанию (искусу) подверг его опекун, чтобы юноша лучше узнал свой характер и свои чувства.

Искушение, которому подвергается Александр в столице, носит сверхъестественный характер, и герой на первых же страницах прямо говорит, что в лице барона Брокена[45] имел дело с дьяволом: «…он точно был демон, но, разумеется, нашего века: не с хвостом и рогами, а одетый по последней моде, остроумный, насмешливый, точь-в-точь такой, какого навязал себе на шею чернокнижник Фауст» [Загоскин 1838: 1, 6]. Однако важно подчеркнуть различие: Фауст Гете осознанно идет на сделку с дьяволом от жажды познания, желая узнать тайны, недоступные смертному, герой же Загоскина делает это случайно, повинуясь любопытству. Он сам вызывает дьявола, а способ вызова узнает от магистра Дерптского университета Нейгофа (едва ли случайно для Загоскина «западное» происхождение сатанинского влияния), который в свою очередь узнал тайну от графа Калиостро.

Интересен образ Калиостро в романе. К его анализу обращались М. Я. Вайскопф и Е. Д. Толстая, сопоставляя мотив дьявола, посетившего Москву, в «Искусителе» Загоскина и «Мастере и Маргарите» Булгакова [Вайскопф, Толстая 1994; Вайскопф 2003]. В романе Загоскина Александр и Двинский (чью характеристику — «московский природный князь, русский не русский, француз не француз, а так, существо какого-то среднего рода» — мы уже

---

[44] В случае с Толстым — и многие черты изображения войны 1812 г. [Щеблыкин 1975].

[45] В имени Брокен Загоскин явно обыгрывает название горной вершины в Германии Броккен, на которой по преданиям проходил шабаш ведьм в Вальпургиеву ночь.

приводили, это типичный персонаж Загоскина) считают Калиостро шарлатаном в одном ряду с Месмером и Сен-Жерменом. Их разговор разворачивается в духе «вечерних повестей» о природе фантастического, и Нейгоф, чтобы доказать, «что явления духов возможны», рассказывает о своей встрече с Калиостро в Риме. Калиостро при Нейгофе предается воспоминаниям о состязаниях гладиаторов, предсказывает смерть случайному встречному (что тут же сбывается). Все это не переубеждает Двинского в том, что Калиостро — шарлатан. Однако обратим внимание, что Калиостро представлен у Загоскина в привлекательном виде: он как будто добр — излечивает больных, помогает бедным, вызывает духа, желая помочь другу получить законное наследство[46]. В этом, по Загоскину, и заключается опасность искушения: оно спрятано под маской добра или (как в истории, случившейся у Александра с Брокеном) — того, что Загоскин называет «просвещением». Перед смертью Калиостро передает Нейгофу тайну вызывания духов, но говорит: «Я был обязан клятвою передать кому-нибудь мою тайну, но ничто не обязывает вас воспользоваться этим пагубным наследством».

Нейгоф тяготится тайной Калиостро, его преследуют «адские голоса», он хочет избавиться от этого «наследства» и предупреждает Александра о возможных последствиях: «Если ты поступишь, как я, то тебя ожидают те же самые мучения, а если будешь смелей меня, то, может быть… Нет нет!.. Прочь, искуситель, прочь!.. Я не хочу быть причиною его погибели!» [Загоскин 1838: 2, 109]. Но герой Загоскина относится к предупреждениям легкомысленно, подозревая, что приятель просто разыграл его. Проведя предписанный ритуал, Александр неожиданно встречает некоего барона Брокена, однако, несмотря на многочисленные характерные знаки, на протяжении всего основного сюжета романа не признает в нем нечистую силу.

Здесь можно проследить прямую сюжетную параллель с рассказом А. А. Бестужева-Марлинского «Страшное гадание» (1831) — там тоже дьявольский посланник появляется ночью, на кладбище, в магическом круге, в результате исполнения ритуала. В обоих произведениях герой не распознает в появившемся нечистую силу (но читателю при этом дается множество подсказок) и принимает его помощь, позволяя вовлечь себя в грех. Эпизод, где Брокен уговаривает Александра увезти Надину, — практически цитата из «Страшного гадания». В обоих случаях дьявольский посланник торопит героя и не дает ему даже встретиться с мужем возлюбленной и объясниться. В обоих произведениях героиня в этот момент абсолютно пассивна и полностью покорна воле «дьявола». В «Страшном гадании» ясно прослеживаются балладные мотивы: мотивы страшного сна, наказания за грех, эпизод падения с возлюбленной в могилу. У Загоскина к балладе прямых обращений нет, но, возможно,

---

[46] Не исключено, что это своеобразная реализация автохарактеристики гетевского Мефистофеля: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

о Жуковском опосредованно напоминает место, где Александр проводит ритуал и встречает Брокена — Марьина роща и кладбище (ср. место действия в повести Жуковского «Марьина роща»). Однако балладный мотив гибели возлюбленных (причем, как у Марлинского, преступников в глазах света) и падение их в могилу у Загоскина тоже есть, но это метафора, звучащая в разговоре дам полусвета, с которыми сводит Брокен Александра:

> Любить более своей жизни, любить на краю могилы и до последнего вздоха не признавать ничего, кроме любви, можно только тогда, когда и нас точно так же любят. <...> Пусть она не изменяет вам, несмотря на убеждения родных, на слезы отца и матери, пусть любит даже и тогда, когда весь мир назовет эту любовь преступлением… [Загоскин 1838: 2, 218].

Однако, как показала Л. Н. Киселева, у Марлинского отсутствует мотив воздействия художественной литературы на сознание героев, у него их чувства описываются как безумная юношеская влюбленность, способная на безрассудства, тогда как для Загоскина гибельные страсти пробуждаются и порождаются литературой. Этот мотив чрезвычайно важен и связан с архаистической литературной и идеологической позицией автора, которая в 1830–1840-х гг. уже была анахронизмом [Киселева 2022а: 123].

Загоскин критикует в романе всю литературу последнего полувека, обращенную к чувствам, прямо называя «Фауста», «Страдания юного Вертера» Гете, «Новую Элоизу» Руссо, роман «Жак» Жорж Санд. В «Искусителе» упоминаются Вольтер, А. Лафонтен, Бальзак, Э. Сю, Дюкредюмениль, Мейснер, Коцебу, Гюго и Дюма как драматурги. В главе «Ярмарка» перечислены популярные готические романы, причем отражена характерная черта их бытования: некоторые романы приписывались знаменитой Анне Радклиф и печатались под ее именем [Вацуро 2002: 301—311]; о Загоскине и готической традиции см. также: [Ратке 2011; Александрова 2017]. Возлюбленная Александра Надина постоянно читает Карамзина. В ближайшем круге литературных ассоциаций находятся и «Вампир» Байрона, Брокен дважды сравнивает Днепровского с вампиром, который пьет кровь молодой красавицы, побуждая Александра «спасти» возлюбленную от мужа. Сам же Брокен соотносится с лордом Ратвеном (губит героя) и имеет черты, изобличающие в нем нечистую силу, которых не замечает герой. Киселева указала на многие важные мотивы, источники которых прямо названы в романе:

> «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу (мотив неверности жены), «Наталья, боярская дочь» (мотив бегства с возлюбленным) и «София» Карамзина (мотив неверности жены и жертвы мужа), «Новая Элоиза» (мотив тайной чувственной любви вне брака), а также «Жак» Жорж Санд (мотив самоустранения мужа во имя свободы жены, полюбившей другого) [Киселева 2022а: 122].

Есть в романе и отсылки к отечественной линии «таинственной» романтической прозы. Так, сцена, где Александр во время пирушки, куда заманил его Брокен, видит похоронную процессию с факелами, почти дословно повторяет соответствующую сцену из рассказа В. Ф. Одоевского «Насмешка мертвеца», напечатанного в альманахе «Денница на 1834 г.».

> …красавица невольно то выглядывала в окошко, то робко прижималась к своему товарищу; товарищ утешал ее теми пошлыми словами, которые издавна изобрело холодное малодушие, которые произносятся без уверенности и принимаются без убеждения. Между тем карета быстро приближалась к ярко освещенному дому, где в окнах мелькали тени под веселый ритм бальной музыки.
> Вдруг карета остановилась: раздалось протяжное пение; улица осветилась багровым пламенем; несколько человек с факелами; за ними гроб медленно двигался через улицу. Красавица выглянула; сильный порыв ветра отогнул оледенелый покров с мертвеца, и ей показалось, что мертвец приподнял посинелое лицо и посмотрел на нее с той неподвижной улыбкой, которою мертвые насмехаются над живыми. Красавица ахнула и, в беспамятстве, прижалась ко внутренней стенке кареты.
> Красавица некогда видала этого молодого человека [Одоевский 1975: 49].

Сравним со сценой в романе Загоскина:

> Чувствуя, что мне нужно было освежиться, я подошел к открытому окну. Все было пусто на улице. Ночь была темная, небеса покрыты тучами, но, несмотря на это, мне показалось, что я вижу бесчисленное множество звезд, некоторые из них падали на землю, одна ярче всех других рассыпалась над самой улицею и осветила человека в сером платье, который стоял, прижавшись к стене противоположного дома. Казалось, он делал мне какие-то знаки. Вдруг из ближайшего переулка потянулся длинный ряд людей, одетых в траурные плащи, каждый из них нес в руке зажженный факел, за ними везли под балдахином черный гроб. Через минуту вся погребальная процессия выбралась на большую улицу. При ярком свете факелов я без труда мог рассматривать, что человек в сером платье протягивал ко мне с умоляющим видом свои руки, и, когда свет от одного факела отразился на лице его, я невольно воскликнул:
> – Что это?.. Это Яков Сергеевич Луцкий?.. Зачем он здесь?.. На улице?.. Так поздно?..
> – Что ж вы нас оставили, вежливый кавалер? — раздался позади меня голос Виржини.
> Вдруг все исчезло: и похороны и Луцкий, все покрылось непроницаемым мраком, вдоль по улице загулял сильный ветер, вдали послышался какой-то жалобный крик, кто-то промчался верхом, и из окна соседнего дома сказали вполголоса:
> – Скорей, скорей! Она умирает! [Загоскин 1838: 2, 233-234].

Похоронная процессия с факелами является героям Одоевского и Загоскина посреди дьявольского веселья и разврата, куда они оказались вовлечены. Оба видения намекают на смерть некогда дорогого героям человека, на их «истинную любовь». В обоих отрывках важен мотив узнавания лица, и это узнавание заставляет героев ненадолго очнуться от дьявольского наваждения, жертвами которого они стали. Несомненно, подобных примеров и отсылок в романе Загоскина можно найти еще достаточно.

Загоскин создает роман, критикующий сентиментальную, готическую и романтическую литературу, практически отождествляя эти литературные традиции. Он видит истоки этой литературы в Великой французской революции и обвиняет такую литературу в дурном влиянии на мораль[47]. Чувствительная литература от Руссо до Гюго и Жорж Санд, которую он всю считает современной, не очень считаясь с хронологией, по Загоскину, возбуждает страсти и толкает читателя во власть дьявола. Про Надину говорится, что «…барон совершенно завладел ее рассудком! Она видела его глазами, мыслила его головою, и, конечно, не было сумасшедшего поступка, на который бы не решилась, если б барон сказал, что она должна это сделать» [Загоскин 1838: 3, 128]. Герой-праведник Луцкий читает совсем иные книги, имеет библиотеку духовных книг (что, напомним, рекомендовал в свое время Шишков) и предупреждает Александра об опасностях «безумной любви» к чтению:

> Я думаю, что мы не должны ничего любить до безумия, а всего менее книги. Конечно, они самые лучшие друзья, но зато подчас и самые злейшие враги наши, а сверх того, такие хитрые, что иногда не только без ума, да и с умом не вдруг разберешь, на кого напал, на друга или на своего злодея [Загоскин 1838: 1, 206–208].

Важно и то, что в провинции, хотя книжная лавка на ярмарке и полна посетителей, чтение — это развлечение, способ проведения досуга, а не модель жизни и жизненного поведения, как в Москве. Не слишком образованные провинциалы, подобно сестре губернатора, не дадут, по убеждению Загоскина, барону Брокену проникнуть в их душу.

Загоскин обращается и к интригующему мотиву литературы предромантизма — любви брата и сестры, развитом в «Острове Борнгольме» Карамзина, но у него, как мы уже указали, любовь Александра и Машеньки не имеет ничего общего с инцестом. Когда между ними зарождается любовь, то в их чувстве нет ничего недозволенного.

---

[47] Загоскин трактует сочинения Карамзина 1790-х гг. как актуальные тексты и находит нужным подчеркнуть, что тот отказался от греха своей молодости — подражания Коцебу в драматической повести «София» (А. А. Григорьев в своей статье иронически проанализировал этот мотив [Григорьев 1980: 309-310]). Конечно, такая оговорка нужна автору, потому что он пишет в эпоху, когда авторитет Карамзина незыблем и обвинять его в безнравственности неуместно.

Своей литературной темой, т. е. темой воздействия словесности на душевный и духовный мир читателей, а значит и на общественную мораль, Загоскин включился в актуальную дискуссию, развернувшуюся в 1834–1835 гг. в российских журналах о литературе «юной Франции»; вероятно, к этому времени и восходит замысел романа «Искуситель». Так, например, Н. И. Надеждин считал, что «неистовая словесность» — это правдивая фиксация дурного состояния современного общества: «Вся вина современной французской литературы в том, что она слишком истинна» [Надеждин 1831: 482]. Возможно, именно эта идея привлекла Загоскина к поэтике «неистовой словесности», к которой он впервые обратился в цикле повестей «Вечер на Хопре». Пляска с нечистой силой присутствует в рассказе «Концерт бесов» 1834 г. (отчасти перекликающемся со стихотворением А. И. Одоевского «Бал») и в повести «Нежданные гости» 1835 г.

Сенковский в статье 1834 г. «Брамбеус и юная словесность» писал, что «неистовая словесность» «не есть литературная школа — это прямо вторая Французская революция» [Сенковский 1834: 43]. В этой же статье есть упоминания и авторитетов времен просветительской философии XVIII в. — Дидро и Руссо. Подобного рода широкое сравнение делает и Загоскин, ополчаясь в романе «Искуситель» на всю европейскую «чувствительную» литературу от Руссо до Гюго. Это объясняет и полемический смысл аллюзии на Марлинского. Для Загоскина автор «Страшного гадания» — это «самый рабский подражатель неистовой французской школы <…> умник, который, живя на Кавказе, описывал нравы московского общества по Бальзаку» [Загоскин 1840: 102].

Обычно Загоскин не предварял своих сочинений эпиграфами и начал это делать только в цикле очерков «Москва и москвичи», но там он, за одним исключением, использует цитаты из произведений русских авторов: Грибоедова, Карамзина, Пушкина, Гоголя, а также русские пословицы. В «Искусителе» эпиграф имеется, причем французский: *C'est un tableau de fantaisie dont tous les détails sont peints d'après nature* (Это фантастическая картина, которая во всех подробностях срисована с натуры). В романе Загоскина противопоставляется ложная, «фантастическая» картина и «правильная» картина действительности, которая, в отличие от нарисованной «чувствительной» литературой и являющейся предметом полемики, может и должна стать образцом для подражания. Его «неистовый» роман «Искуситель» оказался своего рода **«антироманом»**, отвергая не только «неистовую» словесность, но и всю традицию европейского романа, трактующего эмоциональную жизнь современного субъекта. Так, Загоскину явно близка мысль, что цивилизация способствует развращению нравов, которая, восходя к Руссо, высказывалась и в «Лелии» Ж. Санд [Дроздов 2013]. «Воспитанию чувств» в прозе Руссо, Гете, Жорж Санд и многих других авторов Загоскин, не делая различия между сентиментальной, готической, романтической, в том числе, «неистовой» литературой, противопоставил собственную установку на воспитание патриотических и религиозных убеждений.

3.2.3. Концепт любви к отечеству в романе «Искуситель»

Как и в написанных ранее романах Загоскина, в «Искусителе» важна патриотическая тема, трактовка любви к отечеству. Здесь, как и в предыдущих текстах, имеется группа персонажей-галломанов, которые и составляют безнравственное светское общество, разделяющее космополитические и циничные идеи барона Брокена. Среди них — уже упоминавшийся князь Двинский.

Образцом же носителя патриотического чувства в «Искусителе» можно назвать Закамского, одного из приятелей Александра. Знакомство с Европой не сделало его галломаном и космополитом, как это бывает с другими персонажами Загоскина, но наоборот, автор называет патриотизм Закамского «просвещенным», не придавая этому негативного смысла:

> Он много путешествовал и только что воротился из чужих краев, но это вовсе не расхолодило его чистую и просвещенную любовь к отечеству. Встречая дурное на своей родине, он горевал, а не радовался, не спешил указывать пальцем на каждое черное пятно и не щеголял перед иностранцами своим презрением к России. Совершенно чуждый этой исключительной и хвастливой любви к отечеству, которою гордились некогда наши предки, он любил все прекрасное, какому бы народу оно ни принадлежало, но только прекрасное свое радовало еще более его сердце, а он находил это прекрасное и в своем отечестве, потому что не искал в нем одного дурного. Одним словом, этот молодой человек, несмотря на свое европейское просвещение, вовсе не походил на этих жалких проповедников европеизма, для которых все сряду хорошо чужое и все без исключения дурно свое [Загоскин 1838: 2; 4-5].

«Хвастливая любовь к отечеству», основанная на безоглядной гордости, может быть соотнесена с «пристрастной» любовью к отечеству по Шишкову («Рассуждение о любви к отечеству»), о которой мы писали в параграфе 0.2. «Просвещенная» же любовь к отечеству Закамского больше соответствует концепции Карамзина («О любви к отечеству и народной гордости»), однако и идеи Шишкова писателю не чужды. Так, Закамский утверждает, что истинное просвещение должно быть основано на религии, и говорит, что именно просвещение без веры, умозрительная философия сделали французскую революцию XVIII в. столь кровавой. Праведник Луцкий высказывает шишковские идеи (свойственные, конечно, и многим другим авторам), утверждая, что революция — это «следствие этих философических теорий, этой красноречивой болтовни новейших софистов, которые так явно подтвердили своим примером, что мудрость человеческая есть безумие перед Господом» [Загоскин 1838: 3; 162]. Эта позиция явно близка самому Загоскину, в своей упоминавшейся статье в «Маяке» отрицавшему вообще всякую пользу от любой философии для христианина: «Не правда ли, что все эти вопросы и решения их должны показаться христианину не только пустословием, но даже богохульством?» [Загоскин 1840: 104].

Загоскин утверждает альтернативную либеральной концепцию просвещения, основанного на вере, любви к отечеству и царю и незыблемости монархии:

> …мы ненавидим не просвещение, а то, что вы называете просвещением, мы не восстанем против законной власти, не превращаем публичных танцовщиц в богинь разума, церквей в конюшни и театры, не хвастаемся своим безверием, не стараемся закидать грязью небеса — нет, барон! Благодаря Бога, народ русский верует, народ русский любит царей своих! Он верит, что всякая власть от Господа, потому что верит словам Спасителя [Загоскин 1838: 2, 201-202].

Просветительская философия в романе прямо связана с дьявольским искушением и приравнена к демагогии. В компании барона пьют за этих философов и прославляют их идеи. Барон Брокен говорит, на первый взгляд, умно и убедительно, вызывая восторг у всех слушателей, кроме Закамского:

> Все, что ни говорил барон, казалось, носило на себе отпечаток неподдельного чувства справедливости и душевного убеждения. Он обладал вполне великой наукою посредством звучных слов и блестящих софизмов смешивать все понятия, заменять идеи фразами, употреблять кстати слова: человечество, просвещение, европеизм, требования века; одних пленять этими модными словцами, других удивлять новостью своих ученых выражений, и вообще всех если не убеждать, то, по крайней мере, сбивать с толку. <…>
> Я не стану повторять вам слова барона. Если вы читали французских философов восемнадцатого столетия, то не скажу вам ничего нового [Загоскин 1838: 2, 172-173].

Барон старается отвратить Александра от веры: общаясь с ним, герой перестает ходить в церковь и посещать Луцкого. Поощряя и помогая устраивать встречи с Надиной, барон толкает его на нравственное «падение». Наконец барон склоняет Александра к самой примитивной галломании, говоря, что «Париж, это средоточие всех земных наслаждений», столица «наук, ума и просвещения» [Загоскин 1838: 3, 213], а в России все дурно и есть только «старые предрассудки, ненависть к просвещению, фанатизм, суеверие» [Загоскин 1838: 2, 201]. Причем если сначала подобные слова «возмущают русскую душу» Александра, и он с жаром негодования отвечает барону несогласием, то в развязке интриги герой уже покорен барону, готов бежать в Париж с чужой женой, и только вмешательство Луцкого спасает его.

Умозрительной философии барона Брокена в романе противопоставлен «здравый смысл», к которому апеллируют Закамский и Луцкий и который ненавидят и называют «отголоском закоренелого невежества и старых предрассудков» барон и Двинский.

Дьявольским искушением в романе называются и идеи социального равенства. Князь Двинский с восторгом говорит о правах человека, критикует классовое общество и капитализм, цитируя при этом Бомарше. Когда Александр, пробуя

в трактире пиво, ужасается его вкусу и видит, что мужики пьют его с удовольствием, он говорит: «бедность убивает не только моральные, но даже и физические способности: притупляет вкус и превращает человека почти в животное» [Загоскин 1838: 3, 148]. В ответ на это «просвещенный патриот» Закамский называет его философом и прилежным учеником барона Брокена. По мысли Закамского, крестьянин пьет пиво с наслаждением не потому, что у него от рождения или тяжелой жизни притуплен вкус, а потому, что тонкий вкус ему не только не нужен, но и вреден: если дать крестьянину распробовать дорогое вино, то

> …брага ему опротивит, а шампанского купить будет не на что. Правда, он может сделаться плутом, мошенником, вором и пить если не шампанское, так донское вволю — по крайней мере, до тех пор, пока не попадет в острог. Как ты думаешь, Александр, не лучше ли, чтоб ему нравилась дешевая гривенная брага, чем дорогое заморское вино? [Загоскин 1838: 3, 149-150].

Как полагает герой Загоскина, и с ним солидарен автор, сословное или имущественное равенство невозможно, как и любое другое, оно противоречит устройству мира. Желание всеобщего равенства — это искушение, созданное просвещением, и оно может привести к катастрофе. Александр делает вывод:

> Если бедный не должен желать того, чего иметь не может, то, следовательно, его не должно и просвещать, потому что просвещение, умножая его потребности и желания, которых он удовлетворить не может, сделает его еще несчастнее, чем он был прежде [Загоскин 1838: 3, 153].

Имея в виду здесь просвещение не как философию, но и как образование, герои склонны видеть и в нем скрытую угрозу: крестьянам образование не нужно.

Закамский не оправдывает имущественного неравенства, но считает, что если оно и может быть преодолено, то только христианской верой. Разумная структура общества, как ее видят положительные герои романа — Луцкий, Закамский, а в финале и Александр — основана на истинной дворянской традиции, христианской морали и здравом смысле, которые противопоставляются умозрительной «европейской» философии.

Таким образом, роман Загоскина можно воспринимать как полемическое произведение, направленное против просветительской, сентиментальной и романтической литературы и философии. В контексте литературы второй половины 1830-х гг. это было выступлением по актуальным вопросам современности, но позиция автора входила в явное противоречие с направлением, начавшим складываться под влиянием критики Белинского. Именно в этот период огромный успех романов и повестей — переводных и оригинальных, — ориентировавшихся на толстые литературные журналы, сделал литературу орудием пропаганды и распространения общественно-политических идей. Роль этих жанров в становлении новой литературы Белинский описал так:

> …вся наша литература превратилась в роман и повесть. Ода, эпическая поэма, баллада, басня, даже так называемая, или, лучше сказать, так называвшаяся *романтическая поэма*, поэма *пушкинская*, бывало наводнявшая и потоплявшая нашу литературу, — все это теперь не больше, как воспоминание о каком-то веселом, но давно минувшем времени. Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя [Белинский: 1, 261].

Романист Загоскин противостоял не жанру романа, а его наполнению. Он усматривал в новой литературе большую опасность и стремился противопоставить ей свой идеал. Идиллическая жизнь дворянской усадьбы в его глазах была не литературным конструктом, не воображаемым идеалом, а изображением той «реальности» русской жизни, которую можно противопоставить Западу. Он стремился повлиять на умы читателей, отвратить их от искушений современной литературы и развернуть в направление ценностей, которые считал незыблемыми и истинно русскими.

У «Искусителя» имелись и более конкретные литературно-полемические цели. Выпады против Жорж Санд напрямую связаны с успехом переводов этой писательницы (см. [Кафанова 2005]), а перекличка с Марлинским намекала на «неистовую словесность» (см. выше).

Таким образом, Загоскин видел в европейской литературной традиции средство распространения ненавистной ему умозрительной просветительской философии и принципиально выступал против нее.

3.3. «Тоска по родине»: концепция патриотизма

«Тоска по родине» (1839) обозначена автором как «повесть», хотя по объему и сложности сюжета могла бы считаться романом (первое издание вышло в двух томах). Действие повести происходит в 1805 г., что, как мы увидим далее, принципиально значимо для ее понимания. Белинский, в своей рецензии назвавший это произведение романом, выделил в нем «три главные стороны»:

> Первая — патриотическая, где он <Загоскин> нападает на карикатурных европейцев, этих жалких крикунов, которые вечно недовольны ничем в своем отечестве и видят хорошее только за границею, а за нею ничего не могут понять, кроме достоинства гостиниц. <…> Вторая сторона нового романа г. Загоскина — любовь Завольского и Софьи Николаевны Ладогиной <…> Третью и самую блистательную сторону нового романа г. Загоскина составляет ряд картинок в теньеровском роде, в которых его талант не имеет себе соперников [Белинский: 3, 298-299].

Действительно в сюжете повести переплетаются две линии, осложненные многочисленными отступлениями. Первая из них — любовная интрига. Главный

герой Завольский влюбляется в Софью, но обнаруживает, что она ветреница и одновременно оказывает внимание не только ему, но и другому человеку. Разочарованный, Завольский уезжает за границу с намерением не возвращаться. В финале он узнает, что тот, кого он принимал за соперника, на самом деле единоутробный брат Софьи и что она в действительности любит именно его. Повесть заканчивается описанием счастливой семейной жизни героев. Вторая линия связана с путешествием, в ходе которого Завольский переосмысливает свое отношение к России и Европе. Герой посещает Англию, Францию и Испанию. При этом он ведет «Журнал русского путешественника», посвященный путевым впечатлениям[48]. Это позволяет автору ввести в повествование обширный нравоописательный пласт.

В отличие от исторических романов, здесь Загоскин не стремится изображать исторические события, происходившие во время действия его произведения. Особенно это заметно в изображении Испании, которое даже на стилистическом уровне состоят по преимуществу из литературных штампов: «Эти померанцевые рощи! Эта Сьерра-Морена, увенчанная розмарином!» [Загоскин 1898: 293]. При этом в повести не заходит речи ни о сложных отношениях Испании и наполеоновской Франции, ни об английском вмешательстве в франко-испанские дела, актуальные как раз во время путешествия Завольского: Трафальгарское сражение, например, случилось именно в 1805 г. Загоскин отказывается от возможной параллели «Россия — Испания», основанной на патриотическом подъеме в этих странах во время войны с наполеоновской Францией. Нежелание писателя распространяться о наполеоновских войнах показывает, что он сосредоточился не на военных конфликтах, а на культурном противостоянии России и Запада.

Возможно, до некоторой степени это объясняется историческим контекстом, в котором создавалась повесть. Если первые романы Загоскина писались вскоре после Русско-турецкой войны и незадолго или во время Польского восстания (соответственно), то в конце 1830-х гг. Российская империя не участвовала в больших войнах с иностранными державами, и тема военного противостояния ушла на второй план. Намного более актуальна была полемика об исторических судьбах России и ее связях с Западом. Так, в 1836 г. появляется в печати «Философическое письмо» Чаадаева. По известному выражению Герцена, «на минуту все, даже сонные и забитые, отпрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство оскорблено, человек десять громко и горячо рукоплескали автору» [Герцен 1956: 9, 140]. В числе оскорбленных критикой России был, конечно, и Загоскин,

Сохранился черновик его заметки против «Философического письма», написанной после публикации в «Телескопе». Загоскин критикует Чаадаева

---

[48] Этот аспект рассмотрен в докторской диссертации Андрея Соловьева «Проблема „Россия и Европа“ в русских литературных путешествиях (Фонвизин, Карамзин, Достоевский)», которая была защищена в Тартуском университете 18 ноября 2022 г.

с позиций «архаизма»: «статья, писанная Русским против России на французском языке, по одному этому заслуживает уже смех и презрение», однако далее пишет без злобы и желчи: «Но добрый патриот не будет смеяться: он с сожалением укажет в ней отцам и матерям на бедственные следы французского воспитания» [Загоскин 1836: 544]. Черновик этой заметки не был ни закончен, ни опубликован вплоть до 1991 г., т. е. Загоскин не присоединился к обличениям Чаадаева. Вскоре после этого в московских салонах, со многими завсегдатаями которых Загоскин был хорошо знаком, начались споры будущих западников и славянофилов. Судя по всему, новую полемику Загоскин воспринял сквозь призму дискуссии карамзинистов и шишковистов.

Все описания европейских стран в повести «Тоска по родине» созданы с опорой на литературные источники, а вовсе не на авторский опыт: Загоскин, участвуя в ополчении во время войны 1812 г., дошел только до Данцига, ни до, ни после этого никаких европейских путешествий не совершал. Документальная точность явно не была в числе его приоритетов. Особенно ясно это проявляется в описаниях Испании. В частности, герой повести прямо ссылается на роман Сервантеса «Дон Кихот» как на один из источников своих впечатлений об этой стране: «...я невольно вспоминаю знаменитую Мариторну. <…> Все, что происходит передо мною, живо напоминает мне некоторые главы из этого бессмертного романа» [Загоскин 1898: 5, 419]. Имеется в виду служанка из романа Сервантеса, пытавшаяся подшутить над Рыцарем печального образа. Кроме того, для описания испанской природы Загоскин ссылается на Марлинского и использует обширные цитаты из повестей Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» и «Сорочинская ярмарка», после чего заключает:

> Ну, милостивые государи, не угодно ли попытаться после этого пиитического описания бледно-голубых небес нашей Харьковской или Полтавской губернии сказать что-нибудь новое о прозрачно-синих небесах южной Испании. Нет! Уж лучше не стану их описывать; неравно повторишь чужие слова и, чего доброго, вы еще подумаете, что я вас перенес вместо Андалузии под счастливые небеса упоительной и роскошной Малороссии [Загоскин 1898: 5, 440].

Автор повести воспользовался здесь оригинальным нарративным приемом: испанскую ночь он сравнил с украинской и описал ее цитатой из Гоголя. На этот ход обратил внимание И. И. Панаев, не без иронии вспоминавший чтение повести:

> Под текучий и гладкий слог Загоскина я было забылся на минуту... Вдруг этот приятно усыпляющий слог превратился в живой язык, повеявший свежестию и силою: описывалась малороссийская ночь... Я невольно встрепенулся... Место действия романа в Испании, — как же тут попала малороссийская ночь?.. Я не разобрал вдруг, но вскрикнул невольно:
> — Как хорошо это!
> Сергей Тимофеич дернул меня с улыбкою за рукав:

— Что это вы? — шепнул он мне: — ведь это он приводит иронически отрывок из Гоголя, замечая, что если уж так описываются малороссийские ночи, то как же описать испанские?..
После описания какого-то испанского города Сергей Тимофеич перебил чтение и спросил у Загоскина:
— Да как же ты это так хорошо и подробно описываешь наружность испанских городов, никогда не бывав в Испании?
Загоскин положил рукопись на стол, взглянул на Аксакова через очки, наклонив немного голову, и отвечал очень серьезно:
— А на что же у меня, милый, лукутинские-то табакерки с испанскими видами?..
И приостановя на минуту чтение, он начал доказывать, что лукутинские изделия — верх совершенства, что у иностранцев и отделка и рисунки на подобных изделиях хуже, и что если русский человек захочет, то он всегда заткнет за пояс и немца, и француза, и англичанина... [Панаев 1988: 191-192].

В других случаях Загоскин избежал необходимости описывать незнакомые достопримечательности, объявляя их не поддающимися описанию: «Есть предметы, которых описание недоступно не только для прозаиста, но даже для самого вдохновенного поэта» [Загоскин 1898: 5, 430].

Учитывая своеобразный подход Загоскина к описанию чужих стран, неудивительно, что Испания в повести оказывается только декорацией для стереотипных любовных сюжетов: дважды в героя влюбляются испанки, он не может ответить взаимностью, и на его жизнь покушается защитник несостоявшейся возлюбленной (брат или бывший любовник). Эти сюжеты иронически переосмысляют сюжет повести Карамзина «Сиерра-Морена». Герой Карамзина искренне любит Эльвиру, тогда как Завольский только вежливо отвечает на знаки внимания малознакомых ему донны Серафимы и донны Розалии, причем признания женщин в любви письмами и знаками иронично объясняются испанскими традициями. Донна Серафима, не будучи знакома с Завольским, попросила его подарить ей кольцо с запиской. Завольский потом с удивлением узнал, что по испанскому обычаю такой подарок означает обручение. Он отказался жениться, три месяца просидел в тюрьме и бежал из Гренады, спасаясь от мести брата донны Серафимы: «Ну, донна Серафима! Дорого заплатил я за ваши четки и букет увядших цветов, которые вы кинули мне в лицо с вашего балкона!» [Загоскин 1898: 5, 436].

В истории с замужней донной Розалией, которая в письме к Завольскому «в пламенных, безумных выражениях» объясняется в любви, иронически изображена сентиментальная любовь, скрывающаяся под маской дружбы. Сравним у Карамзина: «Она увидела в глазах моих изображение своей горести, в чувствах сердца моего узнала собственные свои чувства и назвала меня другом. Другом!.. Как сладостно было имя сие в устах любезной!» [Карамзин 1964: 1; 674] — и у Загоскина:

> Вот уже четыре месяца, как я разыгрываю роль самого недогадливого и бестолкового человека: мне предлагают любовь, а я с благодарностью принимаю дружбу; эти пламенные глаза жгут меня своими взглядами, а я вижу в них одно выражение тихой и спокойной приязни; но теперь, после этой записки, для меня нет уже никакой возможности быть недогадливым… [Загоскин 1898: 5, 446].

Завольского вызывает на дуэль прежний возлюбленный Розалии дон Педро, но, в отличие от повести Карамзина, история не содержит кровавой драматической развязки: дуэль не состоялась, потому что противники не смогли договориться об оружии, а донне Розалии Завольский признался в том, что любит другую.

Однако намного более значимы литературные источники повести, отсылающие к собственным сочинениям автора, а также к французской традиции. Во многом автор «Тоски по родине» воспроизводил собственный нравописательный очерк «Путешественник», который еще в 1820 г. был прочитан в «Обществе любителей российской словесности». Из него в повесть «Тоска по родине» почти без изменений вошли путевые анекдоты о посещении французского театра, о бесцеремонности английских нищих, взятке на английской таможне, история о порче на таможне серебряного чайного сервиза, история о том, как главного героя побило английское простонародье, приняв его за члена парламента [Загоскин 1898: 7, 536–542].

Пользовался Загоскин и другими произведениями, причем совершенно открыто, давая на них прямые ссылки. Так, в описании Парижа использованы исключительно популярные и влиятельные в то время физиологические очерки 1831–1834 гг. *Paris, ou le livre des Cent-et-un* («Париж или книга ста и одного») [Загоскин 1898: 5, 405], кроме того, Загоскин среди источников прямо указывает «Всеобщую историю путешествий» аббата А. Ф. Прево [Загоскин 1898: 5, 408]. Это произведение, считавшееся вполне научным повествованием, также не было написано по личным впечатлениям автора. Интересно, что Загоскин не воспользовался многочисленными описаниями далеких и экзотических стран, которые представлял ему Прево. Писателя интересовало не столько само по себе путешествие, сколько заложенный в жанровой природе травелога опыт встречи «своего» и «чужого», возможность сопоставить родину и другие страны — и сделать из этого определенные идеологические выводы.

Чтобы охарактеризовать политическую позицию автора «Тоски по родине», необходимо сопоставить ее с наиболее значимым русским травелогом рубежа XVIII–XIX веков — «Письмами русского путешественника» Карамзина. Загоскин, конечно, неслучайно помещает действие своей повести именно в «карамзинскую» эпоху — для него важно, помимо прочего, провести прямые параллели между травелогом своего героя и чувствительным путешествием Карамзина. В своем повествовании он прямо ссылается на Карамзина, сопоставляя его с Д. И. Фонвизиным, автором «Писем из Франции к одному

вельможе в Москву» (1777—1778). Письма Фонвизина были опубликованы в 1806 г., через год после времени действия «Тоски по родине». Осознавая это, Загоскин заставляет своего героя цитировать их по рукописной копии:

> Как я служил еще в Петербурге, мне попалась однажды весьма любопытная рукопись, составленная из писем или, лучше сказать, путевых записок нашего знаменитого Фонвизина, он вел их во время путешествия своего по Европе. Его замечания о Франции показались мне до того странными, что я переписал их для себя. Я не смел подозревать в пристрастии просвещенного Фонвизина, а и того менее думать, что автор «Недоросля» и «Бригадира» станет из какого-нибудь невежественного патриотизма унижать иностранцев тогда, как он так ясно видел и так верно описывал закоснелое варварство и безграмотность некоторых русских дворян своего времени; но, признаюсь, я обвинял его в излишней строгости и полагал, что болезнь или какие-нибудь личные неприятности были единственною причиной, что все казалось ему в дурном виде [Загоскин 1898: 5, 388].

Мнение Фонвизина, испытавшего на себе удовольствия парижской жизни, оказалось для героя повести «совершенной правдой». Уже после этого позиция Фонвизина противопоставляется точке зрения Карамзина: «…я, от нечего делать, вздумал сравнить мнения двух русских путешественников о характере французской нации: один из них Николай Михайлович Карамзин, а другой Денис Иванович Фонвизин» [Загоскин 1898: 5, 407].

В сноске от автора Загоскин передает свои комментарии о французском характере: в разговоре о Мадриде русский солдат признался бы в своем незнании, а француз демонстрирует обрывочные знания и невежество и не стесняется этого [Загоскин 1898: 5, 406]. В Карамзине Завольского раздражает не чрезмерная любовь к французам (цитированное им суждение из «Писем русского путешественника» далеко от идеализации парижан), а скорее чрезмерная «вежливость», с которой он выражает свою позицию:

> В заключение Карамзин говорит, что это писано для дамы и для француженки, которая ахнула бы от ужаса и закричала бы: «Северный варвар!» если б он сказал ей, что французы не остроумнее и не любезнее других. Фонвизин не имел этой уважительной причины рассыпаться в любезностях, и в письме своем к графу Петру Ивановичу Панину изъясняется гораздо откровеннее насчет французов [Загоскин 1898: 5, 408].

Характерным образом герой не замечает карамзинской иронии. По всей видимости, в оценке литературных достоинств текста Карамзина он выражает позицию автора — и совершенно явно эта позиция совпадает с точкой зрения Шишкова, выраженной в «Рассуждении о старом и новом слоге…», вышедшем всего за два года до времени действия повести. Подчеркнутая ориентация Карамзина на язык салона, во главе которого оказывается светская дама, характеризует его общую ориентацию на французскую культуру (см. [Лотман,

Успенский 1975: 215-217]); в приведенной цитате она подана как недостаток откровенности, неискренность. В этом смысле Загоскин продолжает, даже несмотря на прошедшие десятилетия, оставаться последовательным шишковистом. Отвечая Карамзину, Шишков писал: «Не спрашивайте ни у светских дам, ни у монахинь, и зачем у них спрашивать, когда они говорят: не знаю?» [Шишков 2010: 75].

Загоскин оказался последовательным «шишковистом» и в том, что сделал из своего несогласия с Карамзиным политические выводы. Напомним, что и Шишков делал из языковых теорий решительные заключения о нехватке патриотизма у своих оппонентов: «Истина сия не подвержена ни малейшему сомнению, что чем больше будем мы думать о французском языке, тем меньше будем знать свой собственный» [Шишков 2010: 110]. Герой Загоскина находит у Карамзина буквальную реализацию этого принципа: повествователь «Писем русского путешественника» отказывается искренне выражать свои мысли, чтобы не обидеть француженку[49].

Европейские страны, как в «Рославлеве» и в «Искусителе», оказываются в повести источником опасных политических идей и безверия, которые не только подрывают нравственность русских, но и угрожают самим иностранцам. Главный герой, в частности, записывает в свой журнал пространное рассуждение о вреде французской революции и вредном влиянии философских идей на общество:

> …до чего может дойти человек, и без того уже наклонный к пороку, если ни вера, ни закон не обуздывают его страстей, если развратники, которые называют себя друзьями народа, твердят ему беспрестанно, что, кроме физических наслаждений, все прочее мечта, что вера есть невежество, а любовь к порядку и уважение к правительству низкое рабство; что человек просвещенный не может веровать, а человек свободный не должен признавать над собою никакой власти, или, по крайней мере, быть всегда в открытой вражде с тою, которая существует [Загоскин 1898: 5, 404].

Как и в «Искусителе», в «Тоске по родине» остается не вполне понятным, только ли идет ли речь о приверженности философским идеям Просвещения или также о просвещении в смысле хорошего образования. Так или иначе, на взгляд героя, французское образование, особенно экономическое, оказывается русскому человеку, особенно из народа, не нужно:

---

[49] Возможно, Загоскин отсылал и к началу первого «Философического письма» Чаадаева, которое открывается любезным обращением к даме и где также говорится об искренности: «Сударыня, именно ваше чистосердечие и ваша искренность нравятся мне всего более, именно их я всего более ценю в вас. <…> Этими прекрасными качествами вашего характера я был очарован с первой минуты нашего знакомства» [Чаадаев 1991: 1; 320].

> Французский крестьянин тяжел, простоват и чрезвычайно легковерен; для него некоторое образование гораздо необходимее, чем для нашего мужичка, который, со своим простым русским толком и деревянными счетами, без всякой бухгалтерии становится частенько миллионщиком [Загоскин 1898: 5, 416].

Причина отставания России от стран Европы несколько наивно объясняется в повести татаро-монгольским игом. Рассказчик делает это с помощью притчи: несколько путников вышли в дорогу, но одного из них задержали «незваные гости», которые «по русской пословице хуже татар». Когда этот путник отправился в дорогу, его товарищи ушли далеко, и он не мог найти верного пути. «Бог послал» путнику «чудесного богатыря», в образе которого без труда узнается фигура Петра Великого, который донес его до места, где стали видны остальные путники. Но вышло так, что отставший не разглядел толком дорогу, а его товарищи так и остались впереди, и догонять их теперь нужно без помощи чудесного богатыря. Богатырь этот оставляет страннику напутствие:

> Если на дороге встретятся с тобой зеваки, которые начнут над тобой смеяться и говорить меж собою: «Смотрите, господа! как он отстал от своих товарищей!» так ты скажи им, что твои товарищи ранее тебя отправились в дорогу; а если найдутся такие зубоскалы, — по большим дорогам всякого народу много, — которые начнут тебя дразнить и заговорят, что ты вовсе нейдешь вперед, что у тебя ноги не двигаются, так ты обернись, да попроси их, чтоб они показали тебе дом, из которого ты вышел; а лучше всего не слушай этих пустозвонов: они под носом у себя ничего не видят и повторяют только то, что им натвердили в ребячестве их мамушки, да нянюшки [Загоскин 1898: 5, 304-305].

Петровские реформы, таким образом, Загоскин защищает от неких критиков, утверждающих, что усилия Петра не привели ни к какому значимому прогрессу. Как кажется, автор прямо метил здесь в Чаадаева, писавшего: «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись» [Чаадаев 1991: 1, 330]. В то же время Загоскин явно следовал Карамзину, писавшему в статье «О любви к отечеству и народной гордости» о грандиозном прогрессе, достигнутом в результате петровских реформ: «Петр Великий, *соединив* нас с Европою и показав нам выгоды просвещения, ненадолго унизил народную гордость русских. Мы взглянули, так сказать, на Европу и одним взором присвоили себе плоды долговременных трудов ее» [Карамзин 1964: 2; 283].

Завольский в дневнике отдает должное тому, что в Англии — замечательная промышленность, а во Франции люди милы и обходительны. Однако приговор его однозначен: пороки и в этих странах чудовищны, закон суров, а население нищее. Свобода в европейском ее понимании, по Загоскину, — это лицемерная

свобода и безобразная вольность («Ваша английская свобода бывает иногда не лучше турецкого деспотизма» [Загоскин 1898: 328]), истинной свободы здесь нет: за собственное мнение могут побить камнями, законы и налоги бесчеловечны (упоминается принудительная вербовка на британский флот и налог на окна в домах). Идея равенства тоже оказывается извращена: Завольский отмечает резкий контраст между богатыми и бедными: «Перед ней <Англией. — *Е. Я.*> ее натужное богатство, за которым таится ужасная нищета» [Загоскин 1898: 5, 382]; «В Лондоне деньги нипочем, но зато в Ирландии они отменно дороги <…> нигде нет столько бедных людей, как в Англии» [Загоскин 1898: 5, 385]. Однако у простого народа России и Англии оказывается больше общего, чем ожидали герои. Характерен эпизод кулачного боя между посадскими с фабричными в Лондоне, к которому присоединяется и Никанор Федотыч [Загоскин 1898: 5, 375-376]. Напомним, что в романе «Искуситель» опекун главного героя неодобрительно отзывается о подравшемся слуге: «Пошел, дурак! — закричал Иван Степанович. — Примочи чем-нибудь свою рожу! На что похож? Образа нет человеческого! Животное!» [Загоскин 1838: 1; 110]. Удальство и уважение к физической силе, казалось бы, — типично русские черты (ср. образ Кирши в «Юрии Милославском»), однако в «Тоске по родине» они поданы не как национальные, а как простонародные. На почве этих грубых контактов оказывается возможным установить понимание между людьми одинакового статуса: Никанор Федотыч перестает презирать англичан, а английский простой люд вполне одобряет боевитого слугу:

> Теперь я понимаю, отчего Никанор Фетодыч стал похваливать англичан. Их простой народ любит подраться в кулачки, уважает телесную силу, не боится съезжей и пьет джин, который ничем не хуже нашего пенного пива [Загоскин 1898: 5, 376].

Так же, как и в России, у европейских стран есть достоинства и недостатки. Загоскин не требует пристрастной любви к отечеству по Шишкову и предостерегает от однозначного оценочного взгляда. Важной проблемой оказывается идея терпимости к «другому», способность к эмпатии, воздержанность от ксенофобских суждений: безоглядная гордость за свою нацию ведет, по Загоскину, к слепоте и заблуждениям: «Презрение свое ко всем иностранцам англичане величают благородной гордостию; а было время, что эту смешную спесь называли варварством» [Загоскин 1898: 5, 375].

В повести герои не проявляют враждебности к европейским странам, но они оказываются им, как русским людям, чуждыми. Как и в исторических романах, Загоскин подчеркивает внесословный характер национальных чувств. В финале оказывается, что как ни хороша природа Испании, слуга Завольского Никанор Федотыч тоскует по зиме и соленым огурцам, а сам Завольский, который в начале повести не верил в существование тоски по родине, — по русским песням. В этом буквально проявляются физическая и моральная любовь к отечеству, как их характеризовал Карамзин в упоминавшейся статье

«О любви к отечеству и народной гордости». Примечательно, что здесь Загоскин следует тому самому Карамзину, с которым в других местах склонен был полемизировать. Ср. рассуждения об инстинктивном патриотизме:

> Лапланец, рожденный почти в гробе природы, несмотря на то, любит хладный мрак земли своей. Переселите его в счастливую Италию: он взором и сердцем будет обращаться к северу, подобно магниту <…>
> Никто не может быть счастлив вне своего отечества, где сердце его выучилось разуметь людей и образовало свои любимые привычки. Никаким народом нельзя заменить сограждан [Карамзин 1964: 2, 280].

С идеями карамзинской статьи 1802 г. Загоскин совпадает, однако ситуация выглядит по-иному, если мы сопоставим пространный монолог Завольского в финале повести с финалом «Писем русского путешественника». У Карамзина радость по поводу возвращения на родину вызвана личными, притом очень субъективными эмоциями — удовольствием от звуков родной речи, от возможности увидеться с друзьями. По Карамзину, любовь к отечеству вовсе не противоречит приятным воспоминаниям от встречи с другими странами и легко сочетается с ними. Иными словами, и патриотизм, и любовь к странствиям оказываются двумя сторонами эмоционального мира одного человека:

> Берег! Отечество! Благословляю вас! Я в России и через несколько дней буду с вами, друзья мои!.. Всех останавливаю, спрашиваю, единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать русских людей. Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштата, но мне он мил! Здешний трактир можно назвать гостиницею нищих, но мне в нем весело!
> С каким удовольствием перебираю свои сокровища: записки, счеты, книги, камешки, сухие травки и ветки, напоминающие мне или сокрытие Роны, la perte de Rhone, или могилу отца Лоренза, или густую иву, под которою англичанин Поп сочинял лучшие стихи свои! Согласитесь, что все на свете крезы бедны передо мною! [Карамзин 1964: 1, 600-601].

Напротив, у Загоскина любовь к отечеству связана не с выстраиванием сложной «эмоциональной матрицы» [Зорин 2016], а с трансляцией однозначного патетического восторга:

> Никогда не перестану я любить тебя, мое отечество! **Мысль о твоем могуществе и величии** будет всегда наполнять радостию мою душу. Где бы я ни был, хотя на краю света, но пока жив, я стану заодно, и горевать, и радоваться вместе с тобою; **твоя честь — моя честь, твоя слава — моя слава**. Где б я ни был, везде злодей и хулитель моей родины найдет во мне врага, везде протяну я братскую руку тому, кто скажет доброе слово о святой Руси. Да, да! при ея священном имени, в минуту смерти воспрянет и взыграет новой жизнию душа моя! О, милая моя родина! На полях твоих, обширных, как целые царства, не растут померанцевые деревья, небеса твои часто покрываются тучами; но **ты**

гостеприимна, спокойна и счастлива; ты не гордишься своим земным просвещением, но ты любишь Бога и помазанников Его, православных царей русских. Тебя упрекают, что ты отстала от дряхлеющего запада — тем лучше: он отживает свой век, а ты начинаешь только чувствовать всю твою силу, юная царица севера, благочестивая, самобытная Русь! <…>
…**двуглавый орел твой собирает под свои мощные крылья единокровные племена и народы**, отторгнутые от тебя в годину бедствий [Загоскин 1898: 5, 461-462].

Загоскин выстраивает парадигму: отечество/родина = мощное государство = святая Русь (страна с богатой древней историей) = юная северная держава, которой принадлежит будущее, в отличие от «дряхлеющего» Запада = самобытная страна, спокойствие которой основано на вере в Бога и любви к монарху. Показательно, что на месте карамзинских сувениров, отсылающих к индивидуальной культурной памяти рассказчика, у Загоскина оказываются государственные символы (двуглавый орел). Патриотические чувства выражаются здесь с помощью максимально понятных и общеупотребительных концептов, вполне согласующихся с уваровской триадой.

Как и в классическом травелоге, в повести Загоскина реализуется одна из главных целей путешественника — познать не только «чужое», но и «свое». В конце герой совершает важнейшее для себя открытие: он понимает, что всегда любил Россию. Это открытие, впрочем, по Загоскину, совсем не неожиданно: любовь к родине присуща, с точки зрения писателя, любому нормальному русскому человеку. Европейское путешествие учит Завольского быть более терпимым к недостаткам своего отечества, он становится способен чувствовать тоску по родине, хотя раньше не верил в существование ностальгии. Это преображение связано с мотивом воскресения: в Испании в православную Пасху слуга Завольского застает его плачущим и молящимся [Загоскин 1898: 5, 443]. Одновременно завершается и другая значимая линия — любовная: Завольский узнает, что Софья в действительности любит его, а не Красноярского:

— Да войдите в себя, Владимир Сергеевич! Софья не замужем; она вас любит, она ждет вас! Слышите ли: она вас любит!
Вдруг в голове моей как будто бы прояснилось; я понял.
— Возможно ли! — вскричал я, бросившись на шею к Красноярскому;
— Софья меня любит! Она не замужем! Вы брат ее!
[Загоскин 1898: 5, 467].

История Завольского и Софьи — это отчасти перевернутая история Рославлева и Полины. Рославлев до последнего не может поверить, что Полина любит другого, а Завольский поверил в это слишком легко.

Обращаясь в «Тоске по родине» к началу XIX века, Загоскин, как видим, увязывал политические проблемы двух эпох. А. Ю. Сорочан отмечает, что

писатель, высоко ценя достижения Карамзина как историографа, до конца жизни низко оценивал сентиментализм [Сорочан 2006]. Как кажется, эту мысль следует продолжить и уточнить: не только Карамзин, автор «Истории государства Российского», но и Карамзин — политический публицист 1800–1810-х гг. был воспринят Загоскиным с уважением и сочувствием. Загоскинская концепция патриотизма — это, как мы видели, своеобразный синтез шишковского и карамзинского взглядов, даже с акцентом на втором — на «беспристрастной» любови к отечеству и идее «народной гордости», далеко не все в родной стране приемлющих. Сентиментализм же (и синонимичный ему, с точки зрения Загоскина, романтизм) связаны с идеями, которые опасны для России и ведут к отказу от патриотизма. Наш автор соединяет с ними и новые идейные течения 1830-х гг., нашедшие воплощение в публикации письма Чаадаева и в устных спорах в московских салонах. Загоскин был не прочь воскресить «шишковский» дух полемики с этими антипатриотическими, на его взгляд, тенденциями.

Итак, после успеха своих первых романов Загоскин в дальнейшем творчестве не воспроизводит раз удавшуюся схему, а отзывается на новые литературные и общественные события. Создавая «Вечер на Хопре», он осваивает новый для себя жанр фантастической повести. Общественная комедия без любовного конфликта «Недовольные», несмотря на всю свою ориентацию на «Горе от ума», принадлежит другой эпохе, которую в театре определит «Ревизор», поставленный в 1836 г. и, конечно, заслонивший не слишком удачную комедию Загоскина. Его романы второй половины 1830-х гг., хотя их действие и отнесено в прошлое, уже не повторяют «вальтер-скоттовской» модели. Это в большей степени общественные и нравоописательные романы. Отходя от описаний важнейших событий российской истории, Загоскин интересуется умственной и нравственной жизнью россиян и особенно тем, как на Россию и на нравы образованного общества повлияла европейская культура в широком смысле. Он ищет идеал общественной жизни и находит его в помещичьей патриархальной деревне (в романе «Искуситель»). Пока этот идеал имеет вид воспоминания о счастливом детстве, но в романах 1840-х гг. Загоскин разовьет это представление об идеальном общественном устройстве.

ГЛАВА 4

РУССКАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ УТОПИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАГОСКИНА 1840-Х ГГ.

В настоящей главе мы обратимся к творчеству Загоскина последнего десятилетия его жизни и затронем такие его романы, как «Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II» (1842), «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого» (1846), «Русские в начале осьмнадцатого столетия. Рассказ из времен единодержавия Петра I» (1848) и, наконец, одно из последних сочинений «Москва и москвичи» (1842–1850). Загоскин, как мы видим, вновь обращается к историческим романам, причем два из них посвящены петровской эпохе, времени глубоких культурных перемен, ориентированных на европейский опыт. В 1840-е годы петровские реформы стали важнейшим предметом полемики западников и славянофилов[50]. Загоскину, конечно, последние были ближе (хотя это и не касалось интерпретации петровских реформ), и он вновь обращается к своей любимой теме — проблеме подражания западным образцам.

Мы используем термин «консервативная утопия» вслед за А. Валицким, который в своей книге «В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства» разделяет утопию как разновидность мировоззрения и как идеологию. По Валицкому, идеология — это взгляды только по определенным общественно-политическим вопросам, а утопию как мировоззрение отличают целостность, способность определять весь тип мышления. В то же время для утопии характерно конфликтное напряжение между идеалом и действительностью [Валицкий 2019: 37-38]. Как уже говорилось выше, Загоскин не был теоретиком национализма, не оставил после себя теоретических статей и трактатов, и его позиция требует реконструкции на основании его художественных текстов. На протяжении десятилетий творческой жизни Загоскина отдельные положения «архаистической» идеологии превратились в его произведениях в достаточно отчетливую картину идеального мира, именно поэтому нам кажется продуктивным обращение к терминологии Валицкого.

Уже в предшествующих главах нашей работы мы выделяли основные черты той консервативной утопии[51], которая была выстроена Загоскиным в начале 1830-х гг. и которой он оставался верным до конца жизни. Попробуем теперь проследить, как эти черты отражаются в сочинениях последнего десятилетия его творчества.

---

[50] О влиянии идей «архаизма» (в первую очередь, идей Шишкова) на славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова см.: [Валицкий 2019].

[51] Аполлон Григорьев причислил ее к явлениям «застоя», а самого Загоскина назвал «нещадно-последовательно наивным талантливым человеком застоя» [Григорьев 1980: 279] и даже «наивным Камиллом Дюмуленом обскурантизма» [Григорьев 1980: 282].

4.1. Главенство веры над философией

В уже упомянутом нами письме 1840 г. издателю журнала «Маяк» Загоскин достаточно последовательно формулирует свое отношение к философии, религии и просвещению, уже знакомое нам по роману «Искуситель»:

> Я полагаю, что **религиозность в романе состоит в том, что б при всяком удобном случае напоминать читателю, что земная жизнь есть не цель, а только средство к достижению цели**, что без христианской религии нет истинного просвещения, что мудрования западных философов есть только медь звенящая и кимвал звящаяй, и что наконец одна только вера во Христа дает человеку возможность быть истинно добродетельным: все это — видит Бог — может быть, очень дурно, но я стараюсь выполнять во всех моих сочинениях [Загоскин 1840: 101].

Здесь следует подчеркнуть творческую установку Загоскина, сформулированную четко и прямолинейно: обязанность христианского писателя в каждой строке своих сочинений напоминать читателю о христианских ценностях. Как мы подчеркивали ранее, наш автор не боится упрека в дидактизме, наоборот, видит в этом положительное творческое начало, хотя и сомневается в собственных силах воплотить эти ценности в текстах. Через все творчество Загоскина проходит мотив конечного торжества добродетели над пороком, важен и тип раскаявшегося грешника — таковы Кручина-Шалонский из романа «Юрий Милославский», Кузьма Рощин из одноименной повести. Имеется и тип подлинного праведника, прошедшего через испытания, таковы Луцкий и Александр Михайлович из романа «Искуситель». Однако в романе «Кузьма Петрович Мирошев» мотив ничтожества земной суеты перед величием Божественного промысла и покорности воле Божией становится главным.

Загоскин создает образ героя, полностью отвечающего христианским идеалам. Мирошев терпеливо переносит все выпадающие на его долю несчастья: утрату родительского наследства, несправедливость армейского начальства, болезнь дочери, проигранную тяжбу, уповая на Бога, и — вознаграждается за это. Герой говорит своей супруге, думая, что их дочь умирает:

> Пусть ропщут и отчаиваются враги Божии, а мы, рабы Его, станем молиться и говорить со слезами: «Помилуй нас, Господи, по великой милости Твоей!» И если наша молитва не будет услышана, покоримся и скажем: «Ты давал нам, Господи, дни радости и счастья; теперь посылаешь нам дни горести и плача, — да будет святая воля Твоя! Ты один знаешь путь, по которому мы должны идти. Теперь он для нас ужасен; но когда души наши воспрянут от земного сна, когда мы будем видеть ясно все — тогда!... о, верь, мой друг, верь, — тогда ты воскликнешь вместе со мною: «Во истину, Господи, Ты есть любовь!» [Загоскин 1898: 3, 206].

И действительно несчастья Мирошева разрешаются как бы сами собой, чудесным образом: сбывается желание, загаданное у часовни с иконой

Богоматери — понравившаяся деревня оказывается его наследством, дочь выздоравливает благодаря получению письма от жениха, тяжба решается в его пользу благодаря вмешательству графа Р***. Роман охватывает всю жизнь героя от детства до старости и полон неожиданных сюжетных поворотов: случайные встречи и счастливые стечения обстоятельств появляются буквально в каждой главе. Л. Н. Киселева в своей пока не опубликованной статье «Результаты читательского опыта в русской беллетристике 1830-х гг. (роман Загоскина «Кузьма Петрович Мирошев»)» показывает, что «Мирошев» Загоскина сочетает в себе черты исторического, нравоописательного, сатирического и идиллического романов [Киселева 2022b], раскрывая разные стороны повседневной жизни «среднего» дворянина:

> Конечно, Загоскин пишет именно роман (т.е. художественный «фикциональный» текст), но слово «быль» в подзаголовке появляется отнюдь не случайно. Оно подчеркивает, что изображаются так сказать «действительные» события, реальные характеры и жизненные ситуации, т. е. Загоскин делает заявку на изображение *жизни действительной*, причем не столько в духе т. наз. *справедливой* повести XVIII века, сколько в духе нового романа, одним из образцов которого был для него «Евгений Онегин» [Киселева 2022b].

Этой установке на «реальность» для Загоскина не противоречит, как показала Киселева, множество литературных источников и использование сюжетов и мотивов произведений как конца XVIII — начала XIX вв., так в первую очередь Пушкина и Жуковского, которых Загоскин понял своеобразно — как представителей «русского направления»:

> Именно с Пушкиным связан для Загоскина перелом в отношении к современной русской литературе. Недаром в «Искусителе» он назван «русским родным поэтом». Если Карамзину, несмотря на «Историю государства Российского», наш автор так и не простил чувствительных повестей 1790-х гг., то Пушкин 1830-х гг. заслонил для него Пушкина — романтического поэта и автора либеральных политических стихов. Загоскин видел в Пушкине «поэта жизни действительной» (хотя эта действительность была у нашего автора препарирована по-загоскински) — того «русского родного поэта», который поднял русскую литературу на высокий уровень и которого, с его точки зрения, можно было причислить к писателям «русского направления». В их числе оказались и Жуковский — автор «русской» баллады «Светлана», и даже Батюшков [Киселева 2022b].

Главным двигателем сюжета романа Загоскина является старый дядька Мирошева Прохор Кондратьич (литературным прототипом которого можно назвать пушкинского Савельича [Белинский 1955: 6, 40]). Именно Прохор узнает тайну наследования деревни Хопровка, подслушивает важные разговоры, советует барину дать взятку судейским (Мирошев не считает взятки

необходимыми), ездит в Саратов искать справки в губернском архиве, инициирует поездку в Москву, чтобы искать справедливости в Сенате. Еще Белинский отметил, что именно слуга Мирошева, а не он сам может считаться главным героем романа: «В Прохоре заключена вся мысль романа; на нем сосредоточено все вдохновение, весь пафос концепции; он истинный и единый герой романа, Ахилл этой вывороченной наизнанку „Илиады“» [Белинский 1955: 6, 45]. Однако в центре внимания Загоскина — не сюжетные перипетии как таковые, а личность праведника Мирошева. Одним из самых серьезных грехов в романе оказывается гордость, которая способна свести на нет даже добрые дела. Так, приятель Мирошева Костоломов (которого Белинский называет карикатурным двойником Мирошева), будучи немолодым человеком, устроил свадьбу полюбившейся ему девушки с ее бедным возлюбленным и дал невесте приданое. Однако доброе дело не принесло ему счастья, и герой приходит к выводу, что причина этого — в нем самом:

> Тошно, грустно, места не найду! <…> Вдруг мне пришло в голову: **уж не наказывает ли меня Господь Бог за гордость…** <…> Нет, любезный, коли Бог не поможет, так ничего путного не сделаешь. **Лишь только задумаешь хорошее, а бес тут как тут и начнет тебе нашептывать на ухо…** Таких резонов наскажет, братец, что черное покажется белым, а белое черным [Загоскин 1898: 3, 247].

Когда Мирошева принимают в доме графа за вора, герой также объясняет это наказанием за свою гордость:

> Я не понял, окаянный грешник, что Ты <Господь> хотел смирить мою гордость!... Мне казалось, что я, бедный дворянин, унизил себя оттого, что обедал незваный у богатого графа, и вот я сделался в глазах людей не только нахлебником, но даже вором! И вместо того, чтоб смирить свою строптивость и, по словам Твоим, радоваться этому незаслуженному позору, я вознегодовал!... Гордость моя возмутилась еще более, и вот Ты избавляешь меня от мирского поношения: я буду чист перед людьми... О, я не достоин был понести крест Твой, Господи! [Загоскин 1898: 3, 319].

Важнейшие «философские вопросы» для Мирошева как христианина «уже решены», в полном соответствии с установками Загоскина, изложенными в письме издателю «Маяка».

4.2. Идеал межсословных отношений

Проблема дворянского достоинства обсуждается в романе на примере сватовства сына крепостного управляющего соседнего с Мирошевым графского имения к дочери героя. В обиде на то, что Мирошевы отказались выдать свою дочь за его сына, карикатурного персонажа, хотя и дослужившегося до

офицерского звания, Панкратий Лукич Курочкин от имени графа затевает тяжбу, желая отнять у Мирошева землю. Заметим, однако, что Загоскин выступает не против нарушения сословных границ, а против унижения дворянского достоинства, поскольку Курочкин — не дворянин ни по происхождению, ни — главное — по поведению:

> — Неужели мы до такой степени ничтожны, что лакейский сын, который сам недавно был лакеем, смеет свататься за нашу Вареньку?
> — Да оттого-то, мой друг, и смеет, что недавно был лакеем. Дворянина офицерский мундир с ума не сведет; а произведи лакея в офицеры, так он сгоряча подумает, что для него во всем Русском Царстве невесты нет [Загоскин 1898: 3, 142].

В отличие от Курочкиных, граф Р***, происходящий от простого казака, ведет себя в романе подобающим дворянину образом. Герои приходят к выводу, что важно не происхождение, а личное поведение вельможи:

> Ведь о нем идет молва, что он настоящий русский боярин: справедлив, милосерд, любит и праздники давать, любит и Богу помолиться; а уж сколько бедных людей живут его милостью, так, говорят, и счету нет! [Загоскин 1898: 3, 85].
> — Неужели, действительно, его высокографское сиятельство происходит из людей низкого звания?..
> — Ну, да, и вовсе этого не стыдится, оттого что он человек отличного ума, и если не по роду, так по делам и душе своей истинный вельможа [Там же: 86].

В финале после всех мытарств и разорений Мирошева возникает deux ex machina сам граф и дарит Мирошеву поместье, ставшее предметом неправедной тяжбы, вместе с крепостным управляющим: Курочкин повержен.

В романе 1846 г. «Брынский лес» боярин Куродавлев наказан за сословную гордыню: он — ярый приверженец уже отмененного местничества, гордится своим боярством и не желает выдавать свою крестницу за стрельца Левшина, несмотря на то, что Левшин происходит из бояр («…кто своею волею, а не по царскому указу пошел в стрельцы, тот забудь и думать породниться с нашей братьею, родословным боярином» [Загоскин 1898: 2, 245]). В финале Куродавлев по-комедийному обманывает сам себя и становится причиной воссоединения возлюбленных:

> Истинно, все наши земные помыслы прах и суета. Думал ли я, что мое доброе заплатится мне злом?.. Вот и тебе также, боярин, больно не хотелось, чтоб твоя крестница была стрельчихою, а Господь то сделал по своему — да еще как!.. Ты сам снарядил ее к венцу!.. [Загоскин 1898: 2, 245].

Загоскин придерживается идеи правильности современного ему сословного строя: допетровское местничество для него архаично, но в послепетровское

время шаг к преодолению сословных границ (женитьба сына крепостного на дочери помещика) должен быть обусловлен чем-то большим, чем чином, а именно: достоинством и человеческими добродетелями дворянина.

Мелкопоместный дворянин Мирошев, «простодушный ребенок с седыми волосами» [Загоскин 1898: 3, 126], набожный отец семейства — не только своего, но и своих крестьян, заботящийся об их благосостоянии, — это нравственный идеал Загоскина. Оказавшись под угрозой полного разорения, герой думает о своих крестьянах: «Не только мы, но и бедные крестьяне наши пострадают. Ведь за них, кроме меня, заступиться некому» [Загоскин 1898: 3, 227].

Под стать идеальному дворянину и его идеальный слуга, дядька Прохор Кондратьич, который испытывает к барину совершенно родственные чувства, и автор прямо называет его носителем отличительных черт русского народа [Загоскин 1898: 3, 27]. Когда барин оказывается в Москве без средств, Кондратьич отдает ему свою кубышку с восемью сбереженными серебряными рублями: «И, сударь, у вас будут деньги, будут и у меня! Да и на что мне столько денег? Что у меня, семья что-ль?.. По вашей милости, я сыт, одет, ни в чем не нуждаюсь; а нищему подать всегда копейка найдется» [Загоскин 1898: 3, 285].

У Левшина, героя романа «Брынский лес», имеется такой же верный слуга Ферапонт (повторяющий черты идеальных слуг в романах Загоскина 1830-х гг. и сочетающий в себе черты и верного Алексея, слуги Юрия Милославского, и предприимчивого Кирши). В романе имеется специальное рассуждение о том, что в старину между господином и барином существовала семейная связь, поэтому слуги назывались «домочадцами», т. е. чадами дома [Загоскин 1898: 2, 70]. Именно такую связь Загоскин хочет видеть и в современном обществе.

Женских персонажей из разных социальных слоев тоже связывают в романах близкие, хотя и не равные отношения. У Вареньки Мирошевой есть наперсница Дуняша, дочь старосты, но девушки воспитываются вместе, и чета Мирошевых копит и ей деньги на приданое. Вместе с тем, они готовы выдать Дуняшу замуж за сына Курочкина (правда, при условии, если он ей понравится). Однако те же Мирошевы не считают Курочкина достойным своей дочери, и это не кажется Загоскину противоречием — полного равенства он не предполагает. Наперсницей Софьи, возлюбленной Левшина из «Брынского леса», становится раскольница Дарья, которая решительно устраивает побег барышни с возлюбленным. И Дуняша, и Дарья в итоге тоже оказываются счастливыми женами своих возлюбленных — тут Загоскин не изменяет традиции *happy end'*а комедии.

Любые проблемы, возникающие в судьбах людей, с точки зрения Загоскина, возможно решить на личном уровне человеческих отношений. По сюжету герои постоянно сталкиваются с несправедливостями и неустройством, что могло бы вызвать резкую критику системы, но — не у Загоскина, хотя мир, рисуемый писателем, устроен далеко не идеально. Так, в армии Мирошев служит под началом труса Фурсикова, который приписывает себе заслуги скромного Мирошева. Тот не протестует, но выходит в отставку, причем по

проискам Фурсикова — тем же чином, хотя обычно при отставке следовал следующий чин. Неправедная тяжба, которую ведет против героя графский управляющий Курочкин, ставит Мирошева лицом к лицу с судебной несправедливостью. Мирошев не подозревает подвохов и склонен и тут положиться на волю Божию, но его вразумляет простонародный персонаж, Прохор Кондратьич, который, как это часто бывает у Загоскина, является носителем здравого смысла:

> «Эх, сударь, — говорил он, — видно, дело то наше идет плохо, когда нам и с заднего крыльца нет хода к судьям. — Тем лучше, Прохор: когда судья не берет, так судит по совести. — Да ведь судятся, батюшка, всегда двое» [Загоскин 1898: 3, 191].

В результате именно вмешательство идеального вельможи графа Р***, под которым подразумевается Кирилл Григорьевич Разумовский, выручает Мирошева из беды.

Никаких обобщений относительно пороков существующей системы Загоскин не делает, хотя взяточничество в романе описано почти по-гоголевски гротескно. Обер-секретарь Сената Припекин, к которому Мирошев обращается с просьбой по рекомендации своего соседа, считает себя честным человеком, поскольку руководствуется принципом «взять, так сделать» [Загоскин 1898: 3, 267]. Припекин передает Мирошева своему подчиненному повытчику Тетерькину, явно желая дать тому заработать на Мирошеве. Тетерькин считает взятки от просителей не должностным преступлением, а оброком сродни тому, который платят крестьяне помещику [Загоскин 1898: 3, 270]. И даже несмотря на такую упорядоченную систему взяткодательства, Мирошев оказывается обманут Тетерькиным, который не соблюдает декларируемых им же правил и берет деньги от Мирошева, будучи уже уволенным со службы.

Итак, в романах Загоскина существует не только добро, но и зло, но добро побеждает, и эта победа достигается личными качествами персонажей, чей внутренний мир устроен по христианскому закону. Это и обеспечивает положительным героям Загоскина душевную гармонию, а сами романы включаются в идиллическую модальность.

4.3. Монарх-помазанник как основа и гарантия существования святой Руси

Хотя состояние России, по Загоскину, далеко не идеально, но в ней имеются все условия, которые позволяют приблизиться к идеалу, определяемому писателем как «святая Русь» (это словосочетание многократно повторяется в романах Загоскина) — это страна, возглавляемая монархом-помазанником, твердая в православной вере и верная традициям предков. В этой связи тема Петра I и петровских преобразований, порвавших с предшествующей традицией,

неизбежно, как нам представляется, должна была возникнуть в творчестве Загоскина, и отметим сразу, что Петр представлен как образ идеального монарха-помазанника. В романе «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого» Петр, хотя и десятилетний ребенок, изображается как надежда страны, в очередной раз ввергнутой в смуту. Одно его слово способно переломить ситуацию, которая грозила катастрофой:

> Десятилетний Петр не походил на обыкновенных детей: на его юном и прекрасном челе лежала печать помазанника Божия. Избранник небес, переродитель России, он и в детских годах удивлял всех своим умом, твердостью и бесстрашием [Загоскин 1898: 2, 3].

Загоскин рисует совершенно фантастическую сцену, где Петр-ребенок усмиряет бунт во время полемики православного духовенства с раскольниками (Никитой Пустосвятом и его сторонниками) в Грановитой палате:

> Окинув смелым взглядом мятежную толпу, он встал, снял с головы своей царский венец и детским, но уже мощным голосом сказал: «Пока этот венец на главе моей и душа в теле, не попущу воевать святую церковь; и как я сам нарицаю ее матерью и верю, что она есть правая и истинная, так и всем повелеваю верить! Ну что ж вы?» — продолжал он, обращаясь к стрельцам, и грозные взоры его засверкали гневом, —«берите этих крамольников!» В одно мгновение все изменилось. Голос царя Русского, как глас Божий, поразил мятежников [Загоскин 1898: 2, 85].

Загоскин смотрит на эти события, исходя из своего великодержавного идеала. Действие происходит в 1682 году, когда на престоле находились два монарха, при регентстве царевны Софьи, причем старшим был Иван Алексеевич. Оба царя, в отличие от Софьи, были помазаны на царство, но Иван был болен, и Загоскин отдает безоговорочное предпочтение Петру: «Господь Бог един на небесах, так на что же нам двух царей?» [Загоскин 1898: 2, 95]. Принцип единодержавия должен быть соблюден, а разделение власти неизбежно ведет к нестроениям. Загоскин пишет, что мятежных стрельцов поддерживало «пагубное влияние на умы властолюбивой царевны Софьи Алексеевны» (при этом он находит нужным подчеркнуть и высокий ум, и образованность, и таланты царевны). По ее приказу на Красной площади устанавливается каменный столб с текстом жалованной грамоты стрельцам, которых автор называет янычарами и разбойниками. Софья также вынашивает план убийства Петр [Загоскин 1898: 2, 4-5]. Герои романа действуют в соответствии с авторской установкой: Куродавлев забывает в молитве о том, что царей двое, а когда ему напоминают, первым произносит Петра, а не Ивана [Загоскин 1898: 2, 189]. Здесь важно отметить, что в лице Куродавлева и его друга Буйносова боярство поддерживает Петра, хотя Загоскину была, конечно, прекрасно известна будущая боярская оппозиция реформам.

Петр у Загоскина оказывается не только проводником Божьей воли, но и человеком, достойным своего великого предназначения. В романе «Русские в начале осьмнадцатого столетия» описывается неудачный Прутский поход, но и здесь Загоскин изображает военное поражение как моральный триумф Петра. Царь предстает нравственным победителем: под угрозой плена он пишет своим сенаторам, что в случае его пленения его указы не должны считаться царскими. Это однозначно трактуется персонажами как самопожертвование царя ради государства: «…он, кормилец наш, себя не пожалел для своего Царства!...» [Загоскин 1898: 2, 490] и уподобляется самопожертвованию родителя ради ребенка. Сцена этого самоотречения, когда царь пишет письмо «народу» (именно так это подчеркивают персонажи: народу, а не генералам), — самая патетическая в романе:

> Много было грустных минут в твоей жизни, Русский Царь, но никогда мощная душа твоя не страдала так, как в эту ужасную ночь. Что думал ты, великий Петр, ожидая решения гордого визиря, от которого зависела не жизнь твоя, — о ней ты мало заботился, — но вся будущность твоей великой державы, твоей православной родины, которую ты хотел, как милое дитя твое, выняньчить и взлелеять на руках своих? Ты возвеличил твою Россию, двинул ее вперед, поставил на чреду могучих и великих царств. И вот все заботы, все труды твои, все надежды, все могло погибнуть в одну минуту! На кого оставлял ты свою святую Русь? Кто стал бы продолжать после тебя начатое? И кто окончил бы то, что было уже почти приведено к концу?... [Загоскин 1898: 2, 440].

Подчеркнем, что Загоскин трактует Петра однозначно положительно во всех своих произведениях (выше мы писали о легенде о путниках и великане в романе «Тоска по родине»). Несмотря на то, что в спорах славянофилов и западников Загоскин примыкал скорее к первым, славянофилом в полной мере он не был. От них его отличает и отношение к философии как к пустой болтовне, и безоговорочное одобрение политики Петра. Загоскин отрицает необходимость философии и прямо связывает занятия ею с безбожием:

> Для истинного христианина философия (не прогневайтесь) — одно пустословие, потому что важнейшие ее вопросы для него уже решены. <…> Философия была откровением эллинских мудрецов, а мы, по милости Божией, христиане, то есть, знаем все то, что можем и должны знать, не изучая ни Гегеля, ни Фихте, ни Канта, ни Окена, ни всех этих эллинохристианских болтунов, о мудрости которых, кажется, не с большою похвалю отзывается Апостол Павел [Загоскин 1840: 101].

О «славянофильстве» Загоскина Хомяков отзывался так: «Досадно, когда видишь, что Загоскин (хоть он и славный человек) за нас, а Грановский против нас: чувствуешь, что с нами за одно инстинкт, ибо Загоскин — выражение инстинкта, а ум и мысль с нами мириться не хотят» [Хомяков 1879: 319]. Философия, понимания которой требовала эпоха 1840-х гг., была действительно

чужда Загоскину. Из-за этого и из-за наивного дидактизма его поздние произведения казались образованным современникам архаичными и вызывали критику.

Также критики отмечали и самоповторы. Например, о романе «Брынский лес» Белинский пишет, что это «новое, не помним уже, которое счетом, подражание г. Загоскина своему первому роману — «Юрию Милославскому»» [Белинский 1956:10, 38]. Слабыми сторонами романа Белинский называет бесцветных героев и «направление, происходящее от охоты автора приходить в восторг от старинных обычаев и нравов, даже самых нелепых, невежественных и варварских, и ими, кстати и некстати, колоть глаза современным обычаям и нравам» [Белинский 1956:10, 38]. Чуть более мягко отзывается Аксаков, вообще сочувственно отнесшийся к «Брынскому лесу»: «Этот роман напомнил читателям „Юрия Милославского“; он написан с тою же силою таланта, утратившего может быть только первую свежесть и новость» [Аксаков 1966: 185].

Преданность монарху, как и в предыдущих романах Загоскина, является органической чертой русского человека и в «Брынском лесе». Но, несмотря на многочисленные даже сюжетные самоповторы из «Юрия Милославского» (пленение разбойниками в лесу, ручной медведь и пр.), новый роман лишен героя с нравственной дилеммой. Левшин, хотя и стрелецкий сотник, не участвовал в стрелецком бунте и верен завету своего отца (тоже стрельца): «„Умереть что!“ — говорил он, — „лишь бы только привел Господь сложить голову за веру, да за царя православного“» [Загоскин 1898: 2, 176], то есть, за десятилетнего Петра: здесь Левшин оказывается прозорливее Юрия Милославского и сразу видит «истинного» царя.

Именно верность престолу является главным моральным качеством героев в романе «Брынский лес». В финале появляется отец Софьи боярин Буйносов и радостно принимает зятя-стрельца: «Стрельцы <отец и сын Левшины. — *Е. Я.*>, да не изменники; а по мне, тот, кто служит верой и правдой царю-государю — где бы он ни служил...» [Загоскин 1898: 2, 253]. Буйносов же объявляет, что время местничества вышло, и теперь царю (десятилетнему Петру!) нужны от своих бояр реальные дела. Он говорит своему другу Куродавлеву:

> Эх, брат Юрий Максимович! зажился ты в своих Брынских лесах!.. Пора тебе приехать в Москву проветриться. Там уж не об этом речь идет. У государя Петра Алексеевича пображивают в головушке свои замыслы. У него только тот и боярин, кто по-боярски служит, сиречь не жалея живота своего! А лежебоков-то о не очень жалует — не прогневайся [Загоскин 1898: 2, 255].

В последнем романе Загоскина «Русские в начале осьмнадцатого столетия», действие которого происходит в 1711 г., монарх-помазанник становится уже проводником европейских идей и ценностей. Но иностранное влияние в петровскую эпоху Загоскин трактует иначе, чем в последующие эпохи (см. ниже).

4.4. Проблема чистоты православия (изображение раскола в романе «Брынский лес»)

Православие является одной из важнейших составляющих консервативной утопии Загоскина, поэтому вполне закономерно, что он обращается к теме церковного раскола и его влияния на умы и духовную жизнь россиян. В романе «Брынский лес» он рисует картину новой смуты, в которую ввергли Русь правление царевны Софьи и стрелецкие бунты. Принцип единства в это время нарушен и во власти, и в вере. Все это порождает смуту в политическом устройстве и в умах. По Загоскину, именно Петр спасает страну от нового бедствия. Одна из значимых сцен, как уже упоминалось, это прение о вере между раскольниками и официальным духовенством в Грановитой палате. Раскольники для писателя — это «бешенные изуверы», невежественные и фанатичные люди, далеко отступившие от христианства, а их лидеры манипулируют сознанием доверчивых людей. Никита Пустосвят — это «слепой вождь слепых», как определяет его юродивый Гриша. Его сторонники «были в исступлении», их «лица изображали нечеловеческое зверство» [Загоскин 1898: 2, 36].

Загоскин не первым в современной ему русской литературе обращается к теме раскола. В 1831–1833 гг. был опубликован роман И. И. Лажечникова «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого», в котором в том числе было показано раскольническое движение и покровительство царевны Софьи раскольникам. В нем выведен тот же герой, что и у Загоскина, — исторический деятель раскола Андрей Денисов, который в обоих случаях изображен негативно, хотя у Загоскина сложнее, чем у Лажечникова. Так, в «Последнем Новике» Денисов обманом в течение многих лет склоняет главного героя, Владимира, к мести Петру:

> Андрей Денисов не простой раскольник. Из роду князей Мышитских, наученный искусству красноречия в Киевской академии и всем приемам ухищренной политики при дворе коварной Софии, которой был он достойным любимцем, умевший поставить себя на степень патриарха поморских раскольников, он знал очень хорошо, с кем имеет дело, и потому оправлял свое лицемерие, властолюбие и вражду к роду Нарышкиных в сладкую, витиеватую речь, в чувства любви, признательности и святости [Лажечников 1913: 2, 61].

Но рядовые раскольники (и главный герой) представляются только жертвами коварства Денисова. Так, Владимир находит на берегу Чудского озера раскольничью деревню, жители которой, по велению Денисова, сколотили себе гробы и ждут Страшного суда. У Лажечникова рядовые раскольники простодушны и легковерны: «Раскольники имеют слепую веру к пришлецам грекороссийского исповедания из дальних стран и потому часто бывают обмануты бродягами» [Лажечников 1913: 2, 185], вера их фанатична, тяготеет к поклонению «талисманам» и лишена мысли:

> У них любовь к Богу, исчисленная на лестовках и знаменных поклонах; вера, заключенная в двухперстном знамении, в осьмиконечном кресте, в поклонении старым иконам; добродетель в ужасном посте, в ожесточении против всякой новизны, как бы она ни была полезна, в унизительном презрении к ближнему, не согласному с их мнением, — вот дух и учение, которым водились общества раскольников! [Лажечников 1913: 2, 188].

Заметим, что Лажечников, герой которого склоняет раскольников на свою сторону, использует один из любимых сюжетных приемов Загоскина из «Юрия Милославского» и «Рославлева»: благородный персонаж усмиряет народ и становится предводителем стихийного народного отряда. Недаром писатель в предисловии ссылается на Загоскина как на своего предшественника и авторитет в области исторического романа.

У Загоскина раскольники изображены более сложно. Белинский отметил в этом романе «вообще недурно, а местами и прекрасно очерченные характеры раскольников» [Белинский 1955: 10, 39]. Есть среди его раскольников и фанатики, обманывающие народ. Левшин и Ферапонт (как и Владимир в романе Лажечникова) спасают жертв «старца» Пафнутия от голодной смерти. А на постоялом дворе герои слышат о его побуждениях к самосожжению:

> Пришел к ним какой то старец Пафнутий, из Сибири — и стал их уговаривать: «примите дескать, православные, ради царствия небесного, венец мученический: окреститесь, братия, крещеньем огненным!» Они с дуру-то ему и поверили: заперлись кругом, подожгли свой скит, да вместе с ним и сгорели. Говорят, будто бы теперь на этом пожарище не раз слыхали по ночам проезжие, как стонут и воют души погоревших еретиков.
> — А этот злодей, что их подучил, сгорел также с ними?
> — Нет, он себе на уме!... «Мне, дескать, братия. нельзя быть вместе с вами вольным мучеником: мне надо и другим проповедовать» [Загоскин 1898: 2, 109].

Загоскин прямо говорит о «трех главных началах почти всякого раскола: безумном фанатизме, фарисейском лицемерии и грубом, закоснелом невежестве» [Загоскин 1898: 2, 133]. Хитрым лицемером является у Загоскина отец Филипп, которого корысть и материальные блага интересуют более, чем вопросы веры. Как и у Лажечникова, именно невежество заставляет рядовых раскольников верить своим учителям: «…повинуются своим наставникам ради того, что они люди начитанные, и слепо верят им потому, что они говорят с ними языком, похожим на церковный язык, которым писаны все наши духовные книги» [Загоскин 1898: 2, 132]. Есть среди раскольников, живущих в Брынском лесу, и просто разбойники, которые только прикрываются именем ревнителей старой веры и с которыми борется боярин Куродавлев.

Но в галерее раскольников Загоскина Андрей Поморянин (Андрей Денисов), родной дядя Левшина и приемный отец его возлюбленной Софьи, нарисован хотя и негативно, но более сложно, чем у Лажечникова. Андрей осуждает

преступления своих единоверцев, однако не хочет, «чтобы посторонние знали до какой степени дела их преступны и беззаконны» [Загоскин 1898: 2, 145]. Он порицает излишне фанатично настроенных раскольников за то, что из-за них идет дурная слава обо всех раскольниках, в том числе, и о вполне благоразумных: «Есть и у нас отщепенцы, которые заводят свои толки да согласия. Мы хотим держаться неизменно веры отцов наших, а они свое выдумывают» [Загоскин 1898: 2, 145]. В вопросе раскола симпатии автора остаются на стороне официального православия, но он, как всегда, не отказывает в здравом смысле и человеческом благородстве своим идейным противникам. Так, брат Андрея Поморянина Семен нарисован как идеальный помещик, крестьяне которого буквально вымаливают у него отказ от заблуждения — находящийся при смерти Семен Денисов кается священнику в приверженности расколу и выздоравливает. Проводит автор и несколько неожиданную грань между раскольниками и старообрядцами, если первые — фанатики и смутьяны, то вторые, по Загоскину, просто молятся по старым книгам и не совершают ничего плохого [Загоскин 1898: 2, 145].

Раскол в романе Загоскина преодолевается на бытовом уровне: воспитанница раскольника Андрея Поморянина выходит замуж за стрельца Левшина, а раскольница Дарья — за слугу Левшина Ферапонта. Обе невесты переходят в веру женихов. В этом видится оптимистическое обещание, что и на уровне государства раскол будет преодолен полюбовно.

Раскольническая доктрина, как она изображена у обоих писателей, это жестокое учение, забывшее о христианском милосердии. Раскольники для Загоскина — это часть «предрассудков старины», которые писатель осуждает (так же, как и «предрассудки новизны» — приверженность европейским модам). Единство веры так же необходимо, как единство самодержавной власти, а следование обычаям предков не должно разрушать единства общества и противоречить здравому смыслу.

4.5. Иноземное влияние как «второе татарское иго»

Как мы видели, в своем отношении к Петру I Загоскин остается верен архаистической идеологии, не порицавшей царя-реформатора. Загоскин поддерживает петровские новшества (реформу платья, бритье бороды), и в романах из петровской эпохи роль иностранцев в переустройстве России трактуется положительно. Однако когда речь идет о второй половине XVIII в. и о современности, то иностранное влияние, особенно галломания русского дворянства, становится предметом постоянной критики и резкого осуждения, что опять-таки вполне согласуется с позицией шишковского лагеря, включая не только «старших», но и «младших» архаистов (достаточно вспомнить программный монолог Чацкого из «Горя от ума»). Покажем это на примере последнего сочинения Загоскина — на цикле очерков «Москва и москвичи». И здесь, осуждая галломанию, писатель критикует, как и в предыдущем

творчестве, в основном, именно московскую галломанию, происходящую отчасти от простодушия и невежества московских дворян.

Теме сопоставления Москвы и Петербурга посвящен очерк «Брат и сестра», вышедший в 1843 г. во втором выпуске «Москвы и москвичей» и названный автором «загадкой». Эта тема не нова, к ней обращались едва ли не с момента основания Петербурга [Исупов 2000], но в 1840-е гг. она будет особенно интересовать западников и славянофилов. Загоскин сравнивает Москву и Петербург, используя метафорические образы сестры и брата. В очерке отчасти повторен прием Гоголя, назвавшего в «Петербургских записках 1836 года» Москву и Петербург «матушкой и сынком». Однако Гоголь прямо называет города, сравнивая их иногда по совершенно парадоксальным признакам:

> В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частию на обед; Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или «в должность». Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымется с постели раньше второго часу; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день, как ни в чем не бывал, в девять часов спешит в своем байковом сюртуке в присутствие [Гоголь 2000: 101].

Загоскин, не называя имен «сестрицы и братца», создает метафорические образы обеих столиц:

> Братец смотрит молодцом, выправлен, всегда навытяжке, строен, подборист, затянут в рюмочку и застегнут на все пуговицы; сестра, напротив, плотная, дородная барыня, держит себя весьма нерадиво, любит покривляться, не терпит никакого принуждения, ходит нараспашку и, как избалованная красавица гарема, нежится с утра до вечера на своих пуховых подушках. Нельзя, однако ж, не отдать ей справедливости: она большая мастерица выбирать свои положения и придавать им какую-то особенную грациозность. Я знаю многих, которым правильные движения и эстетические позы брата гораздо менее нравятся, чем небрежная манера и вовсе не европейские ухватки сестры [Загоскин 1988b: 253].

Как и в романе «Тоска по родине», в загадке о брате и сестре есть аллегорическая притча о Петре Первом: он — общий учитель единокровных брата и сестры, но больше времени уделял младшему брату, откуда, впрочем, не следует, что брата он любит больше. Подобным аллегорическим образом изображена и война 1812 г.: сестра увлеклась «одним мусьё», который явился к ней в дом без приглашения, и чтобы выгнать его, барыне пришлось с помощью старостихи Василисы сжечь собственный дом. Тема московского пожара как добровольной жертвы россиян во имя спасения отечества, столь важная

в «Рославлеве», подробно освещена и в «Кузьме Рощине», где пожар 1812 г. сравнивается с чумой 1771 г. (чума — стихийное бедствие, принесшее Москве гораздо больше бедствий, чем пожар, о чем мы писали выше в параграфе 1.2.3).

Что касается галломании, то ее критика не переходит у Загоскина в сатиру, он использует юмор, но, что особенно важно, писатель в «Москве и москвичах» с радостью отмечает, что галломания выходит из моды, и на смену ей приходит любовь ко всему русскому.

В очерке «Московский старожил» повествователь подчеркивает, что несмотря на укорененность моды «парижанить», ситуация постепенно меняется, и это дает надежду на то, что «второе татарское иго», как он называет галломанию, будет свергнуто:

> Вот наконец стал я замечать, что в нашем хорошем обществе начинают, гораздо чаще прежнего, похваливать и произведения русских художников, и стихи русских поэтов. Уж несколько раз удавалось мне слышать, что наши барыни и барышни разговаривают минут по пять сряду на русском языке. Жуковский, Батюшков, Пушкин лежат уже на дамских столиках рядышком с Ламартином, Виктором Гюго и Казимиром Делавинь. Начали писать не только стихами, но и прозою; **рабское подражание иностранцам**, по крайней мере в словесности, приметно ослабевало, стали появляться сочинения совершенно русские, народные; любовь к чтению русских книг быстро распространялась во всех классах общества; одним словом, все предвещало, что эта **безусловная страсть ко всему иностранному**, это **второе татарское иго** скоро будет сброшено. <…> Видно, эта французская дурь выходит из моды, если начала уже пробираться в нижние слои нашего общества [Загоскин 1988b: 31].

Н. Г. Охотин отмечает, что Загоскин осторожен в своих оценках и стремится обосновать их, привязывая к реальности и вводя для этого критерий здравого смысла:

> Для автора, несомненно, существует противопоставление старого и нового; более того, он эмоционально склонен первое считать хорошим, а второе — плохим. Однако здравый смысл, стоящий на страже объективности, решает по-своему: и в старом и в новом есть свои «за» и свои «против»; поэтому староверы и модники в книге будут, как правило, одинаково смешны [Охотин 1988: 10].

Подобная картина присутствовала и в романах Загоскина: так, в «Тоске по родине» одинаково нелепы и Кукушкин, гордящийся своим роговым оркестром, и «парижанки московского изделия» [Загоскин 1898: 334]. Роман «Русские в начале осьмнадцатого столетия» открывается прямым порицанием приверженности старине, что отделяет Загоскина от славянофилов:

> Из всех внешних и внутренних врагов России, вредящих ее возвышению, устройству и возрастающей силе, оставался один только враг, но самый

> упорный. **Этот враг была почти общая, безотчетная привязанность русских ко всем древним обычаям и предрассудкам старины** [Загоскин 1898: 2, 258].

Таким образом, «безотчетная привязанность» — это порок, и это относится не только к пристрастию к иностранным обычаям, но и к «предрассудкам старины» (об этом мы уже упоминали в связи с линией Куродавлева в романе «Брынский лес»). Ранее Загоскин редко обращал внимание на недостатки старинных нравов, но в 1840-е гг. в его романах появилась и критика местничества, и поддержка петровских ассамблей, которые способствуют нравственности, чего не делали старорусские пиры (на ассамблеях меньше пьют и безобразничают из-за присутствия дам и девиц). Загоскин упрекает современников Петра в консерватизме, в котором оппоненты упрекали и обвиняли его самого:

> Следствием этой слепой привязанности были: неподвижность, презрение ко всему иноземному, невежественная спесь и закоренелое упрямство, всегда враждебное всем переменам и улучшениям, если они хотя несколько противоречат существующим обычаям, иногда совершенно нелепым [Загоскин 1898: 2, 258].

Загоскин устами своего героя Симского объясняет необходимость петровских преобразований: чтобы победить шведов в войне, нужно было поучиться ратному делу у немцев; чтобы понимать немцев и быть понятыми ими, нужно выглядеть, как немцы, иметь с ними, так сказать, «общий культурный код». Это было подражание необходимое, разумное, отвечающее здравому смыслу, а критикует и высмеивает Загоскин галломанию — подражание пустое, высокомерное, модный каприз, свидетельство глупости, которая ведет к лишним денежным тратам. Так, в очерке «Литературный вечер» Авдотья Ивановна Сицкая

> … неутешная вдова, которой на родине все напоминало о потере мужа, уничтожила пашню, посадила крестьян на оброк и отправилась за границу — сначала тосковать на берегах Рейна, а потом порассеять свою тоску в Париже. Она прожила в нем два года, и, действительно, тоска ее рассеялась, но вместе с тоскою рассеялись и все наличные ее деньги [Загоскин 1988b: 185-186].

Сицкая вернулась в Петербург, но сделалась смешной в обществе своим беспрестанным хвастовством: никого уже нельзя удивить заграничными поездками. Однако в Москве Сицкая находит себе место и даже заводит литературный кружок. Подобная «московская» галломания, сближающаяся с провинциальной, — спутник глупости и развращенности, представлена и в романе «Кузьма Петрович Мирошев» в образе Агриппины Львовны Вертлюгиной. Будучи замужней дамой, она хочет соблазнить молодого сына своего соседа: «Эта египетская мумия имела виды на Владимира Ивановича,

то есть ей очень хотелось сделать из него своего болванчика и быть самой его амантою (технические слова замоскворецких щеголих того времени)» [Загоскин 1898: 3, 146]. Вертлюгина глупа, безнравственна и должна вызывать неприятие читателя.

Взгляды Загоскина на иноземное влияние не претерпели существенных изменений в его поздних произведениях, однако они были сформулированы более отчетливо. Загоскин по-прежнему с архаистических позиций осуждает галломанию российского дворянства и, вместе с тем, с удовлетворением отмечает, что безоглядная мода на все иностранное проходит. Но он обращает внимание и на другое явление, связанное с иностранным влиянием: на разумные преобразования петровской эпохи, способствовавшие улучшению нравственности (например, ассамблеи и другие культурные реформы) и усилению России как государства (военные реформы). В его романах появляется более отчетливая критика жестоких «старинных» нравов и местничества, в том числе, как не соответствующих важной для Загоскина категории здравого смысла.

4.6. Проблема чистоты языка

В «Москве и москвичах» есть специальная глава о языке «Письмо из Арзамаса», которая демонстрирует, насколько концепция Шишкова осталась важной для Загоскина и в 1840-е гг. Название отсылает, конечно, ко времени споров о языке «Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса», о чем рассказчик говорит, как о происходящем до сих пор, используя многочисленные цитаты и аллюзии:

> Одни уверяют, что по-русски нельзя и простого письма написать порядочно, а другие убеждены, что русский, который не напишет порядочного письма по-русски, не напишет его ни на каком языке. Одни ругаются именами Ломоносова, Державина и Карамзина, другие гордятся этими великими именами. Одни уверяют, что история русского народа все то же, что история грудного ребенка, а другие говорят, что Русь и при Владимире Святославиче не походила уже на малое дитя [Загоскин 1988b: 345].

Бельский, якобы в ответ на просьбу приятеля, «переводит» иностранные слова: *тенденция*, *субстанция*, *цивилизация*, *гуманность*, *филантропия*, *юмористка*, *ирритация*, *беллетристика*. Но несмотря на декларацию рассказчика: «В наше время безусловное подражание всему иноземному есть чистый анахронизм. Одни только дети подражают всему, не рассуждая, а нам пора выйти из пеленок» [Загоскин 1988b: 348], — выбранные им примеры — это не только иностранные слова, но и «кальки» идей. Конечно, слово «ирритация» имеет полный русский аналог — «раздражение», но сам рассказчик признается, что заменить слово «юмор» словом «балагурство» будет неверно. Еще сложнее дело обстоит с понятиями «цивилизация» и «просвещение». Бельский, в основ-

ном, стоит на позиции Шишкова, непримиримой по отношению к заимствованиям. Однако, воспроизводя точку зрения оппонентов, он пишет: «Зачем переводить иностранное слово, если добрые люди успели к нему приделать русское окончание и употребляют его без малейших оговорок, как будто оно давно уже усвоено нашему языку» [Загоскин 1988b: 354]. Бельский не замечает, что именно когда слово обзаводится «местными» морфемами, вливается в систему языка, оно перестает быть подражанием (как случилось с примерами Бельского — «юмористка» и «беллетрист»). Шишкову такие «компромиссы» в отношении «нового слога» свойственны не были.

В этом очерке, как нам кажется, Загоскин более, чем в других, скрывается под нарративной маской простодушного Бельского, который не видит противоречий и анахронизма исповедуемой им концепции. Именно поэтому очерк завершается ироническим советом обратиться к французской поэме Буало «Поэтическое искусство» и найти ответ там.

4.7. Современная литература, ее достижения и причины уклонения от «правильного» пути

В очерке «Поездка в Симонов монастырь» герои во время прогулки заводят разговор о современной литературе. Поводом становится место прогулки: пруд, в котором утопилась героиня повести Карамзина. Княгиня Зорина восхищается «Бедной Лизой» и с радостью отправляется читать стихи о Лизе, вырезанные на коре окрестных деревьев. Молодежь — дочь княгини Оленька и племянник Прилуцкий — едва вспоминают повесть, которую читали в детстве, и не разделяют симпатий княгини к сентиментальной поэзии. Зориной нравится словесность ее молодости, о современных стихах она говорит: «Если они написаны недавно, так, верно, какая-нибудь гадость <…> Грязная проза, дурные стихи» [Загоскин 1988b: 367].

Ее собеседник, Бельский, считает, что «стихи нынче пишут гораздо лучше прежнего, — в них больше мыслей, но зато в них часто выражаются какие-то неистовые, буйные страсти» [Загоскин 1988b: 367]. Это, согласно Бельскому, само по себе не хорошо и не плохо — это связано со сменой времен и поколений, когда каждое поколение смеется над нравами и обычаями своих родителей: «Век на век не приходит. В наше время поэты ворковали, как голубки, а теперь они ревут подчас, как дикие звери» [Загоскин 1988b: 367]. По поводу вопроса о вреде заимствований Бельский опять рассуждает с точки зрения здравого смысла и опыта:

> Самобытность, эта жизнь народная, имеет большое сходство с отдельным существованием каждого человека. Всякий из нас был некогда ребенком, перенимал все у тех, которые его постарше, учился, потом вырос, возмужал и сделался совершенно не похожим на то, чем был прежде, а между тем все-таки не стал другим человеком, потому что для этого надобно переродиться [Загоскин 1988b: 369].

Современной литературе посвящен и очерк «Литературный вечер». Его хозяйка — галломанка Сицкая, барыня «грибоедовской» Москвы. Она говорит на «смеси французского с нижегородским»: Сицкая «прожила всю молодость в одном не близком от Москвы губернском городе, <…> все жители его чрезвычайно любили говорить разом на двух языках, на плохом русском и на дурном французском» [Загоскин 1988b: 185]. В Москве Сицкая «прикинулась страстной любительницей словесности, и поневоле — русской: в Москве нет французских литераторов» [Загоскин 1988b: 187]. В очерке Загоскина представлены легко угадываемые карикатурные портреты Белинского (в образе «косматого» молодого человека Варсонофия Николаевича Наянова) и уже покойного Станкевича (в образе Неофита Ералашного)[52]:

> Неофит Платонович Ералашный, гений двадцати пяти лет; в черном фраке, с распущенными по плечам волосами; бледное, изможденное лицо его, по словам некоторых, изобличает, как и все лица гениев, неукротимые страсти и сильную волю, а по словам других, — разгульную жизнь и не слишком похвальное поведение, что, впрочем, по мнению новейших французских писателей, составляет также необходимую принадлежность каждого гения. Друзья называют его взгляд орлиным, враги, то есть люди, не знающие толку в гениальности, замечают в этом взгляде что-то полоумное и шальное. Он читает свои стихи этим мощным вдохновенным голосом, который люди обыкновенные и чуждые всякой поэзии называют басом. <…> До сих пор он написал еще только четыре стиха к портрету Бирона, неоконченное послание к морю и сочинил фантастическую повесть «Душа в хрустальном бокале».
>
> Варсонофий Николаевич Наянов, длинный, худой, косматый молодой человек лет двадцати семи. Он пошел было сначала по ученой части, да что-то не посчастливилось: науки ему не дались, языки также, звание действительного студента также, но он знал имена всех современных писателей, затвердил несколько латинских слов, выучил наизусть всю ученую немецкую терминологию и сверх того обладал необычайным даром болтать без устали по два часа сряду, не сказав решительно ничего. С таким богатым запасом нельзя было ему оставаться в числе простых, обыкновенных мыслителей; вот он и решился испытать свои силы на литературном поприще. Читающая публика, которую он теперь называет всегда толпою, не умела оценить его высокого дарования. Варсонофий Николаевич Наянов остервенился, окунул свое перо в желчь и начал свирепствовать, то есть писать на всех рецензии и ругательства. [Загоскин 1988b: 188-189].

Носитель загоскинского здравого смысла в очерке — Артемий Захарьич Рыльский, человек сорока пяти лет (что, очевидно, важно для Загоскина, иронизирующего над «гениями» и «мыслителями» двадцати с небольшим лет). Рыльский «не стоит на коленях пред Западом, однако ж и спиною к нему

---

[52] Прототипы указаны в статье Н. Г. Охотина [Охотин 1988: 12].

не оборачивается; он истинно любит науки, художества, словесность и вообще все прекрасное, какому бы народу оно ни принадлежало» [Загоскин 1988b: 189]. Характерно, что Рыльский ни разу не слышал о «гениях» Ералашном и Наянове. На вечере Ералашный разыгрывает скромность, но на деле раздосадован малым количеством слушателей (их всего пятнадцать), а Наянов не к месту использует сложные метафоры и припоминает Гегеля. В завершении вечера Наянов заявляет: «У нас не было литературы и нет ее!» — эта цитата из статьи Белинского 1834 г. «Литературные мечтания», как и название статьи Наянова, не дают усомниться в намерении Загоскина. Гости засыпают под чтение статьи Наянова «Взгляд на русскую словесность». В финале Рыльский разоблачает Наянова как «литературного торгаша», который в своих рецензиях ругает талантливого Луцкого за то, что тот отказался дать стихотворения в его, Наянова, журнал.

А в очерке «Несколько слов о наших провинциалах» содержится завуалированный выпад против «Ревизора» Гоголя как карикатуры на русскую жизнь. Рассказчик утверждает, что истинные нравы можно увидеть, только если застать жителей провинции «врасплох», но когда это ему удается, ничего особенно ужасного он не обнаруживает, напротив:

> …я встречал нередко и мужчин, и замужних женщин, и девиц, которые любили побеседовать со мною о словесности, науках, об изящных искусствах и, что всего лучше, имели полное право рассуждать об этих предметах. Мне попадались и добросовестные судьи, и честные, благородные чиновники, которых, однако ж, никто не называл глупцами, потому, дескать, что умный человек не может быть не плутом. Конечно, и мне также случалось иметь дело с дураками, не слишком честными людьми, не очень грамотными дворянами, да где же вы с ними не встретитесь?.. [Загоскин 1988b: 284].

Известно, что Загоскин, будучи управляющим конторы московских императорских театров, способствовал в 1836 г. постановке «Ревизора» на сцене московского театра, хотя, как утверждает В.Д. Денисов в статье «М. Н. Загоскин и „загоскинское" в комедии Гоголя „Ревизор"», «по-видимому, уже тогда неоднозначно оценивал комедию» (доказательств, правда, ученый не приводит, ссылаясь на то, что «…это выяснилось позднее, при московской постановке „Женитьбы" и „Ревизора" в редакции 1842 г.» [Денисов 2004: 206]). При выходе нового издания «Ревизора» 1842 г. Загоскин был крайне недоволен появившимся эпиграфом к комедии — пословицей «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». С. Т. Аксаков в письме Гоголю 8 февраля 1843 года писал: «Загоскин в театре не был, но неистовствует против „Женитьбы" и особенно взбесился за эпиграф к „Ревизору". С пеной у рта кричит: „Да где же у меня рожа крива?" Это не выдумка» [Гоголь 1988: 2, 46]. Гоголь использовал анекдотическую реакцию Загоскина для характеристики Семена Семеныча, одного из персонажей «Развязки „Ревизора"», проследив, однако, чтобы между Загоскиным и Семеном Семенычем не было никакого внешнего сходства [Денисов 2004: 206].

Итак, в очерках 1840-х гг. Загоскин смягчает свое отношение к Карамзину, причисляя его к ряду классиков. Теперь Загоскин полемизирует с новым течением — с натуральной школой (Гоголю достается, скорее всего, из-за положительного отношения к нему Белинского и из-за неприятия гоголевской сатиры, в частности, «Ревизора»; напомним, что в «Тоске по Родине» Загоскин весьма сочувственно цитирует поэтический пейзаж Гоголя).

Таким образом, Загоскин не отрицает успехов современной русской литературы, но ее недостатки видятся ему в «неистовом», т. е. романтическом (подражающем французской «неистовой» словесности) направлении, которое возглавляют «косматые» (т. е. не соблюдающие приличий) молодые люди, ошибочно вообразившие себя гениями. Загоскин хочет видеть в литературе «русские» ценности, связанные для него с христианством. Свое творчество он противопоставляет «неистовой» школе, но это не значит, что он не стремится занять места в современном литературном процессе. Сама полемика свидетельствует о том, что Загоскин внимательно следил за новыми тенденциями в литературе и по-своему пытался идти в ногу с временем, о чем говорит и выбор жанра его последнего сочинения «Москва и москвичи».

1840-е годы в русской литературе — время господства физиологического очерка. Жанр физиологии, заимствованный из французской литературы и близкий к газетному фельетону, Белинской положил в основу «натуральной школы», первенство которой провозгласил в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Историю русских физиологий принято отсчитывать от издания «Наши, списанные с натуры русскими» (1841), образцом для которого был французский сборник «Французы в их собственном изображении» (1840–1842) [Шишмарева, Жуков 1939; Манн 1969; Манн 1989]. Значительным событием стал выход в свет альманаха «Физиология Петербурга» (1845) под редакцией Некрасова и с вступительной статьей Белинского. В альманахе приняли участие авторы, которых относят к «демократическому направлению»: Белинский, Григорович, Некрасов, Панаев. Умение точно изображать неприукрашенную действительность, согласно Белинскому, — одно из важнейших качеств жанра физиологического очерка и главная цель альманаха «Физиология Петербурга».

Называя во вступительной статье к альманаху некоторых предшественников-очеркистов, Белинский упомянул и имя Загоскина, который обратился к жанру нравоописательного очерка еще в 1817 г., участвуя в издании журнала «Северный наблюдатель». Это было «нравственное, сатирическое, литературное и политическое издание. Первое место в нем занимал раздел, названный издателями «нравы»: это картины общественной жизни» [Круглый 1889: 30]. Аксаков со слов Загоскина передает, что последние полгода существования журнала он выпускал его один, «работая день и ночь, и подписывая статьи разными буквами и псевдонимами» [Аксаков 1966: 174]. В действительности это было преувеличением, но для нас важно, что в части 1, на стр. 41-46 был напечатан очерк «Знатоки или история одного дня», подписанный «М. З., житель Лиговского канала».

В 1840-е гг. Загоскин, очевидно желая влиться в поток современной литературы, обращается к жанру, в котором когда-то работал, и пишет очерки об истории московского быта «Москва и москвичи». Они написаны от лица Богдана Ильича Бельского, московского старожила. Это бытописательные очерки, дополненные характерными историческими справками, повестями и драматическими сценами с вымышленными персонажами и «типичными» сценами московской жизни начала XIX в., которые якобы являются воспоминаниями Бельского. А. М. Песков сравнивает эти очерки с дагерротипами на фоне лубочных картин, какими были, с его точки зрения, романы Загоскина [Песков 1988: 28]. Белинский же едко высказался, что сборник Загоскина «несмотря на все свои достоинства <…> имеет тот весьма важный недостаток, что в нем нет ни Москвы, ни москвичей» [Белинский 1991: 13].

Понятно, почему Белинский пишет так свысока и уничижительно. В цикле в новой форме воспроизводятся знакомые идеи и сюжеты; в очерке «Марьина роща» Загоскин использует готовые фрагменты из романа «Искуситель»:

> …оставленное, но вовсе забытое кладбище, на этом народном гулянье давно уже заросшие травою могильные камни превратились в столы, за которыми раздаются веселые песни цыган и пируют в семик разгульные толпы московских жителей [Загоскин 1838: 2, 112].

Сравним этот фрагмент с описанием Марьиной рощи в цикле «Москва и москвичи»:

> В этой Марьиной роще все кипит жизнию и все напоминает о смерти. Тут, среди древних могил, гремит разгульный хор цыганок; там, на гробовой плите, стоят самовар, бутылки с ромом и пируют русские купцы. Здесь, у самой насыпи, за которой подымаются могильные кресты Лазарева кладбища, раздается удалая хороводная песня; кругом мертвые спят непробудным сном, а толпа живых, беспечно посматривая на эту юдоль плача, скорби и тления, гуляет, веселится и безумствует, не думая нимало о смерти [Загоскин 1988b: 117].

Сцены «из рукописной комедии» «Четыре визита» воспроизводят некоторые мотивы повести «Тоска по родине», сохраняя даже образ швейцарца, для которого, якобы, как и для русского, эта тоска свойственна:

> Нет, что ни говори: в гостях хорошо, а дома лучше. Вот грусть моя превратилась наконец в эту «тоску по родине», ужасную болезнь, от которой, говорят, горные швейцарцы, как мухи, умирают. А как мне умирать вовсе не хотелось, так я поторопился привести в порядок свои дела, взял почтовых, посулил на водку и вихрем помчался
>
> По дороге столбовой
> В нашу матушку Москву
> Белокаменную [Загоскин 1988b: 288].

Как это уже было в романе «Искуситель», актуальными для Загоскина текстами, в диалог с которыми он вступает, оказываются сочинения Карамзина, который, как мы уже отмечали выше, из идейного и литературного оппонента становится для писателя, во-первых, символом эпохи рубежа XVIII–XIX веков, во-вторых, историком и краеведом, чьи заслуги не могут оспариваться, а в-третьих, идеологом, чьи убеждения Загоскин в ряде случаев разделяет (например, о необходимости для России самодержавия).

Так, очерку «Прогулка в Симонов монастырь» предшествует эпиграф из «Бедной Лизы»: «Всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря», а описание монастыря и вида на Москву у Загоскина иногда дословно повторяет его описание в повести Карамзина:

> Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; <…> Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим [Карамзин 1964: 1, 605-606].

Загоскин специально включает описание зимнего пейзажа, который позволяет увидеть Москву в роскошном «зимнем наряде», и рисует ту же «равнину, над которой подымались главы церквей и пирамидальные вершины колоколен», где все «горело и сверкало в солнечных лучах, которые расстилались по снегу золотом и самоцветными каменьями» [Загоскин 1988b: 355]. Впрочем, описанная в очерке прогулка происходит все же летом, и пейзаж, наблюдаемый от стен монастыря, очень напоминает карамзинский, вплоть до слова «амфитеатр»:

> Прямо по реке от самой подошвы Симоновской горы начинается обширный зеленый луг с небольшими прудами; посреди его в песчаных берегах извивается Москва-река; за нею тянется вплоть до Данилова монастыря Серпуховская часть Замоскворечья со своими садами и огромными фабриками. Направо поднимается амфитеатром вся Заяузская сторона Москвы со своими каменными палатами и великолепными церквами. Вы обернетесь назад, и вот перед вами, вместо высоких холмов, усыпанных

домами, широкие луга, темный сосновый лес, засеянные поля, живописные перелески, рощи, несколько деревень, Перервинский монастырь и вдали, на самом краю небосклона, знаменитое село Коломенское [Загоскин 1988b: 362-363].

Загоскин отчетливо ориентируется и на очерк Карамзина «Исторические воспоминания на пути к Троице», напечатанный в 4 и 5 частях журнала «Вестник Европы» в 1802 году и потом воспроизводившийся в собраниях сочинений. Так, например, для Загоскина важно то, что Карамзин пишет о национальных характерах: французы легкомысленны, а русские добродушны (напомним, что словом «добродушный» все современные ему мемуаристы описывают и самого Загоскина; по-видимому, писатель «русского направления» должен был обладать главной, со времен Карамзина, русской чертой, — добродушием). В русских деревнях, утверждает Карамзин, часто старики живут более ста лет («Едва ли в какой-нибудь земле люди живут дольше, чем у нас» [Карамзин 1802: 4, 225]), это возможно благодаря северному климату и любви к труду — в этом суждении видны следы идеи Гердера о связи национального характера с природными условиями.

Несомненным доказательством того, что Загоскин внимательно изучил очерк Карамзина при работе над своим очерком «Петровский парк и воксал», служит описание мытищинского водовода. Загоскин заимствует у Карамзина и цель поездки (посещение Троицкого монастыря), и историческую справку, и даже описание вкуса воды. Карамзин жалуется на отсутствие в Москве хорошей воды и говорит о проекте Екатерины II, по которому вода из колодцев Мытищ должна подаваться в столицу: «она чиста и не имеет никакого вкуса, следственно, очень хороша» [Карамзин 1802: 4, 212-213, 217]. Загоскин описывает мытищинский водопровод так:

Сколько раз, бывало, проездом в Троицкую лавру, останавливался я в Больших Мытищах для того только, чтоб напиться знаменитой мытищинской воды, которая издавна славится своею свежестию, чистотою и чрезвычайно приятным вкусом, или, лучше сказать, совершенным отсутствием всякого вкуса — главным достоинством хорошей пресной воды. Как часто жалел я, что предположение императрицы Екатерины II не было исполнено и что эта превосходная вода не проведена в Москву [Загоскин 1988b: 131].

Карамзин использует сюжет поездки в монастырь, чтобы показать, как эти места соприкасаются с важнейшими событиями российской истории [Казаков 2009]. События эти, по Карамзину, так или иначе связаны с правящими монархами от Дмитрия Донского до Елизаветы Петровны и с войнами, которые они вели. Ясно прослеживается идея монарха как отца народа: говоря о Смуте, Карамзин называет русских «сиротами»; кроме того, автор упоминает народную любовь к Ивану Грозному и радость, с которой встречали его жители Москвы после взятия Казани. Главная же мысль очерка о Троицком монастыре

тоже может быть охарактеризована как великодержавная: «Троицкая лавра — Русский Палладиум, и благочестивые старцы ее не только молитвою, но и делом служили ревностно служили отечеству» [Карамзин 1802: 4, 294]. Эти идеи были близки Загоскину, он повторял их не только в романе «Юрий Милославский», но и, как мы видели выше, и в текстах 1840-х гг., однако в очерках «Москва и москвичи» его оптика смещается: в фокусе оказывается не история, а нравы, и вместо жизнеописания Бориса Годунова (как у Карамзина) Загоскин пишет о деятельности московского генерал-губернатора Д. В. Голицына и о том, что водопровод с чистой водой быстро превратился для москвичей из роскоши в обыденность, и изображает гуляния в Петровском парке.

В «Москве и москвичах» Загоскин описывает сцены быта среднего дворянства, многократно изображенные им в романах: балы, литературные вечера, гуляния, поездка за границу; иногда автор обращается к описанию нравов московского купечества. В своих сценах и очерках Загоскин использует привычные и знакомые по его предыдущему творчеству имена и фамилии (Радугин, Завольский), присутствует также персонаж «Горя от ума» Марья Алексеевна, а о других персонажах комедии Грибоедова (Фамусов, Молчалин, Загорецкий) сказано во множественном числе как о типажах. Н. Г. Охотин характеризует образ Москвы в очерках Загоскина как «типичную консервативную утопию», «патриархальное царство», черты которых мы встречали в предшествующих произведениях Загоскина и особенно, как мы писали выше, — в «идиллических» главах романа «Искуситель». Исследователь так описывает основы этой утопии:

> Основная сила, регулирующая его <патриархального царства. — *Е. Я.*> внутреннюю жизнь, с одной стороны, — присущее всем жителям национальное и религиозно-нравственное мироощущение. Никаких внутренних конфликтов не предусмотрено: все твердо знают свое место и довольны им. С другой стороны, власть, которая видится не как государственная машина, а как семейное, патриархальное начало, обеспечивает всем равное покровительство [Охотин 1988: 11].

Москва в очерках Загоскина становится моделью России, квинтэссенцией всего русского, всего лучшего в русских нравах и обычаях. Вместе с тем, очерки не лишены критического пафоса, однако, как отмечает Охотин:

> …социальное зло для Загоскина неспецифично, оно растворено в океане нравственного зла, видится автору книги лишь как одна из сторон общего «повреждения нравов», имеющего вполне определенный источник — Запад. И если уж говорить о полемике, то настоящий враг Загоскина не российская действительность (все-таки «свое»), а западные новомодные «идеи» (тоже, между прочим, утопические) и их русские апологисты [Охотин 1988: 12].

Говоря об утопичности модели Загоскина, Охотин указывает на ее непродуманность — «…автор больше думал над тем, чего в ней не должно быть,

чем над позитивными, организующими ее элементами» [Там же] и подчеркивает сходство со сном Ивана Васильевича из повести В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845), а также с утопической концепцией С. С. Уварова, выраженной в тезисах «самодержавия, православия, народности» [Охотин 1988: 12]. Однако следовало бы привести еще одну параллель — «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя (1847), создававшиеся параллельно с очерками Загоскина и независимо от него.

Между этими сочинениями имеется множество точек пересечения, как в общем, так и в частностях. Например, Гоголь, как и Загоскин, декларирует патриархальную идиллию в русской деревне, где помещик — отец своим крестьянам, но, пожалуй, идет гораздо дальше в утверждении незыблемости крепостного права. В письме «Русский помещик» Гоголь подчеркивает, что власть помещика над крестьянами — от Бога: «всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога» [Гоголь 1952: 8, 322]. С идеей Загоскина о вреде просвещения для крестьян и необходимости замены просвещения православной верой, высказанной особенно явно в романе «Искуситель», соотносится и следующее место из сочинения Гоголя:

> Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. <…> Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему, ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых [Гоголь 1952: 8, 325].

Когда мы говорим здесь о «Выбранных местах», мы, конечно, не считаем позицию Гоголя в этой сложнейшей («фантастической», как назвал ее Белинский) книге тождественной позиции Загоскина. Кардинальное отличие гоголевского взгляда заключается в том, что он прямо указывает на «мерзости» русской жизни и буквально взывает к их исправлению[53]. У Загоскина нет этого «отрицательного» пафоса, хотя и он показывает пороки русской жизни, однако у него они всегда уравновешиваются примерами положительных

---

[53] «Россия, точно, несчастна, что несчастна от грабительств и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой; что болит сердце у государя так, как никто из них не знает, не слышит и не может знать. Да может ли быть иначе при виде этого вихря возникнувших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро и пользу истинную своей земле, при виде повсеместного помраченья и всеобщего уклоненья всех от духа земли своей, при виде, наконец, этих бесчестных плутов, продавцов правосудья и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело и в мутной воде ловить свою презренную выгоду» [Гоголь 1952: 8, 361].

персонажей, которые должны стать образцами для читателей. Вместе с тем, в тех путях и средствах, которые Гоголь видит для исправления недостатков, немало общего со взглядами Загоскина. В первую очередь, это убеждение в примате духовного над материальным, в ориентации на христианские ценности, которые единственно могут спасти Россию, а также мысль о том, что все несправедливости можно исправить на личном уровне, деятельностью добродетельных чиновников и вельмож, а неустройства в деревне — деятельностью заботливых помещиков. Гоголь, как и Загоскин, почитает самодержавие и монарха святыней. Что же касается соотношения России с европейскими государствами и русского человека с западным, то и тут у обоих авторов все решается в пользу России и русских. Гоголь также полагает, что на них негативно сказалось западное просвещение, но это влияние должно быть преодолено воздействием русских лирических поэтов:

> Дремлет наша удаль, дремлет решимость и отвага на дело, дремлет наша крепость и сила, — дремлет ум наш среди вялой и бабьей светской жизни, которую **привили к нам, под именем просвещения, пустые и мелкие нововведенья**. Стряхни же сон с очей своих и порази сон других [Гоголь 1952: 8, 62],

— призывает Гоголь поэтов, которые должны «возлюбить» «спасенье богоизбранного своего народа» (в этой идее богоизбранности русских автор «Выбранных мест» заходит гораздо дальше Загоскина).

Конечно, наш автор чужд проповеднического и учительного пафоса, который оттолкнул от книги Гоголя многих читателей. «Выбранные места из переписки с друзьями» — это яркое публицистическое высказывание, рисующее «истинную» Россию, т. е. такую, какой она должна быть, в представлении писателя, и дающее конкретные инструкции каждому состоянию людей в России (каждый на своем месте должен прозреть, покаяться, осознать свой долг, и в этом случае произойдет мгновенное, чудесное преображение страны). Загоскин остается автором художественной прозы и действует конкретными примерами своих вымышленных героев. Если Гоголь видит в смирении основной путь к преображению, но у него отсутствуют образы носителей этого христианского качества (приводятся лишь настойчивые рассуждения о нем в модусе долженствования), то Загоскин рисует образ подлинного смиренника в лице своего героя Мирошева и показывает награду, которую он получает за свое смирение.

При всем очевидном различии, указанные идеологические переклички (число которых можно было бы увеличить, но это не входит в нашу задачу) столь разных авторов симптоматичны и свидетельствуют о том, что Загоскин, писатель иного уровня, чем Гоголь, тем не менее уловил важную тенденцию эпохи, когда в русской культуре шли поиски путей реабилитации христианских ценностей как практического основания государственной жизни.

В «Москве и москвичах» Загоскин вновь предстает автором русского, даже московского направления, и Москва для него, по его собственным словам, является «сердцем России». Эта тема тоже не новая для Загоскина, но до этого она не выдвигалась на первый план. Например, в «Тоске по родине» рассказчик, прерывая историю, хотя и не без доли иронии, говорит:

> Не прогневайтесь, любезные читатели, это так — небольшое московское хвастовство. Когда у нас речь зайдет с москвичом среднего состояния об огромности нашей древней столицы, то знайте наперед, он непременно отпустит красное словцо: сорок сороков церквей и два сорока верст кругом, это уж дело известное. Начните уверять московского мещанина, что, например, Лондон более Москвы, он покачает головой [Загоскин 1898: 309].

Итак, в творчестве 1840-х гг. Загоскин снова обращается к исторической прозе и более явно обозначает свою архаистическую ориентацию, не совпадающую с позицией славянофилов (особенно это заметно в романе «Русские в начале осьмнадцатого столетия»), в ряды которых его записали современники. В «Мирошеве» он создает образ праведника, носителя всех свойств и ценностей, дорогих Загоскину на протяжении всей его жизни. В «Брынском лесе» он одним из первых обращается к проблеме церковного раскола и необходимости его преодолеть для воплощения идеала «святой Руси». Самым важным произведением 1840-х гг. можно считать цикл очерков «Москва и москвичи».

Как мы уже подчеркивали, Загоскин и в 40-е годы стремится быть актуальным писателем, но, обращаясь к модному жанру очерка, он не повторяет его особенности (как это было с фантастическими повестями «Вечера на Хопре»), а полемизирует с ними. Очевидно, Загоскин осознанно не стремился написать «физиологию». Он не фиксирует и не классифицирует явления жизни, как это должен был бы сделать автор-физиолог, а оценивает их, делит на *правильные* и *неправильные* (чаще даже на «свои» и «чужие», заимствованные). Этому способствует и система рассказчиков, главным из которых является Бельский. Вместо актуальной физиологии Загоскин создает нравоописательные картины по образцу очерков 1810-х гг. В.-Ж. Жуи [Охотин 1988: 13], традиции которых когда-то сам обращался, и остается верным своему творческому методу и любимым идеям.

Загоскин — идеолог-патриот, но его патриотизм его «московский», патриархальный. Он старается идти в ногу со временем и быть современным патриотом и использовать соответствующие эпохе формы идеологического высказывания. Так, в 1847 г. в Москве появляется первая частная городская газета «Московский городской листок», просуществовавшая всего год, но интересная с точки зрения помещаемых в ней материалов. Загоскин печатает в ней очерк «Андрей Евстафьевич Дыбков (отрывок из третьего выпуска «Москвы и москвичей, или Записок Бельского»)», и этот очерк соседствует с записями публичных лекций славянофила С. П. Шевырева, художественными произведениями западника А. И. Герцена и литературной критикой будущего создателя «органической критики» А. А. Григорьева [Ящук 2018с].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

М. Н. Загоскина нельзя назвать забытым автором. После двухтомника избранных сочинений и тома очерков «Москва и москвичи», опубликованных в 1988 г., его романы, причем не только самые известные «Юрий Милославский» и «Рославлев», по самым приблизительным подсчетам по каталогу Российской государственной библиотеки выходили более 30 раз; они широко доступны и в Интернете. Так что имя Загоскина знакомо широкому современному читателю не только по хрестоматийной реплике Хлестакова в гоголевском «Ревизоре» («„Юрий Милославский“ <…> это точно Загоскина; а вот есть другой „Юрий Милославский“, так тот уж мой»).

Если же говорить об исследовательской традиции, то хотя без упоминания Загоскина не обходится ни одно исследование русского исторического романа, все же о нем пишут не без некоторой снисходительности, которую усвоили по отношению к нему еще современные ему литераторы и критики. Мы приводили свидетельства, по которым у Загоскина сложилась репутация человека бесхитростного, наивного приверженца всего «русского», ревнителя старины и ненавистника иностранных заимствований. Наша диссертация, как кажется, во многом корректирует эти представления. Разумеется, Загоскин не был столь же эрудированным и рефлектирующим деятелем, как его современники — писатели пушкинского круга, славянофилы или же Уваров, или Чаадаев. Несмотря на это, его взгляды не были и такими уж наивными: писатель внимательно следил за современными ему историческими и литературными событиями и реагировал на них в своей прозе, на протяжении десятилетий снабжая читателей подходящими нарративными схемами и эмоциональными моделями, чтобы те могли формулировать свое отношение к этим событиям.

Мнимая «наивность» Загоскина, как кажется, связана с важным, но до сих пор до конца не понятым местом, которое его произведения занимают в интеллектуальной истории Российской империи. Исследователи русского национализма первой половины XIX в. склонны представлять его ключевые фигуры как утонченных интеллектуалов, находившихся в сложном диалоге с братьями Шлегелями, Шеллингом, Баадером, де Местром и многими другими европейскими мыслителями (см. [Зорин 2018; Виттекер 1999] и мн. др.). Соответственно «националистическое воображение» этого периода предстает уделом лишь немногочисленной группы деятелей, способных адекватно воспринять эти сложные философские концепции. Однако национализм по определению не может сводиться к философским изысканиям узкого кружка интеллектуалов, сколь бы эрудированы они ни были. Уже Б. Андерсон отметил, что национализм в этом отношении ближе к религии, чем к философии: у него нет и не может быть великих мыслителей [Андерсон 2001: 30]; см. также: [Геллнер 1991: 256–257]. Ключевой способностью националистической идеологии является не ее интеллектуальная состоятельность, а способность быстро передаваться

и распространяться среди значительного количества людей, которые начинают осмыслять себя как нацию [Хрох 2002: 121–145].

Для развития идеологии в Российской империи принципиально значимыми оказываются не только немногочисленные первопроходцы, заимствовавшие концепции этнического или языкового национализма из немецких или славянских стран, не только ученые, записывавшие и популяризировавшие фольклорные тексты. Относительно широкая публика ориентировалась вовсе не на переписывавшегося с Гете Уварова и не на знатока католической и протестантской теологии Хомякова, а на более доступных авторов, дававших удобопонятные и доступные для каждого модели национальных чувств. Эти авторы должны были создать не философскую или политическую теорию национализма, а понятные большинству читателей нарративные схемы, интеллектуальные клише и эмоциональные модели, которые позволяли осмыслять себя и свою страну как представителей нации. Эта задача была далеко не простой: от писателя, пытавшегося в условиях Российской империи вообразить себя членом русской нации, требовалось разрешить несколько сложных противоречий. С одной стороны, требовалось согласовать политику многоконфессионального и полиэтнического государства с характерным для национализма ощущением исключительности своего народа (см.: [Maiorova 2010]). С другой стороны, необходимо было связать актуальную современность, в которой жили читатели, и далекое историческое прошлое, в которое уводила «изобретенная традиция» национальной культуры [Хобсбаум 1998: 153–156].

В этой работе мы попытались рассмотреть литературную деятельность именно такого автора — не отличавшегося блестящим образованием, но способного успешно воспринять и транслировать ключевые концепции бурно развивавшегося в Европе романтического национализма. Загоскин эффективно справился со сложной задачей — упаковать идеи рождающегося русского национализма в доступную относительно широкому читателю нарративную и идеологическую форму. Прежде всего, писатель стремился мифологизировать отдельные исторические эпизоды, такие как Смутное время или вторжение наполеоновских войск в Россию, которым можно было придать особенное значение. Романы Загоскина не требовали от читателя глубоких познаний в истории, философии и других областях. Напротив, они давали множество полезных сведений о прошлом российского государства, о различных политических и идеологических течениях, и пр. Отобранные Загоскиным факты выстраивались в простую и понятную нарративную схему, создававшую представление о неизменно православном и монархическом русском народе, от века населяющем российские земли и готовом защитить их от любой чужеземной агрессии — как военной, так и идеологической.

Отказываясь от универсалистских претензий европейского Просвещения, Загоскин предлагал читающей публике очень удобный и простой способ разрешать любые исторические и этические проблемы — судить о них с «русской» точки зрения. В отличие от вошедших в литературный канон русских классиков, Загоскин не был склонен ставить «роковые вопросы»

и неразрешимые проблемы. Писатель был далек от философии и склонен резко ее осуждать в своих произведениях. Напротив, в его прозе моральные вопросы о добре и зле обычно легко разрешимы. Он не избегает показывать непреодолимое общественное зло: несправедливый суд, взяточничество, произвол начальства и пр. — но они не мешают его героям найти личное счастье. Православная вера обычно решает все моральные вопросы героев Загоскина. То же должно быть и на государственном уровне: поэтому церковный раскол в романе «Брынский лес» — один из тревожных признаков возможного распада русской нации так же, как и двоецарствие в начале петровского правления, и стрелецкие восстания — преодолеваются на уровне «правильного» отношения к ним истинных носителей «русского» сознания.

Особенная сила исторической мифологии, разработанной Загоскиным, состояла в ее актуальности для разрешения самых злободневных вопросов. Исторический роман Загоскина в этом смысле был не чисто историческим: писатель предлагал не только убедительные и интересные образы прошлого, но и решение вполне актуальных политических задач. Так, роман о Смутном времени и его завершении в исполнении Загоскина оказался тесно связан с политическими дискуссиями пред- и постдекабристской эпохи 1820-х гг.

В этой связи следует рассматривать и литературную позицию Загоскина, которая отнюдь не соответствует восходящему к современникам писателя убеждению, будто он был совершенно глух к литературным новостям. Загоскин в своем творчестве учитывал и журнальную полемику об историческом романе, «неистовой словесности» или «натуральной школе», и споры «архаистов» и «новаторов», и первые дискуссии западников и славянофилов. Едва ли можно сказать, что писатель просто стремился сохранить популярность, обращаясь к злободневным вопросам. Скорее, он пытался осмыслить происходившие на его глазах события и предложить читателям их «русское», то есть определявшееся логикой национализма, понимание. Некоторые из своих убеждений Загоскин пронес через все творчество: например, отношение к фигуре Петра I в духе «архаистов». Но Загоскин и достаточно чутко реагировал на общественные настроения, что особенно проявилось в его первых романах, где он, не будучи идеологом по складу своего дарования, выступил одним из создателей русского национального мифа и представления о «русском характере».

Национальная идеология у Загоскина неотделима от имперской и не противоречит ей. Предлагая в своих романах основные ее тезисы, он предвосхитил уваровскую триаду. Заметим, однако, что триада эпохи 1812 года «Вера — царь — отечество» более точно описывает позицию Загоскина, чем уваровская «православие — самодержавие — народность»: по духу Загоскин был не петербургский патриот, а московский — с присущей московскому миру патриархальностью, семейственностью, антибюрократическим началом. Россия для Загоскина во все времена — это самодержавное православное государство, и идея царя — отца всем подданным, — часто ключевая в его романах. Царь — помазанник Божий, и это для Загоскина принципиально. Отсутствие царя ведет к смуте («Юрий Милославский»), а узурпация власти

(см. образ царевны Софьи в «Брынском лесе») и противление царю — это грех. Поэтому же для Загоскина важно соблюдение социальной иерархии. Вместе с тем писатель в каждом своем произведении подчеркивает, что сословные границы менее значимы, чем национальное единство. В его произведениях истинный барин — отец своим крестьянам, а отношения между ними неизменно основаны на любви.

Подобным образом — по принципу семейственности — по Загоскину, в империю должны входить и разные народы. Видимо, Загоскин был в целом готов признать за поляками ограниченное право на собственное национальное самоопределение, хотя и лишенное политического измерения. Именно поэтому в произведениях Загоскина нет того градуса ксенофобии, который характерен для более поздних националистических романов, наподобие произведений Достоевского: рядом с карикатурным «кичливым ляхом» Копычинским у Загоскина будет разумный и благородный поляк Тишкевич, а глупости русских галломанов и надменности французов будет противопоставлена фигура самоотверженного Сегюра.

Герои Загоскина вообще не склонны к ненависти и охотно прощают своих недоброжелателей. Это позволяет представить национальную историю не трагической, как у того же Достоевского, а фундаментально счастливой: Российская империя, по Загоскину, в политическом смысле полностью выражает стремления русского народа; между ними нет и не может быть никаких противоречий. Каковы бы ни были недостатки русского государства (а Загоскин не закрывает глаза на злоупотребления, взяточничество, неправедный суд и пр.), это именно отдельные недостатки, которые не отменяют монархического идеала. На сюжетном уровне это означает, что любые несчастья, через которые проходят действующие лица, фундаментально преодолимы, а многочисленные перипетии их судеб неизбежно приводят к счастливому финалу. Очевидно, Загоскин объяснил бы это действием Провидения, которое в его произведениях всегда благоволит именно носителям православной веры.

Концепт отечества включает и понятие народности. У Загоскина нет идеализации народа (описание жестокости народной толпы встречается в романах «Юрий Милославский», «Рославлев», «Искуситель», «Брынский лес» или в «разбойничьем» романе «Кузьма Рощин»), хотя именно народные характеры (Кирша из «Юрия Милославского», слуги главных героев практических всех романов) являются наиболее яркими носителями здравого смысла и лучших черт национального характера. Рядом с народным героем неизменно становится благородный дворянин как выразитель национальной психологии. Однако у Загоскина нет и идеализации дворянства: ему присущ порок, который вызывает наиболее острую критику Загоскина — галломания, рабское подражание иностранным модам.

Важная тема, волнующая Загоскина на протяжении всего его творчества, — проблема европейского влияния на Россию. Романист положительно оценивает проводимые Петром «проевропейские» реформы, поскольку не находит

в империалистической политике Петра противоречия ценностям русского народа. Однако в чрезмерном европеизме Загоскин видит потенциальную возможность потери национальной идентичности. По этой причине он в сатирическом виде представляет неуместное использование французских слов, разорительные моды и любовь к поездкам за границу. Все это кажется ему потенциальной угрозой для «русскости» обитателей империи, а потому связывается не просто со скверной модой, а с политической изменой и неготовностью защищать отечество. Особенно ярко это проявляется в «Рославлеве», где убежденные галломаны буквально не желают поддерживать российскую армию.

В этом контексте крайне важным вопросом становится для Загоскина вопрос о литературе и о ее влиянии на умы и нравственность. Установка на дидактичность словесности для писателя принципиальна. Литература оказывает на читателей большое влияние, дает им жизненные установки, поведенческие образцы, эмоциональные матрицы, используя термин А. Л. Зорина, — поэтому к литературным образцам нужно, с точки зрения Загоскина, относиться осторожно. Литература не должна возбуждать страсти — именно это он считает присущим и сентиментализму, и романтизму, и Жорж Санд, и школе «неистовой словесности». Пагубное влияние такой литературы испытывают и Полина из «Рославлева», и Надина из «Искусителя». Философия опасна не менее литературы, она отводит от веры, от христианского нравственного кредо и от христианского миропорядка. Загоскин унаследовал взгляд шишковистов на просветительскую философию как на безбожную и как на виновницу Французской революции, т. е. попытку повернуть мир с Божьих установок на человеческие («мудрость человеческая есть безумие перед Господом», — говорит Луцкий, которого отчасти можно назвать резонером [Загоскин 1838: 3, 162]). Взгляд на философию XVIII в. Загоскин перенес на все последующие философские направления, не видя между ними особенных различий, зато видя «бессмысленные умствования», не нужные христианину, которому Евангелие открыло все нравственные истины.

Именно в конце 1820–1840-х гг., на которые пришелся успех Загоскина, в русской литературной критике идут шумные споры о «беллетристике». Белинский определял ее как «средний» уровень литературы, неспособной предложить некие кардинально новые художественные образы (это было уделом гениальных поэтов), но вполне способной не только развлекать читателя, но и пропагандировать полезные знания и важные ценности [Вдовин 2011]. Как кажется, и успех многочисленных «беллетристов», и рост национализма были тесно связаны друг с другом: и то, и другое невозможно без роста грамотности, вовлекающей все большее число подданных империи в политическую и культурную современность (см. о связи национализма и современного романа [Андерсон 2001: 45–59]). Наша работа показывает, что эта связь действительно существует: один из первых успешных русскоязычных романистов оказался и одним из проводников национальной идеологии.

Как кажется, в исследованиях по истории русской литературы вопрос о связи национализма и беллетристики изучен еще недостаточно. Если национальному сознанию в «низовой книжности» посвящено некоторое количество исследований [Brooks 2011; Рейтблат 2001], то «беллетристы» в этом отношении исследованы лишь в очень малой степени. Между тем, как мы старались показать, литераторы типа Загоскина действительно оказались принципиально значимы для распространения национализма. Значение их произведений нельзя свести лишь к копированию и воспроизводству идей и образов более элитарных авторов — идеологов национализма типа Уварова или создателей «высокой» литературы наподобие Пушкина. И как писатель, и как националистически настроенный мыслитель, Загоскин сохранял свою позицию, без которой нельзя до конца понять ни историю национализма, ни историю русской литературы. Наша диссертация, конечно, неспособна разрешить эту масштабную задачу, но могла бы послужить одним из первых шагов к ее обсуждению.

Более того, творчество Загоскина значимо и для понимания современного политического и общественного климата в России. Созданные писателем мифологизированные нарративы национальной истории оказались удивительно устойчивы и успешны в российском государстве — в некотором смысле не меньше, чем произведения его вошедших в литературный канон современников, например, Пушкина. Так, проведенные им параллели между Смутным временем и наполеоновскими войнами были важны для журналистов, писавших о Январском восстании 1863 г. в Польше [Maiorova 2010: 103–106]. Более того, Загоскин оказался в числе немногих российских писателей, сохранивших популярность без значительной институциональной поддержки. Хотя Загоскин не изучается в российской школьной программе и в большинстве вузовских курсов, даже ориентированных на студентов-филологов, его проза продолжает читаться. Несмотря на невысокий статус Загоскина в литературной иерархии, созданные им нарративные схемы, которые выражают своеобразный гибрид русского национализма, империализма и православной веры, до сих пор остаются актуальными для российского читателя.

Разумеется, наша диссертация далеко не исчерпала всех аспектов поставленной проблемы и всего творческого наследия Загоскина.

Чуткое отношение Загоскина к тенденциям развития современной ему литературы находилось в противоречии с приверженностью к прошлым литературным установкам, к системе «архаизма». На наш взгляд, в будущем было бы интересно проследить, как соотносится его творчество с деятельностью его современников, популярных писателей-беллетристов (Лажечников, Бегичев, Соллогуб и др.), таких же авторов «второго» ряда, как он сам. Все они много сделали для развития русской читательской аудитории в эпоху ее демократизации. Недаром читатели были гораздо снисходительнее к этим писателям-беллетристам, чем критики. Один из интересных аспектов — изучение именно читательской рецепции, которая далеко не совпадала с суровыми и порой достаточно тенденциозными оценками критики. Это трудная задача, т. к. нужно

будет привлечь большой корпус эпистолярия, дневников, мемуаров как столичной, так и провинциальной публики.

Проза 1830-х — начала 1840-х гг. до сих пор исследована недостаточно. Соответствующие обзорные главы в академических историях русской литературы по необходимости суммарны. Основное внимание ученых всегда было направлено на творчество корифеев (Пушкина, Лермонтова, Гоголя). Если мы хотим представить литературный процесс как целое, то важно будет проследить, в чем именно пересекались и в чем различались прозаики первого и второго рядов в эпоху, когда русская проза в целом находилась еще в процессе становления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Источники

Аксаков 1966: *Аксаков С. Т.* Биография Михаила Николаевича Загоскина // Аксаков С. Т. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1966. Т. 4.

Арзамас 1994: Арзамас: Сборник в двух книгах. М., 1994.

БДЧ. 1838: <Б. п.> «Искуситель». Сочинение М. Загоскина // Библиотека для чтения. 1838. № 31. Отд. 6. С. 11–18.

Белинский 1991: *Белинский В. Г.* Вступление // Физиология Петербурга. М., 1991.

Белинский: *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953–1959.

Бенкендорф 2001: *Бенкендорф А. Х.* Записки Бенкендорфа: 1812 год. Отечественная война. 1813 год. Освобождение Нидерландов. М., 2001.

Бенкендорф 2012: *Бенкендорф А. Х.* Воспоминания: 1802–1837. М., 2012.

Булгарин 1834: *Булгарин Ф. В.* Петр Иванович Выжигин, нравоописательный-исторический роман XIX века / Сочинение Фаддея Булгарина. СПб., 1834. Ч. 1-4. Изд. 2.

Булгарин 1838: *Булгарин Ф. В.* Искуситель. Сочинение М. Загоскнина. Три части. Москва, в типографии Николая Степанова, 1838 г. в 8 д. л., 244, 242 и 253 стр. // Северная пчела. 1838. 26 окт. (№ 242). С. 966-967.

Бутурлин 1823–1824: *Бутурлин Д.* История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812-м году, с оффицияльных документов и других достоверных бумаг Российскаго и Французскаго Генерал-Штабов сочиненная <…> Д. Бутурлиным. С Французскаго же на Российский язык переведена <…> А. Хатовым. СПб., 1823–1824. Ч. 1-2.

Вигель 1891: *Вигель Ф. Ф.* Записки. М, 1891–1893. Ч. 1-7.

Вяземский 1963: *Вяземский П. А.* Записные книжки (1813—1848). М., 1963.

Вяземский 1984: *Вяземский П. А.* Северная лира на 1827 год // Северная лира на 1827 год. М., 1984. С. 223–230.

Гердер 1977: *Гердер И. Г.* Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

Герцен 1956: *Герцен А. И.* Собрание сочинений: В 30 т. М., 1956.

Глинка 1821: *Глинка Ф. Н.* Письма русского офицера о военных происшествиях 1812 года. М., 1821.

Глинка 2004: *Глинка С. Н.* Записки. М., 2004.

Гончаров 1998: *Гончаров И. А.* Обломов // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. СПб, 1998. Т. 4.

Гоголь 2000: *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений и писем: В 23 т. М., 2000 — н. в.

Гоголь 1937–1952: *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений. М.-Л., 1937-1952. Т. I-XIV.

Гоголь 1988: *Гоголь Н. В.* Переписка: В 2-х т. М., 1988.

Грановский 1897: Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2.

Грибоедов 1995: *Грибоедов А. С.* Горе от ума // Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений: В 3 т. СПб., 1995. Т. 1.

Григорьев 1980: *Григорьев А. А.* Эстетика и критика. М., 1980.

Давыдов 1821: *ДавыдовД. В.* Опыт теории партизанского действия. М., 1821.

Давыдов 1877: *ДавыдовД. В.* Письма Д. Давыдова к М. Загоскину // Русская старина. 1877. Т. 20.

Деминский 1812: *Деминский Я.* Поход Наполеона в Россию или Описание происшествий, бывших в России в 1812 году во время нашествия французов с народами всей Европы и бегства их... М., 1812.

Жуковский 1830: *Жуковский В. А.* Письмо от 12 янв. 1830 // Раут: Ист. и лит. сб. М., 1852. Кн. 3. С. 302-303.

Загоскин 1836: *Загоскин М. Н.* <Статья без заглавия, направленная против «Философических писем» Чаадаева (1836)> // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991. Т. 2.

Загоскин 1838: *Загоскин М. Н.* Искуситель. М., 1838. Ч. 1-3.

Загоскин 1840: *Загоскин М. Н.* Письмо М. Н. Загоскина // Маяк. 1840. Ч. 7. С. 101.

Загоскин 1889: Сочинения М. Н. Загоскина: В 7 т. СПб., 1889.

Загоскин 1903: Письма к В. А. Жуковскому разных лиц. Письмо М. Н. Загоскина 20 января 1830 г. // Русская старина. Т. 115. № 8.

Загоскин 1988a: *Загоскин М. Н.* Сочинения: В 2 т. М., 1988.

Загоскин 1988b: *Загоскин М. Н.* Москва и москвичи: Записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые М. Н. Загоскиным. М., 1988.

Истрин 1913: *Истрин В. М.* Из документов архива братьев Тургеневых // Журнал министерства народного просвещения. 1913. Ч. XLIV.

Карамзин 1802: *Карамзин Н. М.* Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице // Вестник Европы. 1802. Ч. 4. № 15, 16. Ч. 5. № 17

Карамзин 1964: *Карамзин Н. М.* Избранные сочинений: В 2 т. М.; Л., 1964.

Карамзин 1991: *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России в ее гражданском и политическом отношениях. М., 1991.

Каченовский 2006: *Каченовский М. Т.* От Киевского жителя к его другу // Карамзин: Pro et contra. СПб., 2006. С. 98-103.

Крылов 1838: *Крылов И. А.* Письмо от 1 нояб. 1838 // Раут: Ист. и лит. Сб. М., 1854. Кн. 3. С 314-315.

Лажечников 1913: *Лажечников И. И.* Последний Новик. Роман в четырех частях. М., СПб., 1913.

Львов 1810: *Львов П. Ю.* Пожарский и Минин. СПб., 1810.

Манифесты 1816: Собрание высочайших манифестов, грамот, указов, рескриптов, приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. СПб., 1816.

Мельгунов 1835: *Мельгунов Н. А.* Недовольные. Комедия в четырех действиях, в стихах, сочиненная М. Загоскиным и представленная в первый раз в Императорском Московском театре, декабря 2 дня 1835 года // Телескоп. 1835. Ч. 28. С. 81–103.

Надеждин 1831: *Надеждин Н. И.* «Рославлев, или Русские в 1812 году» (М. Н. Загоскина) // Телескоп. 1831. № 14.

Наполеон и французы 1813: Наполеон и французы в Москве, с подробным описанием всех достопамятных и незабвенных для России происшествий; с показанием знаменитых сражений, бывших в Польше, Лифляндии, средней России, в Пруссии и Саксонии; с изображением состояния всех Государств, находившихся в союзе с Наполеоном во время сея брани. М., 1813.

Одоевский 1975: *Одоевский В. Ф.* Насмешка мертвеца // Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 48-53.

ОЗ 1839: <Б.п.> VII. Современная библиографическая хроника. Русская литература в 1838 году // Отечественные записки. 1839. № 1. С. 1–60.

ОР РНБ: *Загоскин.* Письмо брату [Вас. Ник. Загоскину] б.д. // ОР РНБ. Ф. 291, оп. 1, ед. хр. 33.

Панаев 1988: *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1988.

Погодин 1882: Письма М. П. Погодина к С. П. Шевыреву // Русский архив. 1882. Кн. 3. Вып. 5-6.

Погодин 1984: *Погодин М. П.* Письмо о русских романах // Северная лира на 1827 год. М., 1984. С. 133—140.

Полевой 1828: *Полевой Н. А.* История русского народа. М., 1829. Т. 1.

Полевой 1831: *Полевой Н. А.* Рославлев, или Русские в 1812 году. Сочинение М. Загоскина <Рец.> // Московский Телеграф. 1831. № 8. Апрель.

Пришвин 2001: *Пришвин М. М.* Незабудки // Пришвин М. М. Весна света. М., 2001. С. 319-568.

Пушкин: *Пушкин А. С.* Собрание сочинений: В 10 т. М., 1959–1962.

Пушкин 1928: *Модзалевский Б. Л.* Примечания // Пушкин А. С. Письма. М.; Л.: Т. 2. Письма, 1826–1830. С. 127—499.

Ростопчин 1889: Ростопчинские афиши 1812 года. СПб., 1889.

Русские и Наполеон 1813: <*Булгаков А. Я.*> Русские и Наполеон Бонапарте. М., 1813.

Сегюр 2014: *Сегюр Ф.-П.* История похода в Россию: Мемуары генерал-адъютанта. М., 2014.

Сенковский 1834: *Сенковский О. И.* Брамбеус и юная словесность // Библиотека для чтения. 1834. Т. 3. Отд. I. С. 33–60.

Синельников 1813: *Синельников Ф. М.* Анекдоты достопримечательнейших происшествий, случившихся в течение нынешней войны с французами... СПб., 1813.

СО 1816: Сын отечества. Собрание сочинений и переводов, изданных в продолжение войны 1812, 1813 и 1814 годов Николаем Гречем / Второе, испр. изд. СПб., 1816. Ч. 1.

СО: Сын отечества. Исторический, политический и литературный журнал.

Современник 1838: <Б.п.> 23. Искуситель. Сочинение М. Загоскина // Разбор новых книг. Новые сочинения // Современник. 1838. № 12. С. 62–64.

Толстой 1938: *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1938. Т. 83.

Толстой 1940a: *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1940. Т. 11.

Толстой 1940b: *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1940. Т. 12.

Ушаков 1822: *Ушаков С. И.* Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Франциею, в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого начала вступления в оную. М., 1822.

Чаадаев 1991: *Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. М., 1991.

Чарторижский 1912: *Чарторижский А.* Мемуары. М., 1912. Т. I.

Шаховской 1886: Двенадцатый год. Воспоминания князя А. А. Шаховского // Русский архив. 1886. Вып. 11.

Шаховской 2005: *Шаховской А. А.* Смольяне в 1611 году. Сочинение Князя А. А. Шаховского / Вступ. ст., подготовка текста и коммент. Л. Киселевой // Театральное наследие. СПб., 2005. Вып. I (4). С. 15–174.

Шевырев 1827: *Шевырев С. П.* Веверлей, или шестьдесят лет назад // Московский вестник. М., 1827. № 20. С. 409–432.

Шишков 1812: *Шишков А. С.* Рассуждение о любви к отечеству // Чтение в Беседе любителей Русского слова. СПб., 1812. Книжка пятая. С. 3–54.

Шишков 2010: *Шишков А. С.* Избранные труды. М., 2010.

II. Исследования

Александрова 2017: *Александрова И. В.* Рецепция готической традиции в романе М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» // Русский язык в поликультурном мире: международный симпозиум. Симферополь, 2017. Т. 1. С. 21-26.

Альтшуллер 1996: *Альтшуллер М. Г.* Эпоха Вальтера Скотта в России: Исторический роман 1830-х гг. СПб., 1996.

Андерсон 2001: *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.

Бахтин 1975: *Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

Благой 1956: *Благой Д. Д.* Мицкевич и Пушкин // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1956. Т. XV. Вып. 4 (июль — август). С. 297–315.

Богданова 2019: *Богданова О. А.* Усадьба и дача в русской литературе XIX-XXI вв.: топика, динамика, мифология. М., 2019.

Богданович 1869: *Богданович М. И.* История царствования Императора Александра I и России в его время. СПб., 1869. Т. II. Приложение.

Бочаров 1978: *Бочаров С. Г.* Роман Л. Толстого «Война и мир». М., 1978.

Быков 1901: *Быков П. В.* Михаил Николаевич Загоскин // Собрание сочинений М. Н. Загоскина: В 12 т. Пб.; М., 1901. Т. 1. С. 4–31.

Вайскопф 2002: *Вайскопф М. Я.* Сюжет Гоголя: морфология, идеология, контекст. М., 2002.

Вайскопф 2003: *Вайскопф М. Я.* Черный плащ с красным подбоем: Булгаков и Загоскин // Вайскопф М. Я. Птица-тройка и колесница души. Работы 1978—2003 гг. М., 2003. С. 520–524.

Вайскопф, Толстая 1994: *Вайскопф М. Я., Толстая Е. Д.* Москва под ударом, или Сатана на Тверской: «Мастер и Маргарита» и предыстория мифопоэтического «московского» текста // Литературное обозрение. 1994. № 3-4. С. 87–90.

Валицкий 2019: *Валицкий А.* В кругу консервативной утопии: Структура и метаморфозы русского славянофильства. М., 2019.

Вацуро 1984: *Вацуро В. Э.* Примечания [Вводная часть] // Давыдов Д. В. Стихотворения. Л., 1984. С. 185–191.

Вацуро 1973: *Вацуро В. Э.* От бытописания «к поэзии действительности» // Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 200–245.

Вацуро 2002: *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. М., 2002.

Вдовин 2011: *Вдовин А. В.* Концепт «глава литературы» в русской критике 1830–1860-х годов. Тарту, 2011.

Велижев 2012: *Велижев М. Б.* Цивилизация и средний класс // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: В 2 т. / Ред. А. И. Миллер, Д. Сдвижков, И. Ширле. М., 2012. Т. 1. С. 249–293.

Венедиктова 2017: *Венедиктова Т. Д.* Литература как опыт, или «буржуазный читатель» как культурный герой. М., 2017.

Вершинина 1997: *Вершинина Н. Л.* Русская беллетристика 1830–1840-х годов. Проблемы жанра и стиля. Псков, 1997.

Виницкий 2006: *Виницкий И. Ю.* Дом толкователя: Поэтическая семантика и историческое воображение В. А. Жуковского. М., 2006.

Виттекер 1999: *Виттекер Ц. Х.* Граф Сергей Семёнович Уваров и его время. СПб., 1999.

Вишленкова 2011: *Вишленкова Е. А.* Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011.

Востриков, Грачева 1999: *Востриков А., Грачева Е.* Вагнер, Finkein, Фигнер и другие (Опыт комментария к легенде о герое-партизане) // РОССИЯ / RUSSIA. М., 1999. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. С. 103-127.

Геллнер 1991: *Геллнер Э.* Нации и национализм. М., 1991.

Гозенпуд 1961: *Гозенпуд А. А.* А. А. Шаховской // Шаховской А. А. Комедии. Стихотворения. Л., 1961. С. 4—74.

Горбатов 2009: *Горбатов М. А.* Фольклоризм русского исторического романа рубежа 1820–1830-х годов: М. Н. Загоскин и Н. А. Полевой / Автореф. дисс. … к.ф.н. Саратов, 2009.

Гриневич 2016: *Гриневич О. А.* Усадебный текст в современной русской поэзии // ФИЛОLOGOS. 2018. № 36 (1). С. 12-22.

Гришина 2015: *Гришина А. Б.* «Провинциальный текст» в романе М. Н. Загоскина «Искуситель» // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. Т. 1. № 6 (28). С. 234–239.

Гришина 2016: *Гришина А. Б.* Художественное воплощение категории соборности в романе М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2016. № 1. С. 105–111.

Денисов 2004: *Денисов В.Д.* М. Н. Загоскин и «загоскинское» в комедии Гоголя «Ревизор» // Гоголь и театр. Третьи гоголевские чтения. М., 2004. С. 204–209.

Дмитриева, Купцова 2008: *Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н.* Жизнь усадебного мифа: Утраченный и обретенный рай. М., 2008.

Долинин 1988: *Долинин А. А.* История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988.

Долинин 2007: *Долинин А. А.* Из разысканий вокруг «Анчара»: Источники, параллели, истолкования // Долинин А. А. Пушкин и Англия: Цикл статей. М., 2007. С. 79–83.

Дризен 1902: *Дризен Н. В.* К биографии М. Н. Загоскина // Исторический вестник. 1902. № 7. С. 142-145.

Живов 1999: *Живов В. М.* Иван Сусанин и Петр Великий: О константах и переменных в составе исторических персонажей // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 51–65.

Живов 2008: *Живов В. М.* Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91. С. 114–140.

Замотин 1907: *Замотин И. И.* Романтизм 20-х годов XIX столетия в русской литературе. СПб., 1907. Т. 2.

Зенгер 1934: *Зенгер Т.* Николай I — редактор Пушкина // А. С. Пушкин: Исследования и материалы / Литературное наследство. М., 1934. Т. 16–18. С. 513–563.

Зорин 1999: *Зорин А.Л.* «Бескровная победа» князя Пожарского (События Смутного времени в русской литературе 1806–1807 гг.). Идеология литературы // Новое литературное обозрение. 1999. № 4. С. 111–128.

Зорин 2001: *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла…: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001.

Зорин 2016: *Зорин А.Л.* Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М., 2016.

Иванов 2007: *Иванов Д.* Кто был автором «Комедии против комедии, или Урока волокитам»? // Новое литературное обозрение. 2007. № 86.

Иванов 2009: *Иванов Д.* Творчество А. А. Шаховского-комедиографа: теория и практика национального театра). Тарту, 2009.

ИРДТ 1978: История русского драматического театра: В 7 т. М., 1978. Т. 3.

Исупов 2000: *Исупов К. Г.* Диалог столиц в историческом движении. От Рима к Вавилону // Москва — Петербург: Pro et contra. СПб., 2000.

Казаков 2009: *Казаков Р. Б.* Н. М. Карамзин: путешествие в провинцию как путешествие в русскую историю // Первые всероссийские краеведческие чтения: История и перспективы развития краеведения и москвоведения. М., 2009. С. 51–55.

Кафанова 2005: *Кафанова О. Б.* Феномен Жорж Санд в России XIX века // Кафанова О. Б., Соколова М. В. Жорж Санд в России: Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке (1832-1900). М., 2005.

Кизеветтер 1915: *Кизеветтер А. А.* 1812 г. Ф. В. Ростопчин // Кизеветтер А. А. Исторические отклики. М., 1915. С. 25–186.

Киселева 1982: *Киселева Л. Н.* Идея национальной самобытности в русской литературе между Тильзитом и Отечественной войной (1807–1812) / Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. канд. филолог. наук. Тарту, 1982.

Киселева 1985: *Киселева Л. Н.* Журнал «Зритель» и две концепции патриотизма в русской литературе 1800-х гг. // Проблемы типологии русской литературы: Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение / Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1985. Вып. 645. С. 3–20.

Киселева 1997: *Киселева Л. Н.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник, 2. М., 1997. С. 279–302.

Киселева 2003: *Киселева Л. Н.* Вальтер Скотт в интерпретации русских «архаистов» // Эткиндовские чтения I: Сб. ст. по материалам Чтений памяти Е. Г. Эткинда (27–29 июня 2000). СПб., 2003. С. 43–55.

Киселева 2004: *Киселева Л. Н.* К формированию концепта национального героя в первой трети XIX в. // Лотмановский сборник, 3. М., 2004. С. 69–92.

Киселева 2005: *Киселева Л. Н.* «Смольяне в 1611 году» А. А. Шаховского как попытка создания национальной трагедии // Театральное наследие. СПб., 2005. Вып. I (4). С. 15-34.

Киселева 2007: *Киселева Л. Н.* Диалог Жуковского и Вяземского о Святой Руси // На меже меж голосом и эхом. М., 2007. С. 136–147.

Киселева 2009: *Киселева Л. Н.* Империя как пространство для национального строительства (на примере одного издания) // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Новая серия: VII. Тарту, 2009. С. 337–349.

Киселева 2013: *Киселева Л. Н.* Эстляндец барон Е. Ф. Розен — борец за русскую народность // (Не)музыкальное приношение или Allegro affestuoso: сборник статей к 65-летию Бориса Ароновича Каца. СПб., 2013. С. 242–256.

Киселева 2014: *Киселева Л. Н.* На подступах к николаевской идеологии: «национальное представление» в русском театре начала 1820-х гг. // Политика литературы — поэтика власти. М., 2014. С. 7–17.

Киселева 2017: *Киселева Л. Н.* Три «Рославлева»: продолжение истории русского «архаизма» // Замечательное шестидесятилетие: Ко дню рождения Андрея Немзера. <М.> Издательские решения, 2017. Т. 1. С. 179–201.

Киселева 2022a: *Киселева Л. Н.* Опасности чувствительности (роман М. Загоскина «Искуситель») // Прекраснейшей: Сборник памяти Елены Душечкиной. СПб.: Нестор-История, 2022. С. 114–123.

Киселева 2022b: *Киселева Л. Н.* Результаты читательского опыта в русской беллетристике 1830-х гг. (роман Загоскина «Кузьма Петрович Мирошев») // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, 2022 (в печати).

Киселева, Новашевская 2018: *Киселева Л. Н., Новашевская К. В.* Брак с французским пленным (на примере сюжета «Рославлева») // Новый филологический вестник, 46 (3). М., 2018. С. 81–92.

Киселева, Ящук: *Киселева Л. Н., Ящук Е. А.* Польский фактор в интерпретации войны 1812 года (Ф. В. Булгарин, М. Н. Загоскин) // Ф. В. Булгарин — писатель, журналист, театральный критик. М., 2019. С. 84–104.

Козлов 2016: *Козлов А.Е.* «Ахшарумовские вариации» в русской литературе: история войны 1812 года // Сюжетология и сюжетография. 2016. № 1. С. 58–65.

Копылов 2011: *Копылов А. Н.* Наследие Вальтера Скотта в исторических романах Михаила Загоскина // Вопросы гуманитарных наук. 2011. № 1. С. 40–45.

Краснощекова 2010: *Краснощекова Е. А.* Роман воспитания — Bildungsroman — на русской почве: Карамзин. Пушкин. Гончаров. Толстой. Достоевский. М., 2010.

Круглый 1889: *Круглый А. О.* Михаил Николаевич Загоскин: Биографический очерк // Сочинения М. Н. Загоскина: В 7 т. СПб., 1889. Т. 1. С. 4–103.

Левин 1975: *Левин Ю.Д.* Прижизненная слава Вальтера Скотта в России // Эпоха романизма: Из истории междунар. связей рус. лит. Л., 1975.

Левкович: *Левкович Я.Л.* Историческая повесть // Русская повесть. История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 108-133.

Лейбов 1997: *Лейбов Р. Г.* 1812: Две метафоры // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. 2. Новая серия. Тарту, 1997.

Лейбов, Осповат 2011: *Лейбов Р. Г., Осповат А. Л.* К польской теме у Хомякова // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, XII: Мифология культурного пространства: К 80-летию Сергея Геннадиевича Исакова. Тарту, 2011. С. 44–51.

Летягин 1998: *Летягин Л. Н.* Русская усадьба: мир, миф, судьба // Русская усадьба: сб. Общества изучения русской усадьбы. М., 1998. Вып. 4 (20). С. 253–59.

Линьков 2001a: *Линьков В.Д.* Роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»: жанровый генезис // Культура и текст. 2001. № 6. С. 68–72.

Линьков 2001b: *Линьков В.Д.* Типы русского исторического романа 20-30-х годов XIX века / Автореферат … канд. дис. Горно-Алтайск, 2001.

Линьков 2014: *Линьков В.Д.* Провинциальное и столичное пространство в романе М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» / Диалог культур. Поэтика локального текста. Горно-Алтайск, 2014. С. 152–159.

Лотман 1981: *Лотман Ю. М.* Идея исторического развития в русской культуре конца XVIII — начала XIX столетия // XVIII век. Л., 1981. Сб. 13: Проблемы историзма в русской литературе: Конец XVIII — нач. XIX в. С. 82–90.

Лотман, Успенский 1975: *Лотман Ю. М, Успенский Б. А.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры // Труды по русской и славянской филологии XXIV /Ученые записки ТГУ. Вып. 358. Тарту, 1975. С. 168–322.

Лукач 1937: *Лукач Г.* Исторический роман //Литературный критик. 1937. № 7, 9, 12.

Ляпушкина 1996: *Ляпушкина Е. И.* Русская идиллия XIX века и роман И. А. Гончарова «Обломов». СПб., 1996.

Мазур 2001: *Мазур Н. Н.* Пушкин и «московские юноши»: вокруг проблемы гения // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования (= Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 7). М., 2001. С. 54–105.

Майорова 2017: *Майорова О.* Маркеры русскости в имперском пространстве: парадоксы рассказа Н. С. Лескова «На краю света» // Новое литературное обозрение. 2017. № 2 (144).

Манн 1969: *Манн Ю. В.* Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма. М., 1969. С. 241–305.

Манн 1989: *Манн Ю. В.* Натуральная школа: [Русская литература первой половины XIX в.] // История всемирной литературы: В 8 томах. М., 1989. Т. 6. С. 384–396.

Манн 1998: *Манн Ю. В.* Русская философская эстетика. М., 1998.

Медведская 1954: *Медведская Л. А.* Южное общество декабристов и польское патриотическое общество // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 276–319.

Мещерякова 2007: *Мещерякова А. О. Ф. В. Ростопчин*: У основания консерватизма и национализма в России. М., 2007.

Миллер 2006: *Миллер А. И.* Империя Романовых и национализм. М., 2006.

Миллер 2010: *Миллер А. И.* Приобретение необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия нация в Россию (начало XVIII — середина XIX в.) // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917). М., 2010. С. 42–66.

Миллер 2016: *Миллер А. И.* Нация. СПб., 2016.

Миллер, Долбилов 2006: *Миллер А. И., Долбилов М. Д.* Западные окраины Российской Империи. М., 2006.

Мильчина, Осповат 2010: *Мильчина В. А., Осповат А. Л.* Из полемики 1830-х гг. вокруг панславянской идеи (князь П. Б. Козловский против графа Адама Гуровского) // К истории идей на Западе: «Русская идея». СПб., 2010. С. 168–183.

Михайлова 1979: *Михайлова Н. И.* «Евгений Онегин» и «Московский европеец»: (О прозаической пародии на «роман в стихах») // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1979. Т. 9. С. 215-223.

Мордовченко 1959: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959.

Муравьева 2017: *Муравьева О. С.* «Он между нами жил…» // Пушкинская энциклопедия. Произведения. СПб., 2017. Вып. 3. С. 522–524.

Нечкина 1982: *Нечкина М. В.* Декабристы. М., 1982.

Никульшина 2002: *Никульшина Е. В.* Модель волшебной сказки как принцип сюжетной организации исторических романов М. Н. Загоскина и А. К. Толстого // Учебный год. 2002. № 4 (8). С. 62-68.

Новашевская 2020: *Новашевская Карина.* А. А. Шаховской — идеолог русского национального театра. Тарту, 2020.

Осповат, Рогинский, 1989: *Осповат А. Л., Рогинский А. Б.* Историческая проза и государственный миф // Старые годы. Русские исторические повести и рассказы 1 половины XIX века. М., 1989. С. 361–364.

Охотин 1988: *Охотин Н. Г.* Записки отшельника с Пресненских прудов // Загоскин М. Н. Москва и москвичи: Записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые М. Н. Загоскиным. М., 1988. С. 5–17.

Парсамов 2010: *Парсамов В. С.* Александр Семенович Шишков // Шишков А. С. Избранные труды. М., 2010. С. 5–68.

Парсамов 2012: *Парсамов В. С.* Опыт конструирования идеи народной войны 1812 // Новое литературное обозрение. 2012. № 118. С. 69–94.

Парсамов 2016: *Парсамов В. С.* Декабристы и русское общество 1814–1825 гг. М., 2016.

Песков 1988: *Песков А. М.* Михаил Николаевич Загоскин // Загоскин М. Н. Сочинения: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 5–32.

Песков 1992: *Песков А. М.* Загоскин Михаил Николаевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 304–307.

Петр Великий. Pro et contra 2001: Петр Великий: Pro et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 2001.

Петров 1962: *Петров С. М.* Исторический роман // История русского романа. В 2 т. М.-Л., 1962. Т. 1. С. 203–250.

Плечова 2007: *Плечова Н. П.* Идиллия в русской прозе 1840–1850-х годов / Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Череповец, 2007.

Плечова 2013: *Плечова Н. П.* Идиллия в нравоописательном романе Д. Н. Бегичева «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян» // Гуманитарные науки. 2013 С. 68–74.

Проскурина 2017: *Проскурина В. Ю.* Империя пера Екатерины II: Литература как политика. М., 2017.

Ратке 2011: *Ратке И. Р.* Пространственная организация романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» // Научное мнение. 2011. № 1. С. 7–12;

Реизов 1958: *Реизов Б. Г.* Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958.

Реизов 1956: *Реизов Б. Г.* Французская романтическая историография: 1815–1830. Л., 1956.

Рейтблат 2001: *Рейтблат А. И.* Как Пушкин вышел в гении. М., 2001.

Рейтблат 2009: *Рейтблат А. И.* От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М., 2001.

Рейтблат 2016: *Рейтблат А. И.* Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции. Статьи и материалы. М., 2016.

Рейсс 1855: <Б.п.> *Рейсс, Фердинанд Фридрих* // Биографический словарь профессоров Московского университета: В 2 т. М., 1855. Т. 2. С. 329-340.

Рольф 2020: *Рольф М.* Польские земли под властью Петербурга: От Венского конгресса до Первой Мировой. М., 2020.

Сабадаш: *Сабадаш Н. П.* Польская тема в русской литературе николаевской эпохи (1826–1855 гг.) / Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 2015.

Скабичевский 1890: *Скабичевский А. М.* Наш исторический роман в его прошлом и настоящем // Сочинения А. Скабичевского. Критические этюды, публицистические очерки, литературные характеристики: В 2 т. СПб., 1890. Т. 2. С. 653-792.

Сорочан 2000: *Сорочан А. Ю.* Мотивировка в русском историческом романе 1830–1840-х гг.): Автореф. … канд. филол. наук. Тверь, 2000.

Сорочан 2006: *Сорочан А. Ю.* И снова Эрастов… (еще о литературной позиции М. Н. Загоскина) // «Липецкий потоп» и пути развития русской литературы. Липецк, 2006. С. 77–82.

Сурат, Бочаров 2007: *Сурат И. З., Бочаров С. Г.* Пушкин Александр Сергеевич // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М., 2007. Т. 5. С. 189–216.

Томашевский 1961: *Томашевский Б. В.* Пушкин и народность // Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 2. М.; Л. 1961. С. 106–153.

Тарле 1957: *Тарле Е. В.* Нашествие Наполеона на Россию // Тарле Е. В. Сочинения: В 12 т. М., 1957. Т. 7.

Тынянов 1969: *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969.

Уортман 2002: *Уортман Р. С.* Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. В 2 т. М., 2002.

Усакина 1963: *Усакина Т. И.* Памфлет М. Н. Загоскина на П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова // Декабристы в Москве. М., 1963. Вып. VIII. С. 162–183.

Фалькович 2000: *Фалькович С. М.* Восприятие русскими польского национального характера и создание национального стереотипа поляка // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000. С. 45–71.

Филатова 2002: *Филатова Н. М.* Русские и поляки в Королевстве Польском (1815–1830): стереотипы взаимного восприятия // Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002. С. 110–118.

Фомина 2014: *Фомина Е*. Национальная характерология в прозе И. С. Тургенева. Тарту, 2014.

Францев 1929: *Францев В. А*. Пушкин и польское восстание 1830–1831 гг. Прага, 1929.

Фризман 1992: *Фризман Л. Г*. Пушкин и польское восстание 1830–1831 гг. // Вопросы литературы. 1992. Вып. III. С. 209–237.

Хобсбаум 2002: *Хобсбаум Э*. Дж. Нации и национализм. М., 2002.

Хорев 2005: *Хорев В. А*. Польша и поляки глазами русских литераторов: Имагологические очерки. М., 2005.

Хрох 2002: *Хрох М*. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства наций в Европе // Нации и национализм. М., 2002.

Черный 1989: *Черный И*. Гомер русского простонародья: неизвестная статья М. Н. Загоскина // Литературная Россия. М., 1989. 28 июля. № 30. С. 22.

Чижевский 2007: *Чижевский Д. И*. Гегель в России. СПб., 2007. С. 47–279.

Шарова 2016: *Шарова Я. Е*. Религиозные взгляды героев как объект изображения в исторических романах М. Н. Загоскина // Социальные и гуманитарные знания. 2016. Т. 2. № 3 (7). С. 236–240.

Шишмарева, Жуков 1939: *Шишмарева Е., Жуков Л*. Физиологический очерк // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1939. Т. 11. С. 713–716.

Шохина 2010: *Шохина А. Н*. Художественное воплощение исторического процесса в романах В. Скотта и М. Н. Загоскина / Автореф… канд. дис. Нижний Новгород, 2010.

Щеблыкин 1975: *Щеблыкин И. П*. «Рославлев» М. Н. Загоскина и «Война и мир» Л. Н. Толстого // Толстовский сборник. Доклады и сообщения XII Толстовских чтений. Тула, 1975. Вып. 5. С. 111–118.

Щукин 1997: *Щукин В. Г*. Миф дворянского гнезда: Геокультурологическое исследование по русской классической литературе. Kraków, 1997.

Эйдельман 1983: *Эйдельман Н.Д*. Последний летописец. М., 1983.

Ю. Д. 1964: Ю. Д. *<Дмитриев Ю. А.>* Мочалов // Театральная энциклопедия. М., 1964. Т. 3. С. 980–984.

Юхнова 2009: Козьма Минин в романе М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» // Нижегородский текст русской словесности. Нижний Новгород, 2009. С. 139–143.

Ящук 2018a: *Ящук Е. А*. Концепция народной войны в романе М. Н. Загоскина «Рославлев» (1831) // Текстология и историко-литературный процесс. Сборник статей, 6. М., 2018. С. 59–67.

Ящук 2018b: *Ящук Е.А*. Источники концепта народной войны в романе М. Н. Загоскина «Рославлев» (1831) // Русская филология: сборник научных работ молодых филологов, 29. Тарту, 2018. С. 60–72.

Ящук 2018c: *Ящук Е. А*. Хронологическая роспись содержания газеты «Московский городской листок» (1847) // Новое литературное обозрение. 2018. С. 379–405.

Ящук 2020: *Ящук Е.А.* Зачем была написана комедия Загоскина «Недовольные»? // Русская филология: сборник научных работ молодых филологов, 31. Тарту, 2020. С.121–132.

Ящук 2021: *Ящук Е.А.* Русская и польская темы в романе Загоскина «Юрий Милославский» // Вестник Московского университета. Серия 9 филология, 4. 2021. С. 121–132.

Brooks 2011: *Peter Brooks*. Enigmas of Identity. Princeton, 2011.

Bojanowska 2018: *Bojanowska E. M.* A world of empires: the Russian voyage of the Frigate 'Pallada'. Cambridge; L., 2018.

Boltunova 2021: *Boltunova E.* The Last King of Poland: The Coronation of Nicholas I in Warsaw in 1829 and Russian-Polish Historical Memory // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2021. Vol. 22. No. 2. P. 229–254.

Hroch 1985: *Hroch Miroslav*. Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. New York, 1985.

Kelly 2010: *Kelly Stuart*. Scott-Land: The Man Who Invented a Nation. Polygon, 2010.

Kępiński 1990: *Kępiński A.* „Lach i Moskal": Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kraków, 1990.

Layton 1994: *Susan Layton*. Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. Cambridge, 1994.

Lincoln 2007: *Lincoln Andrew*. Walter Scott and Modernity. Edinburgh UP, 2007.

Lis 1998: *Lis K.* Romantycy: powinowactwa rosyjsko-europejskie. Kielce, 1998.

Maiorova 2010: *Maiorova Olga*. From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855–1870s. Madison, 2010.

Martin 2012: *Martin, Alexander M.* Moscow in 1812: Myths and Realities // Tolstoy on War: Narrative Art and Historical Truth in 'War and Peace'. New York, 2012. P. 42-58.

Orlowski 1992: *Orlowski J.* Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku 1917. Warszawa, 1992.

Rüsen 2017: *Rüsen J.* Evidence and Meaning. A Theory of Historical Studies. New York; Oxford, 2017.

Ungurianu 2007: *Ungurianu, D.* Plotting History: The Russian Historical Novel in the Imperial Age. Madison, 2007.

Wachtel 1990: *Andrew Wachtel*. The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth: Stanford, 1990.

MIHHAIL ZAGOSKINI LOOMING VENE RAHVUSLIKU IDEOLOOGIA KUJUNEMISE PROTSESSIS

Kokkuvõte

Mihhail Zagoskin (1789–1852) oli üks edukamaid vene kirjanikke XIX sajandi teisel veerandil. Ennekõike tuntud vene ajaloolise romaani loojana, on ta kirjutanud ka vene teatrilaval menukalt esitatud komöödiaid, etnograafilisi olukirjeldusi, romantilisi jutustusi ja palju muud. Kaasaegsed on Zagoskini naiivsuse ja piiratuse üle sageli nalja visanud, kuid ei saanud samas jätta märkimata tema hämmastavat edu lugejate seas. Veelgi enam, Zagoskini teoste uustrükid ilmuvad tänapäevalgi ja võib arvata, et neid loetakse usinalt, hoolimata tema nime puudumisest kooli- või ülikooliprogrammides. Doktoritöös selgitatakse tema edukuse tagamaid ja kirjeldatakse mitte niivõrd Zagoskini teoste poeetikat, kuivõrd nende ideoloogiat, eelkõige kirjaniku omapärast natsionalismi, mis on raskesti sobitatav tema kaasaegseid köitvatesse keerulistesse filosoofilistesse konstruktsioonidesse. Kuid Zagoskini süsteem osutus väga atraktiivseks tolleaegse keskmise lugeja ajaloolisele kujutlusvõimele.

Väitekiri põhineb tänapäeva teaduses kõige mõjukamal natsionalismi kirjeldaval — konstruktivistlikul — teoorial, mis pärineb Benedict Andersoni ja Eric Hobsbawmi töödest. Selle teooria kohaselt on natsionalism, mis pretendeerib kaugesse minevikku ulatuva traditsiooni kirjeldamisele, sisuliselt moderne ideoloogia, mis on võimalik ainult modernses ühiskonnas. Selle ideoloogia esindajad mitte niivõrd ei „avasta“ rahvuslikku karakterit, vaid konstrueerivad selle, juhindudes kaasaja poliitilistest vajadustest, ning pärast seda veenavad laiemaid masse tajuma end läbi selle leiutatud identiteedi prisma. Vaatamata tõsisele kriitikale, mida see teooria on teadusringkondades kohanud ja kohtab siiani, näib just selline lähenemine olevat kõige õigustatum kirjeldamaks antud vene kirjaniku loomingulisi strateegiaid, mille eesmärk on näidata oma lugejatele ajaloolistele ja kaasaegsetele näidetele tuginedes, mis on vene rahvas.

Zagoskini proosat käsitletakse väitekirjas ajaloolises kontekstis: selle taustaks on ideoloogilised vaidlused keele, religiooni ja riigi üle Venemaa pealinnade haritud elanike seas XIX saj esimesel poolel. Neid vaidlusi iseloomustades tuginetakse eelkõige Juri Tõnjanovi, Alexander Martini, Andrei Zorini ja Ljubov Kisseljova töödele. Ajaloolise romaani žanri ja selle vene retseptsiooni iseloomustamiseks kasutatakse Georg Lukacsi, Juri Lotmani, Aleksander Dolinini, Dan Ungurianu ja teiste uurijate töid.

Väitekirjas käsitletakse üksikasjalikult Zagoskini romaane „Juri Miloslavski ehk venelased 1612. aastal“ (1829), „Roslavlev ehk venelased 1812. aastal (1831), „Ahvatleja“ (1838), „Kodumaaigatsus“ (1839), „Kuzma Petrovitš Mirošev,

Katariina II aegne vene lugu“ (1842), „Brõnski mets. Episood Peeter Suure valitsemisaja esimestest aastatest“ (1846)„„Venelased XVIII sajandi alguses, jutustus Peeter Esimese ainuvalitsuse aegadest“ (1848) ning olukirjelduste raamatut „Moskva ja moskvalased“ (1848). Lisaks neile on uurimisobjektiks Zagoskini näidendid ja jutustused. Võrdleva materjalina on kaasatud kirjaniku kaasaegsete ajaloolised romaanid, poliitilised traktaadid ja kirjanduskriitika (Faddei Bulgarin, Ivan Lažetšnikov, Aleksander Šiškov, Nikolai Karamzin, Fjodor Rostoptšin, Sergei Uvarov, Nikolai Polevoi, Vissarion Belinski jt).

Peamiseks uurimisülesandeks oli näidata, kuidas Zagoskini fiktsionaalne proosa on seotud vene rahvusluse ideoloogiaga. Selle ülesande lahendamiseks seati järgmised eesmärgid: 1) kirjeldada lühidalt vene natsionalismi ajalugu XIX sajandi alguse Venemaa keisririigis ja Zagoskini kohta selles loos; 2) analüüsida kirjaniku proosa ajaloolisi allikaid ja autori töö põhimõtteid nendega; 3) vaadelda Zagoskini poolt kasutatavaid põhilisi narratiivseid ja ideoloogilisi skeeme; 4) leida tema teostes viiteid kirjanduslikele aruteludele ja poliitilistele sündmustele ning vaadata, kuidas need arutelud ja sündmused läbi autori rahvusliku kujutlusvõime prisma nähtuvad. Need ülesanded lahendatakse nelja väitekirja peatüki ning sissejuhatuse ja järelduste käigus.

Sissejuhatus kirjeldab lühidalt Zagoskini kirjanduslikku mainet ja varajast loomingut seoses rahvusluse historiograafia probleemidega. Zagoskini kirjanduslik positsioon, nagu siin näidatakse, oli algusest peale defineeritud kui „venelik“, st tihedalt seotud vene kultuuris romantilise rahvusluse ühe esimese esindaja Aleksander Šiškovi ideedega. Zagoskini loometee algus oli otseses seoses poleemikaga, mida Šiškov ja tema toetajad läänluse kaitsjatega pidasid. Edasises kirjanduskarjääris oli Zagoskin seotud Šiškovi järgijatega, sellistega nagu tuntud näitekirjanik Aleksander Šahhovskoi. Kuid Šiškovi peamine oponent Nikolai Karamzin oli ka Zagoskini jaoks oluline kuju: tema ajalooline narratiiv „Vene riigi ajalugu“ osutus kirjaniku esimese romaani peamiseks allikaks ning Karamzini konservatiivsed poliitilised vaated resoneerusid Zagoskini patriotismiga.

Väitekirja esimene peatükk **„Zagoskini 1820–1830ndate aastate ajaloolised romaanid: žanr ja ideoloogia“** käsitleb kirjaniku kahte tuntumat teost, mille kordustrükid ilmuvad siiani regulaarselt. Need on romaanid „Juri Miloslavski ehk venelased 1612. aastal“ ja „Roslavlev ehk venelased 1812. aastal“. Neid analüüsitakse Zagoskini kaasaegsete ajalooliste romaanide, näiteks Faddei Bulgarini „Dimitri isehakanu“ taustal. Peatüki esimeses osas käsitletakse ajaloolise romaani žanrit ja selle retseptsiooni spetsiifikat Venemaal. Selle peatüki materjaliks olid eelkõige arutelud mainitud žanri üle 1820. aastate kirjanduskriitikas. Erilist tähelepanu pööratakse selle žanri omapärasele filosoofiale, mis lähtub Walter Scottist ning nõuab sügava seose näitamist oleviku ja mineviku, eraelu ja ajalooliste sündmuste vahel.

Teine osa räägib sellest, kuidas neid põhimõtteid Zagoskini ajaloolises proosas rakendatakse. Põhikontseptsiooniks on siin kesksete kangelaste „venelikkus“: kirjaniku kujutluses iseloomustatakse inimest eelkõige oma rahvusliku kuuluvuse kaudu, mis seob tema isikuomadused ja ajaloolised sündmused.

Kolmas osa käsitleb isamaa ja patriotismi kontseptsiooni Zagoskini proosas. See osa näitab eelkõige Zagoskini rahvusluse poliitilist olemust: kirjanik ei tajunud „venelast“ mitte vene keele kõnelejana või vene kultuuri väärtustajana, vaid eelkõige oma maa võimaliku kaitsjana. Näidatakse, kui kaugel oli Zagoskin Suure Prantsuse revolutsiooni aegsest kodanikuühiskonna rahvuslusest. Tavaseisundis ootas kirjanik Vene riigi elanikult mitte aktiivset osalemist oma riigi poliitilises elus, vaid eelkõige võimule alistumist, religioossete normide järgimist ja seisuslike barjääride aktsepteerimist. Kuid rahvusajaloo kriisihetkedel oli „venelasel“ Zagoskini järgi õigus rikkuda mõningaid sotsiaalseid piire ja näidata üles iseseisvust oma riigi kaitsmisel. Kuigi sellise rikkumise tagajärgi on tema romaanides näidatud ühiskonnale ohtlikuna, mis tihti toob endaga kaasa mõttetu vägivalla, kaldus Zagoskin pigem selliseid patriootlikke tunge õigustama.

Teine peatükk **„Zagoskini romaanid ja 1820–1830ndate ideoloogilised kontseptsioonid“** käsitleb neidsamu romaane teises, ajastu poliitilise kontekstiga rohkem seotud rakursis. Esimene osa räägib ajalooliste allikate ümberkujundamisest Zagoskini romaanis „Roslavlev“. See teos põhineb arvukate ametlike dokumentide, mälestuste ja muude tekstide materjalil, mis käsitlevad Napoleoni sissetungi Venemaale 1812. aastal. Nendest tõukudes mütologiseerib Zagoskin Isamaasõda, püüdes seda esitada eelkõige mitte armeede või poliitiliste režiimide kokkupõrkena, vaid kahe rahvuse, vene ja prantsuse, vastasseisuna. Kujutades sõda „rahvasõjana“, osutub Zagoskin selles romaanis „Sõja ja rahu“ autori Lev Tolstoi eelkäijaks. Teine ja kolmas osa räägivad vaenlase kujutamisest Zagoskini proosas. Vastupidiselt ootustele ei ole Zagoskinil kalduvust kujutada poolakaid või prantslasi kui vene rahvuse lepitamatuid vaenlasi. „Roslavlevis” on palju põhimõttelisemad vastased venelastest „propagandaohvrid“, kes ei ole valmis kodumaa kaitsmisel osalema. Tundub, et see on seotud ühiskondlike vastuoludega, mis tekkisid pärast 1830.-31. aasta Poola ülestõusu, kui mõned literaadid, nagu Pjotr Vjazemski, ei toetanud mässu julma mahasurumist. Selles mõttes on Zagoskini seisukoht märksa lähemal Puškini vaatenurgale, mis on esitatud luuletuses „Venemaa laimajatele“. Samas, nagu näitab neljas lõik, rahuajal tundub Zagoskinile vene aadli gallomaania Venemaa tõsiseima sisevaenlasena.

Kolmas peatükk **„Zagoskini looming 1830. aastate teisel poolel — 1840. aastate alguses: ühiskondliku ideaali ja moraalsete orientiiride otsimine“** on pühendatud eri žanris teostele: komöödia „Rahulolematud“ (1835–1836), romaan „Ahvatleja“ (1838) ja jutustus „Kodumaaigatsus“ (1839). Esimeses osas kirjeldatakse Zagoskini draamaloomingut: tema Moliere'i vaimus komöödiaid, kus naeruvääristatakse moenarre, liberaale ja gallomaane ning vastandatakse neile terve mõistuse järgijaid. Zagoskini peamised eeskujud on tema „arhaistidest“ mõttekaaslaste Aleksander Šahhovskoi ja Aleksander Gribojedovi komöödiad.

Üksikasjalikult kirjeldatakse komöödia „Rahulolematud“ loomislugu, mida seostati Pjotr Tšaadajevi „Filosoofilise kirja“ ümber puhkenud skandaaliga. Kuuldus, et komöödia on suunatud Moskva liberaalide ja eriti Tšaadajevi vastu, ilmus juba enne „Rahulolematute“ esietendust ja seda korrati hiljem paljude uurijate töödes. Kuid faktide kõrvutamine lükkab selle levinud arvamuse ümber: komöödia

kirjutamisel pöördus Zagoskin ühe oma vana kavandi poole; „Filosoofiline kiri“ trükiti pärast komöödia lavastamist ning Zagoskin ei saanud selle sisu varem teada, sest Tšaadajev ei kuulunud tema suhtlusringkonda. Kuid 1830. aastate lõpu Moskva ühiskond, mis ei jagunenud veel läänlasteks ja slavofiilideks, diskuteeris aktiivselt päevakajaliste ühiskondlike küsimuste üle, mis leidis kajastust komöödias ning kaasaegsed võtsid seda kui konkreetsete isikute pihta suunatud karikatuuri.

Peatüki teine osa käsitleb romaani „Ahvatleja“, kus autor räägib ühemõtteliselt „jumalavallatust“ Euroopa filosoofiast, millele Zagoskini veendumuste kohaselt peaks kristlik usk vastanduma. Samuti kritiseerib Zagoskin tunnetele suunatud kirjandust, mis on sentimentaalne, romantiline, „meeletu“. Euroopa filosoofia ja kirjandus on Zagoskini järgi saatana sünnitis ja võib hukutada oma usus ebakindlaid hingi. Poeetika seisukohast töötab Zagoskin selles romaanis välja „faustiliku“ hinge müümise motiivi ja süžee krahv Caliostrost; seda vaadeldakse väitekirja osas 3.2.2.

Näidatakse, et Zagoskin nii eitab ja kritiseerib mingeid nähtusi (gallomaania, kosmopolitism, liberalism) kui toob ka täiuslikult korraldatud ühiskonna näite: see on mõis. Selle ideaali analüüsile on pühendatud osa 3.2.1. Zagoskini idüllilise mõisaelu ja eriti mõisas veedetud lapsepõlve kirjeldus, mis moodustus üheks vene kirjanduse „mõisateksti“ üldfondi aluseks, kust hiljem ammutasid Gontšarov, L. Tolstoi, Bunin, Šmeljov, jt.

Peatüki kolmandas osas analüüsitakse jutustust „Kodumaaigatsus“, millest olulise osa moodustab „Vene reisija päevaraamat“ (nimetus viitab otseselt Karamzini traveloogile „Vene reisija kirjad“). Kõik Euroopa riikide (Inglismaa, Prantsusmaa ja Hispaania) kirjeldused „Kodumaaigatsuses“ on loodud toetudes paljudele kirjanduslikele allikatele ja on seetõttu täis stampe. Euroopa riigid osutuvad, nagu ka „Roslavlevis“ ja „Ahvatlejas“, ohtlike poliitiliste ideede ja uskmatuse allikaks, mis õõnestavad venelaste moraali ning ohustavad ka välismaalasi endid — näiteks tuuakse Suur Prantsuse revolutsioon. Kuid üldiselt ei ole Euroopa riigid mitte niivõrd vaenulikud, kui täiesti võõrad vene inimesele, kes ei suuda neis endale kohta leida.

Neljandas peatükis **„Vene konservatiivne utoopia Zagoskini 1840. aastate loomingus“** räägitakse vene ühiskonnakorralduse ideaalist, nagu seda nägi hilisem Zagoskin ja mida ta kujutas oma 1840. aastate teostes: romaanid „Kuzma Petrovitš Mirošev, Katariina II aegne vene lugu“ (1842), „Brõnski mets. Episood Peeter Suure valitsemisaja esimestest aastatest“ (1846), „Venelased XVIII sajandi alguses, jutustus Peeter Esimese ainuvalitsuse aegadest“ (1848) ja lõpuks kogumik „Moskva ja moskvalased“ (1848). Seda ideaali kujundati ja vormistati järk-järgult kogu Zagoskini loomingu jooksul ja selles peatükis on ühendatud tema tunnused, et esitada Zagoskini ideoloogiline kontseptsioon selle lõpp-punktis.

Kokkuvõttes antakse ülevaade neist perspektiividest, mis töös avanevad. Kui tavaliselt keskenduvad vene rahvusluse uurijad mitmetele elitaarsetele mõtlejatele, nagu Uvarov või slavofiilid, harvem „madalale“ kirjandusele, siis väitekirjas on vaatluse all „keskmine“ kirjandus, mida tollased vene kriitikud nimetasid belletristikaks. Tundub, et just sellised kirjandusteosed on vajalikud, et mõista vene rahvusluse „kujuteldavat“, kus rahvuslik ja impeeriumlik ei vastandu, vaid on

täiendussuhtes. Zagoskini looming võib olla näide sellisest natsionalistlikust kuvandist, mida ei saa taandada vene intellektuaalse eliidi lihtsustatud vaadetele. Kirjaniku loodud narratiivsed skeemid ja ajaloolised müüdid, kogu oma näilise intellektuaalse piiratuse juures, olid atraktiivsed temale endale, tema kaasaegsetele, kes ootasid pikisilmi „vene Walter Scotti“ uute tekstide ilmumist ja ka meie aja laiale lugejaskonnale, kelle arusaamad ajaloolisest minevikust ja olevikust on siiani suuresti sõltuvuses romantilisest natsionalismist ja impeeriameelsest ideoloogiast.

MIKHAIL ZAGOSKIN'S CREATION IN THE FORMATION PROCESS OF RUSSIAN NATIONAL IDEOLOGY

Abstract

Mikhail Zagoskin (1789–1852) was one of the most successful Russian writers in the second quarter of the 19th century. Being primarily known as the initiator of the Russian historical novel, he wrote comedies that enjoyed popularity in Russian theatres and also ethnographic feature articles, romantic stories and much else. His contemporaries often mocked Zagoskin's naivety and limitations but could not help acknowledging his startling success among readers. Moreover, Zagoskin's books have been actively published until now and are presumably widely read, although his name does not appear in school and university curricula. The thesis explains his success and does not describe so much the poetics of Zagoskin's works but their ideology, primarily the writer's unconventional nationalism which is difficult to fit into the complicated philosophical constructions which captivated his contemporaries. Zagoskin's system, however, proved to be very attractive for the historical imagination of the average reader of his time.

The thesis is based on the most influential present-day theory describing nationalism—the constructivist theory derived from the works of Benedict Anderson and Eric Hobsbawm. According to this theory, nationalism, claiming to describe traditions arisen in the distant past, is in fact an exclusively contemporary ideology possible only in the society of a modern type. The representatives of this ideology do not only 'disclose' the national character but construct it, guided by contemporary political requirements, and later persuade the broad masses to perceive themselves through the prism of invented identity. Despite severe criticism by which this theory has been and is met in academic circles, namely such an approach is most justified to describe the creative strategies of a Russian writer striving to show his readers, relying on historical and contemporary examples, what the Russian people is.

Zagoskin's prose is discussed in the thesis in the historical context of ideological disputes about the language, religion and state, which were going on among the educated inhabitants of the capital cities of Russia in the first half of the 19th century. When characterising these disputes, I primarily rely on the works of Yuri Tynyanov, Yuri Lotman and Boris Uspensky, Alexander Martin, Andrei Zorin, and Ljubov Kisseljova. When characterising the genre of the historical novel and its reception in Russia, I use the works of Georg Lukacs, Alexander Dolinin, Dan Ungurianu and other scholars.

The thesis takes a close look at Zagoskin's novels, such as *Yuri Miloslavsky or Russians in 1612* (1829), *Roslavlev or Russians in 1812* (1831), also the lesser-known novels *Tempter* (1838), *Yearning for Homeland* (1839), *Kuzma Petrovich Miroshev,*

a True Russian Story from the Times of Catherine II (1842), *Brynsk Forest. An episode from the first years of the reign of Peter the Great* (1846), *Russians in the Early 18th Century, a tale from the times of the monocracy of Peter I* (1848) and also the book of feature essays, *Moscow and Muscovites* (1848). In addition to these, Zagoskin's plays and stories are studied. The comparative material consists of historical novels, political treatises and articles of literary criticism by the writer's contemporaries (Thaddeus Bulgarin, Ivan Lazhechnikov, Alexander Shishkov, Nikolay Karamzin, Fyodor Rostopchin, Sergey Uvarov, Nikolay Polevoy, Vissarion Belinsky, et al).

The main aim of the study was to show how Zagoskin's prose fiction relates to the ideology of Russian nationalism. To solve this problem, the following aims were set: (1) to characterise briefly the history of Russian nationalism in the Russian Empire in the early 19th century and Zagoskin's role in this history; (2) to analyse the historical sources of his prose and the author's principles of working on them; (3) to examine the basic narrative and ideological schemes used by Zagoskin; (4) to find references in his works to literary discussions and political events of his time and to examine how these discussions and events are interpreted through the prism of the author's nationalist imagination. These tasks are solved in the four chapters of the thesis as well as in its introduction and conclusion.

The **Introduction** provides a short characterisation of Zagoskin's literary reputation and his early creation in connection with the problems of historiography of nationalism. Zagoskin's literary standing, as shown in this part of the thesis, was defined from the beginning as 'Russian', i.e., closely related to the ideas of Alexander Shishkov, one of the first representatives of romantic nationalism in Russian culture. The beginning of Zagoskin's creative path was closely related to the polemics that Shishkov and his supporters held with the defenders of westernisation. In his later literary career, Zagoskin was connected with Shishkov's followers, like the outstanding dramatist Alexander Shakhovskoy. However, Shishkov's main opponent, Nikolay Karamzin, was also a significant figure for Zagoskin. Karamzin's historical narrative *History of the Russian State* was the main source for Zagoskin's first novel, and Karamzin's conservative political views of the 1800–1810s resonated with Zagoskin's patriotrism.

The first chapter of the thesis **'Zagoskin's historical novels in the late 1820s and the early 1830s: genre and ideology'** deals with two of the writer's best-known books, which have been regularly published until now and attract interest among readers. These are the novels *Yuri Miloslavsky or Russians in 1612* and *Roslavlev or Russians in 1812*. They are analysed against the background of the historical novels of Zagoskin's contemporaries, such as Thaddeus Bulgarin's *False Dmitry*. The first section of the chapter discusses the genre of the historical novel and the specific features of its reception in Russia. The material for this chapter was mostly found in discussions on this genre in the literary criticism of the 1820s. Particular attention is paid to the extraordinary philosophy of the genre going back to Walter Scott and requiring the demonstration of close links between the present and the past, between private life and historical events.

The second section shows how these principles are realised in Zagoskin's historical prose. The main concept here is how the protagonists' 'Russianness' is presented. In the writer's imagination, the person is primarily characterised through his/her belonging to a nation, which connects his/her personal features and historical events.

The third section deals with the concept of fatherland and patriotism in Zagoskin's prose. Primarily, this section demonstrate the political nature of Zagoskin's nationalism—the writer did not perceive the speaker of the Russian language or the connoisseur of Russian culture as 'Russian' but the potential defender of the country. In a normal situation, the writer did not expect the inhabitant of the Russian state to participate actively in the political life of the country but primarily to obey the authorities, follow the religious norms and accept the class barriers. At critical moments in national history, however, the 'Russian' person, according to Zagoskin, had the right to break some social borders and demonstrate independence in defending his country. Although his novels show the consequences of this kind of breaches as dangerous for the society and fraught with senseless violence, Zagoskin generally tended to justify such patriotic bursts. It is shown how far Zagoskin was from the civic nationalism of the epoch of the French Revolution.

The second chapter **'Zagoskin's novels and the ideological concepts of the late 1820s and the early 1830s'** looks at the same two novels from a different viewpoint which is more closely connected with the political context of the epoch. The first section deals with transformation of historical sources in Zagoskin's novel *Roslavlev*. This text is based on the material of numerous official documents, memoirs and other texts describing Napoleon's invasion of Russia in 1812. Relying on them, Zagoskin mythologises this war, attempting to present it primarily not as a conflict between armies or political regimes but as a confrontation between the two nations—the Russian and the French. Presenting the war as a 'people's war' in this novel, Zagoskin turns out to be the predecessor of Leo Tolstoy, the author of *War and Peace*. The second and the third sections deal with the depiction of the enemy in Zagoskin's prose. Contrary to expectations, Zagoskin does not tend to depict the Poles or the French as irreconcilable enemies of the Russian nation. In *Roslavlev*, much more principled opponents are the victims of propaganda—Russians who are not ready to defend their homeland. This seems to be related to social contradictions which emerged after the Polish uprising in 1831–1831 when some literati, such as Pyotr Vyazemsky did not support the cruel suppression of the insurgents. In this sense, Zagoskin's position is much closer to Pushkin's point of view as presented in his poem 'To the Slanderers of Russia'. Along with that, as shown in the fourth section, the Gallomania of the Russian nobility seems to Zagoskin a more severe internal enemy of Russia in peacetime.

The third chapter **'Zagoskin's creation in the second half of the 1830s and the early 1840s: search for a social ideal and moral guidance'**discusses several works in various genres—the comedy *Dissatisfied* (1835), the novel Tempter (1838) and the story *Yearning for Homeland* (1839). The first section characterises briefly Zagoskin's as a playwright—his Molière type comedies mock dandies, liberals

and Gallomaniacs and are contrasted with arguers who call for sound reasoning. The main models for Zagoskin were the comedies of the like-minded archaist writers Alexander Shakhovskoy and Alexander Griboyedov.

A detailed description is given of the history of creation of the comedy *Dissatisfied*, which was related to the scandal around Pyotr Chaadayev's 'Philosophical Letter'. The rumour that the comedy was directed against the liberals of Moscow, particularly against Chaadayev, spread even before the premiere of *Dissatisfied*, but later this became a common theme in research papers. However, simple juxtaposition of facts refutes this popular opinion. When writing the comedy, Zagoskin turned to one of his old intentions, but 'Philosophical Letter' was published after the comedy was staged, and Zagoskin could not have known its content earlier, as Chaadayev did not belong to his social circle. However, the Moscow society of the late 1830s, being not divided into Westernisers and Slavophiles yet, actively discussed the social problems which were reflected in the comedy and were considered caricatures of concrete persons by contemporaries.

The second section of the chapter deals with the novel *Tempter* in which the author unequivocally speaks out against the 'godless' European philosophy which, according to Zagoskin's convictions, must be opposed by Christian faith. Zagoskin also speaks out against literature that appeals to feelings—sentimental, romantic, 'outrageous'. According to Zagoskin, European philosophy and literature are the procreation of the devil and can ruin the souls of those who are not certain in their faith. From the viewpoint of poetics, in this novel Zagoskin develops the Faustian motif of selling one's soul and the plot about Count Cagliostro; this is viewed in section 3.2.2. of the thesis.

It is also shown that, in this period of creation, Zagoskin not only negates and criticises (Gallomania, cosmopolitism, liberalism) but also gives an example of the ideally arranged society—this is the country estate. This ideal is analysed in section 3.2.1. Zagoskin's depiction of idyllic manor life and, particularly, of childhood spent on the manor constitute one of the foundations of the common stock of 'manor texts' in Russian literature upon which, thereafter, Goncharov, L. Tolstoy, Bunin and Shmelev relied.

The third section of the chapter analyses the story *Yearning for Homeland*, a considerable part of which consists of the 'Diary of the Russian traveller' (the title is a direct reference to Karamzin's travelogue *Letters of a Russian Traveller)*. All the descriptions of European countries (England, France and Spain) in the story *Yearning for Homeland* are based on numerous literary sources and are, therefore, full of cliches. In this story, like in *Roslavlev* and *Tempter*, the European countries are a source of dangerous political ideas and unbelief which not only undermine the Russians' morality but also threaten the foreigners themselves—the French Revolution is provided as an example. However, the European countries on the whole are not so much hostile as entirely alien for the Russian person who cannot find a place for himself in them.

The fourth chapter **'Russian conservative utopia in Zagoskin's creation of the 1840s'** speaks about the ideal arrangement of the Russian society as later

Zagoskin saw and depicted it in his books of the 1840s—the novels *Kuzma Petrovich Miroshev. a true Russian story from the times of Catherine II* (1842), *Brynsk Forest. An episode from the first years of the reign of Peter the Great* (1846), *Russians in the Early 18th Century, a tale from the times of the monocracy of Peter I* (1848) and, finally, the collection of feature essays, *Moscow and Muscovites* (1848). The components of this ideal were gradually defined and formed during Zagoskin's whole literary career. This chapter sums up his features to present Zagoskin's ideological conception at its final point.

The **Conclusion** includes some suggestions regarding the general prospects disclosed in the thesis. While usually the research of Russian nationalism concentrates on a few elitist thinkers, like Uvarov or the Slavophiles or, more seldom, on the 'low' literature, the current thesis proposes to view the 'medium' level of literature which Russian critics of that period defined as *bélles-léttres*. Namely such works of literature seem to be inevitable for understanding the vision of Russian nationalists in which the national and the imperial are not contrasted but supplement each other. Zagoskin's creation can serve as an example of such nationalist vision which cannot be reduced to the simplified views of the Russian intellectual elite. Despite their seeming intellectual limitations, the narrative schemes and historical myths created by the writer turned out to be fascinating not only for his contemporaries who impatiently waited for the new texts of the 'Russian Walter Scott' but also for the broad readership of our times whose vision of the historical past and the present greatly depend on romantic nationalism and imperial ideology even now.

CURRICULUM VITAE

ЕКАТЕРИНА ЯЩУК

Дата и место рождения:	8 февраля 1993, г. Челябинск
Гражданство:	Российская Федерация
Адрес:	Jaama 171-23, 50705, Тарту, Эстония
Телефон, эл. почта:	+79998282807, katyaschuk@gmail
Языки:	русский, английский, французский

Образование

2000–2010	Лицей № 11, г. Челябинск
2010–2014	Санкт-Петербургский государственный университет, бакалавриат (отечественная литература)
2014–2016	Санкт-Петербургский государственный университет, магистратура (история русской литературы)
2016–2022	Тартуский университет, докторантура (кафедра русской литературы)

Профессиональное совершенствование

2014–2015	проект МК-5878.2014.6, «Литературная репутация М. Ю. Лермонтова: этапы становления и эволюции (1840-е — 1890-е гг.)», исполнитель.

Научная деятельность

Область научных интересов: история русской литературы 1800–1840-х гг., литературная критика, история идей, национальная идеология.

Всего опубликовано 9 статей, из них 2 в международных изданиях.

ELULOOKIRJELDUS

EKATERINA IASCHUK

Sünniaega ja koht:	8.veebrauar 1993, Tšeljabinsk
Kodakondsus:	Venemaa Föderatsioon
Aadress:	Jaama 171-23, 50705, Tartu, Eesti
Telefon ja meil:	+79998282807, katyaschuk@gmail
Keeleoskus:	vene, inglise, prantsuse

Haridus

2000–2010	Lütseum Nr 11, Tšeljabinsk
2010–2014	Sankt-Peterburi riiklik ülikool, bakalaureuse aste (vene kirjandus)
2014–2016	Sankt-Peterburi riiklik ülikool, magistri aste (vene kirjanduse ajalugu)
2016–2022	Tartu Ülikool, doktoriõpe, maailmakeelte ja kultuuride kolledž (vene kirjanduse eriala)

Erialane tegevus

2014–2015	projekt MK-5878.2014.6, «M. Lermontovi kirjanduslik reputatsioon: kujunemise ja evolutsiooni etapid (1840. — 1890.aa)», täitja.

Teaduslik tegevus

Teaduslikud huvid: 1800.1840.aa vene kirjandus, kirjanduskriitika, ideede ajalugu, rahvuslik ideoloogia.
Kokku on avaldatud 9 artiklit, nendest 2 rahvusvahelistes väljaannetes.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Ящук Е. А. Русская и польская темы в романе Загоскина «Юрий Милославский» // Вестник Московского университета. Серия 9 филология, 4. 2021. С. 121–132.

Ящук Е. А. Хронологическая роспись содержания газеты «Московский городской листок» (1847) // Новое литературное обозрение. 2018. № 152. С. 379–405.

Ящук Е. А. Концепция народной войны в романе М. Н. Загоскина «Рославлев» (1831) // Текстология и историко-литературный процесс. Сборник статей, 6. Москва, 2018. С. 59–67.

Ящук Е. А. Источники концепта народной войны в романе М. Н. Загоскина «Рославлев» (1831) // Русская филология: сборник научных работ молодых филологов, 29. Тарту, 2018. С. 60–72.

Киселева Л. Н., Ящук Е. А. Польский фактор в интерпретации войны 1812 года (Ф. В. Булгарин, М. Н. Загоскин) // Ф. В. Булгарин — писатель, журналист, театральный критик: Сборник статей / Под ред. А. И. Рейтблата. М., 2019. С. 84–104.

Ящук Е. А. Зачем была написана комедия Загоскина «Недовольные»? // Русская филология: сборник научных работ молодых филологов, 31. Тарту, 2020. С. 121–132.

DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS

1. **Юрий Кудрявцев.** Очерки по русской фонологии и морфонологии. Тарту, 1996. 157 с.
2. **Светлана Туровская.** Проблемы изучения модальных смыслов: теоретический аспект (на материале современного русского языка). Тарту, 1997. 136 с.
3. **Елена Погосян.** Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту, 1997. 158 с.
4. **Ирина Белобровцева.** Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Конструктивные принципы организации текста. Тарту, 1997. 167 с.
5. **Светлана Кульюс.** Эзотерические коды романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (эксплицитное и имплицитное в романе). Тарту, 1998. 207 с.
6. **Леа Пильд.** Тургенев в восприятии русских символистов (1890–1900-е годы). Тарту, 1999. 136 с.
7. **Роман Лейбов.** «Лирический фрагмент» Тютчева: жанр и контекст. Тарту, 2000. 143 с.
8. **Валентина Щаднева.** Дискурсивно обусловленные невербализованные компоненты высказывания. Тарту, 2000. 212 с.
9. **Александр Данилевский.** Поэтика «Повести о пустяках» Б. Темирязева (Юрия Анненкова). Тарту, 2000. 151 с.
10. **Татьяна Фрайман.** Творческая стратегия и поэтика Жуковского (1800 — первая половина 1820-х годов). Тарту, 2002. 165 с.
11. **Татьяна Троянова.** Антропоцентрическая метафора в русском и эстонском языках (на материале имен существительных). Тарту, 2003. 166 с.
12. **Елена Нымм.** Литературная позиция И. Ясинского (1890–90-е гг.). Тарту, 2003. 169 с.
13. **Эрика-Оксана Хааг.** Функциональная типология и средства выражения причинно-следственных отношений в современном русском языке. Тарту, 2004. 165 с.
14. **Вадим Семенов.** Иосиф Бродский в северной ссылке: поэтика автобиографизма. Тарту, 2004. 176 с.
15. **Роман Войтехович.** Психея в творчестве М. Цветаевой: Эволюция образа и сюжета. Тарту, 2005. 165 с.
16. **Анжелика Штейнгольд.** Отражение древнеславянских верований в русском лексиконе. Тарту, 2006. 202 с.
17. **Катрин Кару.** Уступительные конструкции в эстонском и русском языках. Тарту, 2006. 248 с.
18. **Оксана Паликова.** Двуязычный словарь и функционально значимые связи слова. Тарту, 2007. 139 с.

19. **Тимур Гузаиров.** Жуковский — историк и идеолог николаевского царствования. Тарту, 2007. 156 с.
20. **Татьяна Кузовкина.** Феномен Булгарина: проблема литературной тактики. Тарту, 2007. 163 с.
21. **Ольга Бурдакова.** Имперфективация глаголов v продуктивного класса в современном русском языке. Тарту, 2008. 194 с.
22. **Ирина Абисогомян.** Становление чешской лексикографии в эпоху национального Возрождения: традиции и новаторство. Тарту, 2009. 200 с.
23. **Ирина Табакова.** Основные типы аббревиатур в современном польском языке (к специфике моделей производящих синтаксических структур). Тарту, 2009. 205 с.
24. **Дмитрий Иванов.** Творчество А. А. Шаховского-комедиографа: теория и практика национального театра. Тарту, 2009. 224 с.
25. **Инна Булкина.** Киев в русской литературе первой трети XIX века: пространство историческое и литературное. Тарту, 2010. 213 с.
26. **Алексей Вдовин.** Концепт «глава литературы» в русской критике 1830–1860-х годов. Тарту, 2011. 238 с.
27. **Ольга Мусаева.** Рецепция творчества Федерико Гарсиа Лорки в русской культуре (1930–1960-е гг.). Тарту, 2011. 217 с.
28. **Мария Боровикова.** Поэтика Марины Цветаевой (лирика конца 1900-х — 1910-х годов). Тарту, 2011. 148 с.
29. **Ольга Ягинцева.** Этимологическое исследование некоторых диалектных названий предметов домашнего обихода. Тарту, 2014. 127 с.
30. **Ирина Рудик.** Русская тема в сборнике Марины Цветаевой «Версты, Стихи. Выпуск I (1922)». Тарту, 2014. 166 с.
31. **Елизавета Фомина.** Национальная характерология в прозе И. С. Тургенева. Тарту, 2014. 150 с.
32. **Павел Успенский.** Творчество В. Ф. Ходасевича и русская литературная традиция (1900-е гг. — 1917 г.). Тарту, 2014. 214 с.
33. **Константин Поливанов.** «Доктор Живаго» как исторический роман. Тарту, 2015. 262 с.
34. **Сирье Купп-Сазонов.** О роли грамматики в переводе (на материале временных форм глагола в русском и эстонском языках). Тарту, 2015. 249 с.
35. **Андрей Федотов.** Русский театральный журнал в русском контексте 1840-х годов. Тарту, 2016. 178 с.
36. **Кристина Сарычева.** Восприятие Ф. И. Тютчева и А. А. Фета в русской литературной критике 1870–1900-х гг. Тарту, 2016. 173 с.
37. **Алисия Чекада.** Теоретические основы составления двуязычного словаря: на примере польского и эстонского языков. Тарту, 2017. 131 с.
38. **Артем Шеля.** «Русская песня» в литературе 1800–1840-х гг. Тарту, 2018. 268 с.

39. **Александра Чабан.** Н. С. Гумилев — критик поэтов-символистов: динамика оценок и эволюция критического языка. Тарту, 2018. 183 с.
40. **Елена Вельман-Омелина.** Эстонско-русский перевод и развитие современной официально-деловой коммуникации: теоретический и практический аспекты. Тарту, 2018. 192 с.
41. **Ксения Филимонова.** Эволюция эстетических взглядов В. Шаламова и русский литературный процесс 1950-х — 70-х годов. Тарту, 2020. 159 с.
42. **Карина Новашевская.** А. А. Шаховской — идеолог русского национального театра. Тарту, 2020. 251 с.
43. **Анна Герасимова.** Проблема реального реципиента художественного текста: анализ современных читательских практик. Тарту, 2020. 199 с.
44. **Алексей Козлов.** Литературная репутация писателя-беллетриста: Н. Д. Ахшарумов в 1850–1880-е годы. Тарту, 2021. 242 с.
45. **Лариса Муковская.** Выражение квантитативности в имени в русском и эстонском языках. Тарту, 2021. 184 с.
46. **Александра Пахомова.** Писательская стратегия и литературная репутация М. А. Кузмина в раннесоветский период (1917–1924 гг.). Тарту, 2021. 287 с.
47. **Мария Нестеренко.** Проблема женского литературного творчества в России в первой трети XIX в. Случай А. П. Буниной. Тарту, 2021. 218 с.
48. **Андрей Соловьев.** Проблема «Россия и Европа» в русских литературных путешествиях (Фонвизин — Карамзин — Достоевский). Тарту, 2022. 246 с.